В. ЖИРМУНСКИЙ

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И СОЦИАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Ленинград—1936

Ленинградский Научно-исследовательский институт
языковедения ЛИФЛИ

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга эта посвящена проблеме классовой дифференциации в языке буржуазного общества. Она подводит итоги работам по социальной диалектологии, занимавшим меня в течение последних лет. Большинство глав было прочитано в исследовательских ячейках Ленинградского научного института языковедения (б. Институт речевой культуры): гл. I—III и гл. VII — весной 1931 г. в бригаде по национальным языкам, гл. V, VI и VII (в новой редакции) — в 1933—1934 гг. на пленумах Института и на заседаниях немецкой секции. В совместном обсуждении и товарищеской общей работе Института многие вопросы, затронутые в этих докладах, сделались для меня яснее и получили окончательную формулировку. Моя концепция образования национальных языков в связи с развитием капитализма и отношения между национальным языком и диалектами в основном совпадает с положениями, выдвинутыми Л. П. Якубинским в 1930 г. (ср. А. Иванов и Л. Якубинский „Очерки по языку“, 1932). К аналогичным выводам я пришел, работая над крестьянскими диалектами и вопросами фольклора (ср. статьи „Методика социальной географии“ и „Проблема фольклора“).

Вопросы социальной диалектологии, рассматриваемые в моей книге, в разной степени разработаны в лингвистике. Этим объясняется некоторая неравномерность в построении самой книги. Наличность обширного материала и целого ряда предварительных исследований позволила мне развернуть некоторые главы в самостоятельные этюды, пересмотрев этот материал с новой методологической точки зрения (гл. V, VI, VII).

Считаю долгом выразить здесь глубокую благодарность тем товарищам, которые помогали мне в работе материалом или советом — А. А. Бескиной, Н. Н. Берникову, С. А. Еремину, Б. А. Ларину, В. И. Чернышеву, Л. П. Якубинскому.

*В. Ж.*

*1/VI 1934.*

## Глава первая

# ЯЗЫК И ДИАЛЕКТЫ

Проблема классовой дифференциации, классовой борьбы в языке, мимо которой проходит буржуазная лингвистика даже при социологических установках, встает перед нами с наибольшей отчетливостью при изучении языковых отношений буржуазного общества. Поэтому вполне законно в методологическом отношении начать с постановки новой лингвистической проблемы на материале языковой борьбы в условиях развитого классового общества, к тому же доступных более непосредственному наблюдению и не потерявших своей актуальности с точки зрения языковой политики сегодняшнего дня. „Буржуазное общество,—говорит Маркс,—есть наиболее развитая и многосторонняя историческая организация производства. Категории, выражающие его отношения, понимание его структуры, позволяют вместе с тем проникнуть в строение и производственные отношения всех отживших общественных форм, из обломков и элементов которых оно строится, продолжая частью влачить за собой их остатки, которые оно еще не успело преодолеть, частью развивая до полного значения то, что пре-

жде имелось лишь в виде намека. Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Намеки на высшее у низших видов животных, наоборот, могут быть поняты только в том случае, если это высшее уже известно. Экономика буржуазного общества дает нам, таким образом, ключ к античной экономике и т. д.".[1] Это методологическое указание Маркса сохраняет полное значение и для вопросов истории языка.

Непосредственное наблюдение над языком современного капиталистического общества убеждает нас в наличности в нем дифференциации, обусловленной классовыми отношениями. Рядом с языком господствующих классов, который является господствующим языком данного общества, мы находим другие социальные диалекты; разнообразные крестьянские говоры, мещанское просторечие, диалектически окрашенный язык рабочих. В основном, характерным признаком языкового развития капиталистического общества является его принципиальное двуязычие: единому языку господствующего класса (языку „общему", „национальному", „литературному" — по недостаточно прочно установившейся терминологии) противостоят территориально-раздробленные диалекты подчиненных общественных групп (крестьянства, городской мелкой буржуазии, отчасти пролетариата — в особенности на заре его развития, когда он еще не утратил бытовых связей с крестьянством и мещанством).

Диалекты находятся на положении бесписьменных языков; сфера их употребления — семейная, частная жизнь, более интимное языковое общение между соседями, односельчанами, товарищами по работе. Наличие литературы на диалектах, возникающей при особых условиях в XIX в., не противоречит этому принципиальному положению: по своим основным установкам диалектологическая литература

является как бы записью устной речи, стилизацией под устный сказ. Напротив, язык господствующего класса служит не только разговорным языком, т. е. средством интимного общения представителей этого класса: в качестве „национального языка“ он в то же самое время является языком публичной речи, устной и письменной. Он употребляется в официальных случаях государственной и общественной жизни — в канцеляриях, в суде, в парламентских прениях, в общественных собраниях, имеющих официальный характер. На нем ведется преподавание в школах разного типа, и ему обучают как „родному языку“ даже там, где фактически родным языком детей является местный диалект (напр., в сельских школах). Он является языком церкви (в особенности — в протестантских странах) — богослужения, проповеди, церковной песни. Им пользуются в театре, и сценическое произношение может сделаться нормой принятого в буржуазном обществе „хорошего произношения“ (напр., в Германии — „Bühnendeutsch“ — „сценический немецкий язык“). Наконец, он служит языком письменности и печати — художественной литературы, науки, газеты, интимной и официальной переписки и т. д.: отсюда термины „письменный язык“ (Schriftsprache), „литературный язык“ (Literatursprache), которые нередко употребляются в расширенном значении национального языка.

Все эти формы и средства языкового общения, находящиеся во власти или под контролем господствующего класса, обеспечивают в капиталистическом обществе языку этого класса господствующее положение в качестве языка национального и способствуют в конечном счете растущей языковой унификации и отступлению диалектов. В особенности следует отметить роль письменности (письменной публичной речи) как средства выработки единого национального языка: исследователи не раз указывали на

значение государственных канцелярий („Kanzleisprache"), „приказов", в создании первой письменной нормы на заре истории национальных языков. Еще важнее в этом отношении роль книгопечатания: в печати капиталистическое общество создает наиболее мощное техническое орудие языковой унификации, преодоления территориальной раздробленности, характерной для языка и культуры эпохи феодализма. Если рукопись „Песни о Нибелунгах" (около 1200 г.), одного из самых популярных памятников поэтической литературы немецкого феодализма, дошла до нас в каких-нибудь 32 экземплярах, разбросанных по дворцам и монастырским библиотекам крупных светских и духовных магнатов, то уже первые печатные книги конца XV — начала XVI века расходятся в сотнях экземпляров по всей стране, а современные многотиражные периодические издания, при всеобщей или, по крайней мере, массовой грамотности, имеют десятки и сотни тысяч подписчиков, с которыми они ежедневно говорят на „общем" языке. В эпоху зарождения национальных языков „язык печатников" крупных типографских центров (Druckersprachen) оказывает существенное влияние на выработку письменной нормы „общего" языка. В свою очередь сами печатники были заинтересованы в том, чтобы сделать издаваемые ими книги доступными для возможно более широкого рынка, для чего необходимо было прежде всего систематическое устранение местных языковых различий, затруднявших понимание текста книги за пределами данной более или менее узкой территории.

Вообще графическая фиксация звучащей речи оказывает на развитие языка прямое воздействие, которое не всегда достаточно учитывается. Необходимо в этом вопросе отказаться от фонетических предрассудков, своеобразного биологизма, противопоставляющего „естественному" и „закономерному"

развитию звуков человеческой речи „искусственные“ рамки графики, „условности“ и „случайности“ господствующей у данного народа орфографической системы. На самом деле письменность с момента своего возникновения, а в особенности — при всеобщей грамотности, активно влияет на развитие языка и в первую очередь — на развитие произношения. Этим объясняется, напр., изменение московского литературного произношения, которое констатировал сербский ученый Рад. Кошутич в своей „Грамматике русского языка“ [2]: „младшая фаза“ литературного произношения почти всегда является приближением к написанию под влиянием графического образа слова: напр., замена окончания [-ъй] через [-ый] в мужском роде прилагательных — красный, влажный; замена редуцированного твердого гласного [-ъ] мягким [-ь] после мягких согласных в среднем роде существительных — поле, море, страданье, терпенье. В частности фиксация нормы национального языка происходит с установкой на его письменную форму. Графическая форма современных национальных языков — русского, французского, немецкого — представляет прочное, незыблемое единство, не допускающее отклонений; всякое отклонение расценивается как „орфографическая ошибка“, хотя бы ошибка эта была обусловлена социальными особенностями произношения. Грамматические признаки, фиксированные в написании, также не допускают колебаний: напр., по-немецки от stehen — прошедшее stand, а не stund (архаизм), от глагола kommen 2-е лицо настоящего времени kommst, а не kömmst (диалектизм); по-русски творит. множеств. ногами, а не ногам (диалектизм), 3-е лицо настоящ. врем. гуляет, а не гулят (диалектизм). Однако в тех случаях, где орфография недостаточно дифференцирована или двусмысленна, могут сохраняться различия в произношении при ка-

жущемся единстве написания. Так, в особенности в Германии, сохранившей, благодаря своеобразию своего исторического развития, довольно заметные местные различия в разговорном языке господствующих классов. Напр., Glas произносится с долгим гласным на юге и с кратким на севере, потому что, с точки зрения немецких орфографических навыков, это написание двусмысленно, не содержит никаких указаний на долготу и, следовательно, не способствует регламентации местных различий произношения. Tag тоже произносится на юге с долгим гласным, на севере — с кратким, кроме того g имеет на севере спирантное произношение [x], а на юге — взрывное [к]: диалектологическое различие, которое поддерживается двойственным значением конечного g в немецкой орфографии (ср. lustig). В словах besser и essen в южной Германии краткое e произносится различно, в первом случае — как e закрытое [e], во втором — как e открытое [ɛ], в зависимости от различного исторического происхождения этих звуков; эта диалектологическая разница сохраняется до сих пор и в произношении „образованных", потому что немецкое правописание не дифференцирует и, следовательно, не имеет возможности регламентировать открытое и закрытое произношение гласного e. По отношению к долгому e сценическое немецкое произношение (Bühnendeutsch) предписывает произносить открытый звук, когда написано ä, и закрытый — в случаях с e, напр., erzählen [ɛ:] — stehlen [e:]: это новое правило, по мнению проф. Брауне, имеет много шансов укрепиться в живом языке, опираясь на орфографию, несмотря на то, что оно в целом ряде случаев противоречит исторически сложившимся отношениям отдельных диалектов.[3] В русском языке относительной прочностью, даже в речи „образованных", отличается оканье, так как оно не проти-

воречит нашему архаизирующему „окающему" правописанию. Сохраняется спирантное южнорусское **г** на конце слова [х] рядом с московским и севернорусским взрывным произношением [к], напр., д р у г, м и г [х—к], благодаря укрепившейся в традиции литературного языка двусмысленности знака **г**. Напротив, „цоканье", замена **ч** через **ц**, воспринимается как грубый диалектизм, так как звуки **ц** и **ч** четко дифференцированы в графике. Наиболее ярким отрицательным примером, подтверждающим роль письма в нормализации произношения, является китайский язык: благодаря иероглифическому письму, обозначающему целое слово (понятие) одним знаком, северные и южные китайцы могут понимать друг друга, когда пользуются общим письмом, но в произношении обозначаемых иероглифами слов диалекты настолько расходятся, что взаимное понимание является почти невозможным.[4] Поэтому иероглифическое письмо не способно играть в объединении устной формы языка той роли, которую обычно играет буквенный алфавит.

Не менее важное значение в деле развития национального языка имеет его г р а м м а т и ч е с к а я н о р м а л и з а ц и я, опирающаяся в основном на письменную форму слова. В истории литературных языков неоднократно отмечалась роль грамматиков-нормализаторов, сознательные усилия теоретиков языка, выступавших с определенной языковой политикой и боровшихся за ее осуществление. Борьба Тредьяковского и Ломоносова, шишковцев и карамзинистов в истории русского литературного языка и русской грамматики, столкновение Готшеда и швейцарцев в Германии и мн. др. свидетельствуют о неоднократном влиянии сознательной языковой политики на языковую практику. В отборе тех или иных конкурирующих языковых форм грамматик-законодатель может руководствоваться „чутьем",

т. е. бессознательными предпочтениями, или может следовать сознательным теоретическим установкам, тем не менее и в том и в другом случае он выступает как представитель известного общественного класса, т. е. как защитник определенных классовых интересов в культурно-политической борьбе своего времени.

Характерным примером такого рода классовой языковой политики может служить деятельность Французской Академии (Académie Française) в XVII в. Основанная Ришелье (1635 г.) как орудие культурной политики абсолютной монархии, Академия, по замыслу своего основателя, должна была осуществлять в области языка и литературы диктатуру „хорошего вкуса“, т. е. политику двора. В соответствии с этим главный теоретик Академии Вожла (1647) защищает языковую норму „доброго обычая“ (bon usage), который определяется не большинством голосов, обычно поддерживающим „дурной обычай“ (mauvais usage), но „избранными голосами“ (l'élite des voix). Эти „избранные“ для Вожла — „лучшая часть двора“ (la plus saine partie de la Cour), к которым он, однако, присоединяет „некоторых людей из города, где находится резиденция государя, тех, кто, общаясь с представителями двора, сходствует с ними в учтивости“. Впрочем, в случае разногласия между двором и городом следует безусловно держаться обычая, господствующего при дворе.[5] Таким образом, точка зрения Вожла полностью соответствует расстановке классовых сил в эпоху абсолютной монархии и культурно-политической идеологии господствующего класса: дворянство, утратившее феодальную независимость, сохраняет свои экономические прерогативы и политически господствующее положение, объединяясь при дворе монарха, буржуазия (торговая и финансовая знать, крупные

мануфактуристы — те, кто „бывают при дворе“), служившая опорой монархии в ее борьбе с сепаратизмом крупных феодалов-вотчинников, выдвигается на историческую арену, но играет пока еще подчиненную роль.

Эти общие принципы языковой политики кладутся в основу „Словаря“ Французской Академии (1694), задача которого, как и всех „академических словарей“ этой эпохи, установить нормы словоупотребления, опирающиеся на „добрый обычай“. Принципы отбора очень показательны: в особенности характерны те категории слов, на которые падает социальное табу. Отбрасываются: архаизмы, т. е. пережитки феодального прошлого в языке; провинциализмы (местные слова) — в соответствии с общим принципом политической и культурной централизации, ликвидацией феодального сепаратизма и национальным объединением; вульгаризмы (mots populaires) — социально-низкие слова, на которые наложен запрет как в разговорном языке господствующих классов, так в особенности — в поэзии „высокого стиля“; с другой стороны — слова технические, т. е. вся специальная терминология науки и техники, хозяйственной и профессиональной жизни молодой буржуазии, еще не завоевавшая признания господствующего класса старого режима.[6] В XVIII в. буржуазия уже окрепла, и ее радикальные теоретики выступают против социальной исключительности дворянского языка. „Пора признаться, — заявляет Жокур, — что язык воспитанных французов (des Français polis) — лишь слабый и милый лепет“. „Стыдно, что никто не осмеливается смешивать французский язык в собственном смысле с терминами ремесла и науки, и что придворный считает для себя позорным знать то, что было бы для него полезно и почетно“.[7] Эта буржуазная реформа языка, частично осуществлен-

ная в третьем и четвертом издании Академического словаря (1740 и 1762 гг.), завершается в эпоху французской революции. [8]

В области художественной литературы борьба за язык тесно связана с общими проблемами поэтического стиля. Придворно-аристократическая поэзия французского классицизма XVII века допускала в высоких поэтических жанрах (в трагедии, эпопее, оде) только „высокий стиль", приличествующий королям и героям, носителям возвышенных героических страстей. В области языка это означало строгий отбор „благородных" условно-поэтических слов и беспощадное изгнание слов низменных и вульгарных, точных и прозаических обозначений предметов окружающей действительности. В соответствии с законами высокого стиля поэт-классик говорил glaive вм. sabre, siège вм. chaise, pasteur вм. bouvier или porcher; в его распоряжении были традиционные метонимические перифразы, заменяющие точное название предмета — l'acier destructeur („губительная сталь") вм. „сабля", l'humble artisan („смиренный ремесленник") вм. „сапожник" — в соответствии с идеалистическим принципом французского классицизма, формулированным Бюффоном: „называть предметы наиболее общими терминами" („nommer les choses par les tèrmes généraux"). [9] Французский романтизм, как справедливо указывает Лафарг, [10] был своего рода буржуазной революцией в области поэтического творчества. Снижение „высокого" и „благородного" стиля и приближение поэтической „речи богов" к живому разговорному языку, стремление к точному называнию предмета (mot propre) вместо условной и обобщающей перифразы обозначают наметившуюся тенденцию в сторону буржуазного реализма. Сам Виктор Гюго, в известном стихотворении „Ответ на обвинение" (1834) остроумно сравнивает свой романтический бунт с социальными

потрясениями и сдвигами французской революции. Прежде, говорит он, поэзия была монархией, язык напоминал французское государство до 1789 года („la langue était l'état avant quatrevingt neuf"). Слова высокого и низкого происхождения жили замкнутыми кастами. Одни, аристократы, завсегдатаи „Федр", „Иокаст", „Мероп", подчинялись законам приличия и ездили в Версаль в королевских экипажах. Другие, бродяги и висельники, населявшие диалекты или сосланные на каторгу в арго, без чулок и париков, допускались только в низкие жанры („genres bas"), в прозу и фарс. Грубое мужичье, оборванцы, буржуа, годные для изображения жизни повседневной и низкой, для Мольера, они вызывали презрение Расина, и Вожла заклеймил их в „Словаре" как ссыльных. И вот против старого режима в поэзии выступает поэт-бунтовщик. Революционным ветром он подул на Академию, эту „вдовствующую прабабушку". Он надел красный колпак на старый академический словарь. Нет больше сенаторов среди слов, нет больше разночинцев!..[11] Таким образом в сознании самого поэта, как творца и теоретика, борьба за поэтический язык включается в великие социальные сдвиги эпохи. Говоря словами Лафарга, „классический язык пал вместе с феодальной монархией, романтический родился на трибуне парламентских собраний".[12]

Приведенных примеров достаточно для установления принципиального различия между национальным языком и социальными диалектами. В основном — это различие в социальной функции. Социальные диалекты, возникающие в результате классовой дифференциации общества, отнюдь не равноправны, и их взаимоотношение не ограничивается механическим сосуществованием: они связаны между собой сложным взаимодействием, иерархическим соподчинением и борьбой, обусловленной общим

направлением социального развития данной эпохи и страны. В этом взаимодействии и борьбе национальный язык выступает как социальная норма, господствующая над всеми другими социальными диалектами. Экономическое и политическое господство того или иного общественного класса ведет за собой господство и в области идеологической: „в каждую эпоху мысли господствующего класса суть господствующие мысли...“ („Немецкая идеология“)[13] Такая культурная гегемония господствующего класса в свою очередь обусловливает языковую гегемонию, основные признаки которой были уже перечислены выше.

В современном капиталистическом обществе крестьянин, говорящий на диалекте, всегда билингв (двуязычный): кроме своего родного языка, местного крестьянского говора, он владеет также „языком других“ („Sprache der Anderen“—по терминологии Бехагеля), [14] с которым знакомится в школе, который преподносится ему в печати, который он сам употребляет, — обычно в форме, более или менее окрашенной местным диалектом,—в общении с „высшими“, т. е. с представителями господствующих классов, и вообще в торжественных и официальных случаях жизни. С точки зрения такого крестьянина язык господствующего класса представляет более „высокую“ и более „правильную“ форму национального языка. Слово „Hochdeutsch“, сперва обозначавшее „верхненемецкий“ в противоположность „нижненемецкому“, т. е. диалектам северно-немецкой низменности („Niederdeutsch“), приобретает в этой связи оттенок более „высокой“ речи, свойственной представителям „высших“, т. е. господствующих классов. Нередко можно наблюдать, что крестьянин стыдится своего диалекта как признака необразованности, рассматривая его как „исковерканный“ литературный язык („verwilderte Sprache“). Эта точка зре-

ния на диалект держалась достаточно прочно и в ученых исследованиях XVII—XVIII вв., в эпоху борьбы за унификацию национального языка, и только в XIX в. уступила место романтическому народничеству, идеализующему древность, архаическую нетронутость, бессознательную непосредственность „народной“ (т. е. крестьянской) речи. Однако, поскольку отклонение от господствующей социальной нормы языка всегда расценивается как „ошибка“, обывательское представление о диалекте как об „испорченном“ литературном языке до сих пор имеет достаточно широкое распространение, несмотря на свою историческую неправильность.

Поскольку основное различие между диалектами и национальным языком — в их социальной функции, нужно признать ошибочным разграничение между ними по признаку количества расхождений. Такое разграничение опирается на теорию „родословного древа“ и праязыков, господствовавшую в сравнительной грамматике индо-европейской школы. С этой точки зрения, языки — это ветви того или другого ствола („семьи“ языков), а диалекты — мелкие веточки на большой ветке: расхождения между языками более значительны, чем расхождения между диалектами. Между тем на самом деле вопрос о степени расхождения не может служить критерием для установления различия между языками и диалектами. Так, языки болгарский и сербский гораздо более похожи друг на друга, чем диалекты швабский и баварский, между которыми почти невозможно взаимное понимание; еще значительнее расхождение между диалектами нижненемецкими и верхненемецкими: в количественном отношении оно почти столь же значительно, как между немецким и английским языком. Тем не менее болгарский и сербский являются самостоятельными националь-

ными языками, а швабский и баварский остались на положении диалектов немецкого языка. Напротив, голландский язык по своему происхождению, с точки зрения своего места в „родословном древе" германских языков, может рассматриваться как одна из веточек нижнефранкской подгруппы нижненемецких говоров: его ближайшие „родичи" — те нижнефранкские говоры северо-западной Германии, на которых говорят немецкие крестьяне между Дюссельдорфом и голландской границей. Однако исторические судьбы Нидерландов, передового участка капиталистического развития на континенте западной Европы в XVI—XVII вв., приводят к национально-политическому обособлению Голландии от Германской империи и к созданию самостоятельного национального государства; в связи с этим на основе группы нижнефранкских диалектов вырастает голландский национальный язык, вполне равноправный с немецким.

Теория „родословного древа" относит единство национального языка в доисторическое прошлое, предшествующее распадению первоначально единого языка на диалекты. Между тем исторические свидетельства об образовании большинства известных нам национальных языков опровергают эту концепцию. Немецкий язык слагается из племенных диалектов западных германцев — франков, алеманнов, баварцев, турингов, объединенных в восточно-франкской феодальной монархии; из той же группы западно-германских племенных диалектов отделяется англо-саксонская диалектологическая группа, которая, после переселения англов, саксов и ютов на Британские острова, пройдя через ряд сложнейших смешений с скандинавскими и французскими элементами, дает начало английскому национальному языку. Даже с точки зрения схематизма старой сравнительной грамматики существование „пранемецкого языка", как общей основы тех или иных

западно-германских диалектов, является весьма сомнительным. Трудно было бы вообще ответить на вопрос, что считать „пранемецким": общие элементы всех западно-германских языков, или только племенных диалектов континентальной Германии (без англо-саксонского), или специально верхненемецких, поскольку нижненемецкие (в особенности — древнесаксонский) представляют большее сходство с англо-саксонским, чем с верхненемецким. Все это указывает на неправильность самой постановки вопроса: в эпоху, о которой идет речь, нет еще немцев, существуют лишь германские племена и племенные диалекты, из которых общий немецкий язык сложится впоследствии вместе с образованием немецкой нации.

О прафранцузском языке, как об основе старофранцузских диалектов, нельзя говорить даже как о гипотезе. Романизация Галлии, как и других провинций западно-римской империи, совершалась несколькими этапами, на разной этнической подпочве, но в общих рамках римского государства. Германские племена, завоевавшие и поделившие между собой римские провинции, создали новые границы непрочных государственных образований эпохи раннего феодализма, временно объединенных под властью франкских королей, но вскоре после смерти Карла Великого (IX в.) окончательно распавшихся на множество самостоятельных феодальных территорий, из которых постепенно сложились новые национальные государства Западной Европы. В результате — все современные романские диалекты Франции, Испании и Италии, как отмечал Шухарт, связаны непрерывными переходами, объединяющими французские говоры с северно-итальянскими и провансальскими, провансальские с каталанскими и испанскими и т. д.[15] С другой стороны, на фоне диалектологических переходов четко

выделяются и противостоят друг другу национальные письменные языки — французский, итальянский, испанский и др. Но эти четкие границы между языками — не разветвления доисторического родословного древа, а результат сложного исторического процесса консолидации наций, государственно-политического, культурного и языкового объединения пестрых и смешанных племенных образований и последующих феодальных территорий. В этом процессе некоторые ростки самостоятельного национально-языкового развития оказались раздавленными более мощными национальными объединениями (провансальский — во Франции, каталанский — во Франции и в Испании), отдельные пограничные и переходные элементы были оторваны от более слабых национально-государственных образований и вошли в состав иноязычного объединения на правах местных диалектов (напр., итальянские наречия в французской Корсике).

Таким образом, национальные языки — немецкий, французский, английский и др. — лишь поздний продукт конвергирующего развития диалектов, их сближения и смешения в определенных исторических условиях, когда складываются нации и национальные государства, как мы увидим дальше — в эпоху подымающегося капитализма.[16]

Глава вторая

## ЯЗЫКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА

Когда возникло то принципиальное двуязычие, которое характеризует языковые отношения капиталистического общества? Существует ли оно во всяком классовом обществе или только в обществе буржуазном?

Ответ на этот вопрос дает рассмотрение языковых отношений эпохи феодализма.

Характерной формой двуязычия в складывающемся феодальном обществе является различие между языком победителей и языком побежденных, возникновение которого связано с многочисленными примерами завоеваний, сопровождающих образование феодальных государств. В таких случаях победители, из которых образуется военно-феодальная аристократия, могут в течение продолжительного времени говорить на совершенно другом языке, чем побежденные, которые в основном составят класс крепостных земледельцев. Когда франки в конце V в. завоевали Галлию, германский язык победителей и народная латынь романизованных галлов, покоренных обитателей прежней римской провинции, сосуществовали в границах одного государ-

ства как племенные и вместе с тем социальные диалекты; с течением времени, однако, сравнительно немногочисленные победители, смешавшись со старой галлоримской знатью, растворяются среди местного населения и теряют свой родной язык: уже в 842 г. раздел империи Карла Великого по Страсбургскому договору между западными и восточными франками (будущими французами и немцами) сопровождается клятвами, которые каждое войско произносит на своем языке, западные франки — на французском, восточные — на немецком. Французский язык, романский по своему происхождению, развивается из народной латыни романизованных галлов. Из языка германцев-победителей он заимствует лишь небольшое число лексических элементов; однако эти элементы носят печать своего социального происхождения: слова, связанные с государственным строем феодального общества, военным делом, вооружением, бытом и идеологией феодальной аристократии — напр., guerre < герм. werra (война), garde < герм. warda (стража), guetter < * wactare (стоять на страже), éperon < sporon (шпора), gant < * wantu (перчатка), heaume < helm (панцырь), bourg < burg (городище, укрепление), beffroi < bergfrid (сторожевая башня, колокольня), faide < * faihida (частная война), fief < fehu (ленное владение < герм. скот, имущество), bannir < bannan (изгонять < произносить приговор), maréchal < marahskalk (конюший), orgueil < * urgôlî (гордость), hardi < hard (смелый < герм. твердый) и др.[1] В аналогичных условиях развиваются новые романские языки в завоеванных германцами Италии и Испании.

Наиболее яркий пример такого рода двуязычия в феодальной Европе представляет Англия после норманского завоевания (1066). Завоевание Англии норманнами было политической катастрофой, в результате которой победители оказались в экономи-

ческом и политическом отношении хозяевами страны: в руки норманских баронов переходят все крупные земельные владения, отнятые у местной англо-саксонской знати, и тем самым политическая власть в феодальном обществе. Королевский двор и вся феодальная аристократия, светская и духовная, состоят из норманн-завоевателей, родным языком которых является французский (точнее — норманский диалект старофранцузского языка). Местное англо-саксонское население, численно преобладающее, образует низшие и средние общественные группы, к числу которых относятся крепостные и свободные крестьяне, мелкие земельные собственники-дворяне (субвассалы), низшее духовенство, городские купцы и ремесленники (среди последних также имеются французы — представители новых типов городского ремесла, последовавшие за феодалами-завоевателями). Эти широкие массы феодальной Англии продолжают говорить на языке германского происхождения (англо-саксонском, позже — среднеанглийском). Французский язык, как язык господствующего класса, употребляется (рядом с латинским) в правительственных актах, в парламенте и суде, на нем (и на латыни) ведется обучение в школах, возникает богатая феодально-аристократическая литература на французском языке, созданная поэтами англо-норманского происхождения (напр., „Тристан“ Томаса—около 1160 г., стихотворные рыцарские новеллы Марии Французской — конец XII в., и мн. др.). Напротив, литературные памятники на среднеанглийском языке до второй половины XII в. чрезвычайно немногочисленны: английский язык, после литературного расцвета англо-саксонской эпохи (VII—X вв.), опускается при норманнах на положение языка бесписьменного, если не считать нескольких произведений более или менее случайного характера, вышедших из среды низшего духовенства.

О двуязычии средневековой Англии и социальной функции борющихся языков существуют многочисленные свидетельства современников. Хроникер Роберт Глостерский пишет, напр., около 1300 г.: „Так Англия попала под власть Нормандии. И норманны в то время умели говорить только на своем языке, и продолжали разговаривать по-французски, как говорили у себя дома, и тому же обучали своих детей, так что люди высокого звания (heie men) в этой стране, которые произошли из их рода, все сохраняют этот язык, принесенный ими из дому. Потому что люди невысокого мнения о тех, кто не знает французского языка. Но люди низкого звания (lowe men) держатся английского языка и сохраняют его. Думаю, нет на свете другой страны, кроме Англии, где люди не придерживались бы своего языка“. [2]

Другой свидетель, Хигден (Higden), сообщает, что „дети благородных с самой колыбели учатся французскому языку“. С другой стороны, подражая благородным, „люди деревенские (homines rurales) трудятся изо всех сил, чтобы говорить по-французски“. [3]

Уже в XII в., как пишет Иоган из Сальсбури (Johannes Salsburgiensis), англо-саксы пересыпают свою речь французскими словами, „желая казаться более знатными“. [4]

Процесс национализации англо-норманской аристократии начинается уже в XIII в., с потерей ею земельных владений и политических связей на старой родине, во Франции (1205). Но до начала XIV в. французский язык остается в Англии разговорным языком двора и феодальной аристократии и тем самым — признаком знатного происхождения и образованности. В течение XIV века положение меняется. Вытеснение французского языка английским происходит в условиях разложения феодализма и заро-

ждения буржуазного общества, вместе с возникновением английского национального языка на основе среднеанглийских диалектов. Английские литературные памятники XIII—XIV вв. позволяют проследить сложный процесс взаимодействия и смешения разноязычных элементов, из которых слагается английский язык в этот переходный период. В основном среднеанглийские диалекты развиваются из англосаксонских с широким внедрением французских лексических элементов. Как показал Б. А. Ильиш, проникновение французских слов в средневековый английский язык происходит с различной интенсивностью в зависимости от социальной природы того или иного литературного памятника: оно сильнее, напр., в рыцарском романе, возникшем в феодальных кругах, чем в стихотворном поучении религиозного характера, вышедшем из низов духовенства и адресованном рядовому прихожанину из среднего сословия; происхождением памятника, его темой и идеологией определяется и самый выбор французских слов, сохраняющих признаки своего социального происхождения.[5]

В современном английском языке слова англосаксонские и старофранцузские в большинстве случаев отчетливо дифференцированы по своим социальным признакам. Уже Вальтер Скотт в романе „Айвенго“ дал образец остроумной социологической интерпретации английской двуязычной лексики. В первой главе романа в разговоре крепостных англо-саксов автор развертывает картину угнетения и эксплоатации норманскими баронами покоренных англо-саксов. Наглядной иллюстрацией служат языковые отношения. Пока домашняя скотина находится на попечении крепостного англо-сакса, за нею сохраняется старое саксонское (германское) прозвище; но когда ее подают к столу норманского барона, она получает французскую кличку: ср. swine

(нем. Schwein) свинья — pork (фр. porc) свинина; calf (нем. kalb) теленок — veal (фр. veau) телятина; ox (нем. ochs) бык — beef (фр. boeuf) говядина; sheap (нем. Schaf) овца — mutton (фр. mouton) баранина. В общем словами старофранцузского происхождения охватывается вся область государственных отношений феодального общества, администрация, феодальная иерархия и титулатура: напр., govern (управлять), reign (царствовать), sovereign (государь), country (страна), power (власть); minister (министр), chancellor (канцлер), parliament (парламент), counsil (совет); vassal (вассал), liege (сюзерен), fief (феод); prince (князь), duke (герцог), count (граф), baron (барон) и мн. др. Суд и право: justice (справедливость, право), judge (судить), jury (присяжные), plead (тягаться), accuse (обвинять), defend (защищать), cause (судебное дело), crime (преступление), session (судебная сессия), attorney (адвокат), property (собственность), heritage (наследство), marriage (брак), prison (тюрьма) и др. Военное дело: war (война), peace (мир), battle (битва), siege (осада), assault (приступ), arms (оружие), buckler (щит), lance (копье), banner (знамя), officer (офицер), sergeant (сержант), lieutenant (лейтенант), guard (охрана), danger (опасность), force (сила) и др. Быт и идеология феодальной аристократии: court (двор), courteous (куртуазный), noble (благородный), fine (изящный), hardy (смелый), gallant (отважный), honour (честь), glory (слава) и др. Церковь, ее организация и учреждения, церковная догма и мораль: religion (религия), service (служба), saviour (спаситель), saint (святой), abbey (аббатство), cloister (монастырь), clergy (клир), friar (монах), baptism (крещение), preach (проповедывать), pray (молиться), sermon (проповедь); virtue (добродетель), vice (порок), conscience (совесть), charity (милосердие), chaste (целомудренный), pity (сострадание), grace (благодать) и мн. др. Названия ремесел обна-

руживают любопытную двойственность: простейшие, старинные ремесла сохранили англо-саксонские названия, напр.: baker (булочник), miller (мельник), smith (кузнец), weaver (ткач), saddler (седельщик), shoemaker (сапожник); новые, более позднего происхождения, импортированные норманнами, имеют французские обозначения, ср. mason (каменщик), carpenter (столяр), butcher (мясник), tailor (портной), painter (маляр) и др. Из французского языка заимствованы разнообразные „культурные слова", относящиеся к области отвлеченной мысли, искусства, культурного быта и т. д.: напр., order (порядок), nature (природа), reason (разум), necessity (необходимость), circumstance (обстоятельство), science (наука), art (искусство), music (музыка), beauty (красота), pleasure (удовольствие), joy (радость), costume (одежда), garment (одеяние) и мн. др.[6]

В эпоху двуязычия средневековые английские писатели нередко употребляют рядом новое французское и старое англо-саксонское слово, причем второе должно служить пояснением первого. Напр., в раннем среднеанглийском религиозном трактате („Ancren Riwle", 1225): cheritè thet is luve (милосердие, т. е. любовь).[7] В более позднюю эпоху такие парные разноязычные формулы становятся явлением стиля; ср. у Чосера poynaunt and sharp (острый); часто — в старинных балладах: faith and troth (верность), safe and free (в безопасности и на свободе) и др. В современном английском языке в целом ряде случаев сохранились дублеты, причем обычно французское слово, соответственно своему социальному происхождению, носит более литературный, стилистически „высокий", англо-саксонское — более обиходный, бытовой характер. Ср., напр.: begin — commence (начинать), hide — conceal (прятать), feed — nourish (питать), hinder — prevent (препятствовать), hearty — cordial (сердечный), deep — profound (глу-

бокий), lonely — solitary (одинокий), inner — interior (внутренний) и мн. др.[8]

В области английской грамматики французское влияние, по всей вероятности, отразилось в ускорении процесса редукции окончаний и перехода от флективного строя к аналитическому. Тенденция в этом направлении уже намечается в позднем англо-саксонском языке, но процесс языкового смешения должен был сказаться, как всегда, в дезорганизации архаической системы флексий и упрощении грамматических форм по типу романских языков.

Двуязычие, подобное тому, которое мы наблюдали в эпоху завоевания германцами римских провинций или англо-саксонского государства норманнами, встречается неоднократно в эпоху образования феодального общества. Аналогичное положение создается, напр., при завоевании немецкими рыцарями в XII—XIV вв. заэльбских земель и Прибалтики, населенных славянскими, балтийскими и финскими племенами; при этом двуязычие выступает особенно резко там, где феодальное завоевание и городская колонизация не сопровождаются колонизацией крестьянской и истреблением побежденных туземцев, напр. в Курляндии, Латвии, Эстонии или в полусамостоятельной Богемии. На Востоке путем подобных завоеваний складываются арабский калифат и государство османских турок, включающее иноязычных греков, румын и балканских славян. В дальнейшем языковое развитие на основе такого двуязычия может иметь очень различный характер, в зависимости от характера самого завоевания и последующих экономических и политических взаимоотношений между победителями и побежденными, от их относительной численности, общественного и культурного развития. Не всегда результатом этого процесса является смешение борющихся языков и поглощение одного другим: дву-

язычие в результате классовой и культурной розни сохраняется до эпохи капитализма — напр. в Чехии, в Прибалтике, на Балканах и др., становясь в дальнейшем опорой для борьбы за „возрождение“ угнетенной нации.

Другая форма двуязычия, характерная для феодальной эпохи, заключается в существовании рядом с родным языком, употребляемым по преимуществу в бытовом общении, особого рода интернациональных письменных языков — „священных языков“ религии, клерикальной письменности и церковного просвещения, доступных только жреческой касте, духовенству, как профессиональной интеллигенции средневековья. Таким интернациональным письменным языком является латинский язык в западной Европе, арабский в мусульманских странах, церковно-славянский (древнеболгарский) у восточных и южных славян. В условиях господства клерикальной идеологии древний письменный язык, язык богослужения и священных книг, в большинстве случаев архаический или мертвый и тем самым непонятный широким народным массам, становится орудием клерикального просвещения эпохи феодализма, языком науки и школы, возникающей под сенью церкви, государственных актов, административной и судебной переписки, находящейся на попечении клириков, как единственных грамотных и образованных представителей феодального общества. Так, латинский язык выполняет в феодальной Европе все важнейшие общественно-политические и культурные функции будущих национальных (литературных) языков эпохи капитализма; но вместе с тем — это язык не национальный, а международный, и притом в основном только письменный, т. е. язык специального назначения. С этой функцией средневековой латыни связано проникновение в языки феодального Запада довольно многочисленных латинизмов, „ученых слов“

(mots savants), относящихся, по преимуществу, к области церковной культуры и клерикального мировоззрения. Светская письменность на так наз. „народных языках“ (lingua vulgaris, lingua theodisca) возникает сперва как своего рода контрабанда; напр., отрывок древненемецкой эпической „Песни о Гильдебранде“ записан на оборотной странице латинского богословского трактата VIII в. Только в эпоху расцвета феодализма (XI—XIII вв.) возникает светская рыцарская поэзия на народных языках, зафиксированная в письменной форме, которая выражает идеологию феодальной аристократии и претендует на равноправие с клерикальной письменностью на латинском языке. Наконец, вместе с разложением феодализма в XIV—XVI вв. начинается борьба за национализацию языка и культуры, характерный симптом буржуазных тенденций, намечающихся внутри феодального общества: в эту эпоху нарождающиеся национальные языки постепенно вытесняют латынь и принимают на себя ее культурные и общественные функции. Впрочем, интернациональным языком новой светской науки и гуманистического научного образования латынь остается и в буржуазном обществе, по крайней мере — до XIX века.

Более спорным является вопрос об „общих“ или „литературных“ языках эпохи феодализма, существование которых предполагает социальную дифференциацию внутри „народных“ языков. Так, вокруг проблемы средне-верхненемецкого литературного языка развернулась большая научная полемика. Первый исследователь немецкой рыцарской поэзии Карл Лахман (1793—1851), представитель романтических течений в германистике начала XIX в., исходил из мысли о существовании в Германии, в эпоху расцвета рыцарской литературы (XII—XIII вв.), особого литературного языка, отличного от местных диалектов. По мнению Лахмана, язык этот сложился при

императорском дворе Гогенштауфенов, где съезжались представители феодальной аристократии всей Германии; лучшие поэты эпохи расцвета ориентировались на этот язык, отказываясь от употребления резких местных особенностей, непонятных за пределами их родного говора; диалектологическая пестрота дошедших до нас рукописей средневековых поэтов объясняется всецело небрежностью позднейших переписчиков, вносивших в рукописи черты своего особенного диалекта. В своих критических изданиях Лахман исправляет рукописи, восстанавливая, на основании исследования рифм точно рифмующих поэтов, первоначальную форму языка в ее подлинной „чистоте".[9]

На протяжении XIX в. принципы Лахмана и его издательская техника неоднократно подвергались критике, особенно решительно в брошюре Германа Пауля: „Существовал ли средне-верхненемецкий литературный язык?" (1873).[10] Хотя вопрос этот и посейчас не решен окончательно, тем не менее в основном можно считать точку зрения Лахмана опровергнутой.[11] Диалектологические различия рукописей во многих случаях объясняются различиями в диалекте самих поэтов. Частично наблюдаются тенденции к сглаживанию слишком резких местных особенностей, к смешению языковых признаков различных диалектов; однако эти обобщающие тенденции носят скорее региональный, чем общенациональный характер. Это вполне соответствует историческим условиям развития немецкого общества в эпоху феодализма. Экономическая, политическая и культурная жизнь Германии в эту эпоху носит по преимуществу региональный характер, а императорский двор Гогенштауфенов, будучи средоточием интернациональных политических интересов средневековой Римской империи, меньше всего мог служить центром сцепления „национальных", объеди-

няющих сил. Кратковременные съезды имперского рыцарства на рейхстагах и торжественных празднествах не могли являться существенным и постоянным фактором языкового объединения, каким становится в более позднюю эпоху постоянная совместная жизнь в городах и оживленные торговые связи между городами. Отсутствие сколько-нибудь распространенной национальной письменности и даже грамотности на национальном языке, в связи с господством латыни в клерикальном просвещении, лишало феодальное общество важнейшего технического средства языкового объединения.

Те же явления наблюдаются во всех других странах феодальной Европы. Французские и итальянские литературные памятники XI—XIII вв. носят в основном диалектологический характер; в среднеанглийском языке XIII—XIV вв. диалектологическая пестрота выступает особенно ярко, ввиду той роли, которую играет французский язык в бытовом и литературном обиходе господствующего класса.

Эпоха феодализма характеризуется территориальной разобщенностью экономической и политической жизни, при общей слабости объединяющих тенденций, обычной в условиях натурального хозяйства и мелкого товарного производства. Хозяйственно-политические связи замыкаются в пределах более или менее обширной территории поместья-государства. Благодаря этому племенные говоры германцев эпохи великого переселения народов, прошедшие сквозь сложный процесс смешения с языками догерманского населения, по-новому кристаллизуются в границах феодальных территорий. Аналогичный процесс происходит на территории романских языков, возникших на различной этнической подпочве в результате латинизации населения римских провинций, включенных в эпоху великого переселения народов в состав различных германских государств и в конце

концов распавшихся также на более или менее самостоятельные территориальные единицы, в соответствии со сложной сетью феодальных владений, в границах которых протекает экономическая и культурная жизнь средневекового общества.

Таким образом, характерной формой существования языков феодальной эпохи является тип поместно-территориальных говоров, замкнутых в границах средневекового поместья-государства.

Конечно, замкнутость средневековых диалектов, подобно замкнутости средневекового хозяйства, должна пониматься относительно. Уже в эпоху раннего феодализма в древненемецких письменных диалектах мы наблюдаем влияние франкских говоров на баварские и алеманские (напр., вытеснение алеманского дифтонга ua и баварского ô франкским uo в памятниках IX в. — guot вместо guat или gôt), в связи с политической и культурной гегемонией франков в монархии Карла Великого;[12] нижненемецкий язык саксов, покоренных Карлом и подвергшихся насильственной феодализации и христианизации в конце VIII в., обнаруживает в начале IX в. следы влияния верхненемецкого в франкской форме (поэма „Hêliand", между 822—840 гг.).[13] Для более поздней эпохи современные немецкие диалектологи (проф. Т. Фрингс) устанавливают, напр., в истории франкских диалектов, расположенных по Рейну, ряд существенных изменений, происходящих в XII—XV вв. („die grosse Süd-Nord Revolution" — „великая юго-северная революция"): изменения эти вызваны оживленными торговыми сношениями по Рейнской дороге, основной торговой артерии, соединяющей Средиземное и Северное моря.[14] Уже в XII, но особенно в XIII в., французские литературные диалекты обнаруживают растущее влияние Парижа, как королевской резиденции, торгового и политического центра. Однако отдельные факты такого рода не меняют общей

картины неподвижности и территориальной замкнутости средневекового поместья-государства и обусловленной этим обстоятельством территориальной раздробленности языка эпохи феодализма.

Поскольку средневековая Европа не знает „общих языков“ феодальной аристократии, средневековый поместно-территориальный диалект — не социальный говор подчиненной общественной группы (по французской терминологии — patois), каким являются крестьянские или мещанские диалекты современного капиталистического общества; это прежде всего — территориальная единица, объединяющая все население в пределах данного поместья-государства. Язык феодальной аристократии обнаруживает ярко выраженные местные особенности и даже в своем литературном оформлении не проявляет сколько-нибудь значительных тенденций к надтерриториальному объединению; поэтому вряд ли можно предполагать существенные фонетико-грамматические различия между ним и местным крестьянским диалектом, по крайней мере — там, где в основании дифференциации социальных диалектов не лежит, как в Англии, первоначальное двуязычие. Только с образованием национального языка как общего, надтерриториального языка господствующих классов, происходит принципиальный разрыв между языком социальной верхушки, утратившим местные особенности территориального говора, и диалектами подчиненных общественных групп, сохранившими локальные черты.

В сущности, о крестьянском языке эпохи феодализма почти ничего не известно, по крайней мере — из непосредственных источников, так как крестьяне, будучи сплошь неграмотны, не могли оставить письменных памятников своего языка. Существуют, однако, косвенные свидетельства — напр., в сатирической литературе мелкого дворянства (поэт Нейд-

гарт, первая половина XIII в.) или средневекового бюргерства („Мейер Гельмбрехт“, середина XIII в.), направленной против крестьянина как классового врага. В немецкой поэзии XIII—XV вв., высмеивающей „грубого крестьянина“ („der grobe Bauer“) с классово-враждебной точки зрения и охотно изображающей его костюм, манеры, поведение, отсутствуют какие бы то ни было указания на социальные признаки крестьянского диалекта. Между тем у писателей той же эпохи мы встречаем достаточно внимательное отношение к различию диалектов территориальных. „Кто хочет правильно сочинять по-немецки,— говорит Гуго фон Тримберг (около 1300 г.),— тот должен склонить свое сердце к разным языкам“. „Не следует думать, что аахенцы говорят так же, как франки...“ „Каждая страна имеет свой обычай, которому следует народ этой страны. Языком, внешностью и одеждой отличаются страны друг от друга“. Дальше следует описание говоров важнейших немецких „стран“ (т. е. крупных племенных и феодальных территорий):

Swâben ir wörter spaltent,
Die Franken ein teil si valtent,
Die Beier si zezerrent,
Die Düringe si ûf sperrent,
Die Sachsen si bezückent,
Die Rînliute si verdrückent... и т. д.[15]

Указания на наличие крестьянских диалектов в современном смысле слова начинают попадаться в литературе с развитием социальной нормы национального языка: во Франции — в XIV—XV вв. (крестьянские диалекты „низких персонажей“ в мистериях), в Германии — только в XVI в.

Конечно, это не значит, что феодальная аристократия и крепостные крестьяне в эпоху расцвета феодализма говорили на качественно одинаковом

языке. Дифференциация социальных диалектов в эту эпоху особенно отчетливо сказывается в области лексики. Словарь, как идеологический инвентарь языка, обнаруживает всегда с наибольшей ясностью специфические противоположности в области классовой идеологии. В Германии, напр., в XII—XIII вв. язык феодальной аристократии обогащается новыми понятиями и словами, связанными с новой рыцарской идеологией и определившей ее развитие общественной практикой. Идеи рыцарского служения даме, рыцарской чести и куртуазного вежества, подвигов и приключений, вся терминология рыцарского ремесла, военного дела, вооружения и убранства имеет замкнутый сословный характер и определяет специфическое содержание поэзии и языка господствующего класса. Поскольку рыцарская культура приходит в Германию из Франции, как передовой страны развитого феодализма, значительное число таких слов заимствовано или переведено с французского. Французскими словами обозначают предметы и понятия, связанные с рыцарским делом, напр., turnei (турнир), tjoste (конный поединок), âventiure (рыцарское приключение), buckel (щит), panzier (панцырь), lanze (копье), schinelier (наколенник), covertiure (попона), banier (стяг) и др.; предметы обстановки, быта, развлечений рыцарского общества: напр., palas (дворец), castel (замок), kumpanîe (компания, общество), habît (одежда), mursel (кусок еды), gastel (пирожное), pîment (напиток), tanzen (танцовать), parlieren (беседовать), floitieren (играть на флейте), schanzun (песня) и др.; психологические понятия и моральные принципы новой рыцарской культуры: kurtois (вежливый), maniere (манера), fier (гордый), fîn (изящный) и др.; обращения и приветствия, принятые в светском обществе: amîs (друг), merzi или gramerzi (спасибо), bien sei venûz (добро пожаловать), adê (прощай) и мн. др.[16]

Литературные произведения XII—XIII вв., переведенные с французского или возникшие под французским влиянием, испещрены заимствованными словами такого рода. Пародией, сознательной или бессознательной, кажется, напр., стихотворение миннезенгера Тангейзера (сер. XIII в.):

> Ein *riviere* (фр. река) ich dâ gesach,
> durch den *forês* (фр. лес) ging ein bach
> ze tal übr ein *planiure* (фр. поляна).
> ich sleich ir nach, unz ich si fant, die schoenen *crêâtiure* (фр. создание).
>
> bi dem *fontâne* (фр. источник) saz diu *klâre* (фр. ясная), süeze von *faltiure* (фр. внешность).[17]

С другой стороны, условная терминология немецкой рыцарской поэзии, связанная с культом дамы, характерным для нового типа феодальной культуры этого времени, целиком переведена с провансальского языка трубадуров и старофранцузского стихотворных рыцарских романов XII в. Противоположность аристократической куртуазности феодального двора (courtoisie — от court „двор“) и „мужицкой“ грубости (vilainie — от vilain „крестьянин“) переводится немецкими поэтами социальными эквивалентами — hovesceit, hövesch (от hof „двор“) и dörperheit, dörper (от dorf „деревня“ — „деревенщина“).[18] Рыцарское служение даме обозначается феодальным термином dienst — dienen (пров. servir); дама принимает рыцаря в свои вассалы — an sich nemen (пров. retener); она достойна похвалы — guot ze lobenne (фр. fait à louer); она прекрасна и добра — schoene unde guote (пров. bela e buona); она дает ему радость — freude (пров. joi); поэтому любовь богата радостью — fröiden rîch (riche de joie); хотя в то же время поэт испытывает любовное томление — senen (пров. dezir); отношения любящих определяются правилами приличия и воспитания — zuht, fuoge

(пров. bel captenemen), моральным и эстетическим принципом „меры“ — mâze (пров. mezura) и т. д.[19]

Такой язык, сложившийся под влиянием замкнутого сословно-классового мировоззрения, должен был резко отличаться от языка низших классов общества и производить впечатление непонятного, независимо даже от вошедших в его состав иноязычных элементов. Интересный случай такого непонимания новых явлений в языке и быте феодальной аристократии засвидетельствован в стихотворном романе Гартмана фон Ауэ „Ивейн“ (около 1200 г.). Роман переведен с французского, из цикла артуровских романов Кретьена из Труа (около 1173 г.), но эпизод, о котором идет речь, является вставкой немецкого поэта. Рыцарь Калогреант, путешествуя в поисках приключений, встречает безобразного пастуха-крестьянина (gebûre), который спрашивает его о целях его поездки. „Я ищу приключений“ (aventiure), отвечает герой. Пастух не знает, что такое „приключение“. „Aventiure? waz ist daz?“ спрашивает он рыцаря. Тогда тот дает подробное объяснение: „Вот видишь, как я вооружен. Я зовусь рыцарем и еду в поисках другого человека, который был бы вооружен так же, как я, чтобы с ним вступить в бой. Если я одержу над ним победу, моей чести прибудет. Если он победит, то он станет более достойным, чем был до сих пор“.[20]

Таким образом, новое иностранное слово aventiure, только входившее в обиход рыцарской поэзии, в эпоху Гартмана требовало еще объяснения, предметного урока, связанного с усвоением нового явления культурного быта феодальной аристократии. Подобным же образом в „Тристане“ Готфрида Страсбургского (около 1210 г.) дается пояснение приемов и терминов (большей частью французских) „куртуазной“ охоты, которой молодой Тристан,

образец модного рыцаря, обучает архаический феодальный двор своего дяди, короля Марка.[21]

Характерно, что, с развитием буржуазной формы немецкого национального языка XIV—XVI вв., большинство заимствованных слов этого слоя выходит из употребления вместе с породившей их рыцарской культурой: вернее, слова эти никогда не существовали в языке других общественных групп, кроме господствующего класса, феодальной аристократии. С другой стороны, в реалистической и сатирико-дидактической поэзии немецкого бюргерства XIV—XVI вв., в деловой прозе, наконец — в современных крестьянских диалектах, с их богатой сельскохозяйственной лексикой, можно найти огромное множество слов, встречающихся в других германских языках и несомненно древних, которые никогда не попадаются нам в рыцарской поэзии XII—XIII вв., исключавшей такого рода „низкие“ слова из своего сословно-замкнутого поля зрения. Таким образом, если фонетико-грамматическая дифференциация социальных диалектов более отчетливо обозначается, повидимому, лишь в эпоху образования национального языка, то дифференциация лексическая существует уже в феодальном обществе как признак идеологических различий, обусловленных классовой борьбой.

## Глава третья

# ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ

Образование национальных языков связано с возникновением буржуазного общества. „Нация, — говорит И. В. Сталин, — является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи подымающегося капитализма. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации. Так происходит дело, например, в Западной Европе. Англичане, французы, германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии торжествующего над феодальной раздробленностью капитализма". „Но образование наций означало там вместе с тем превращение их в самостоятельные национальные государства". [1]

Вместе с образованием наций впервые возникает и национальный язык как „общий язык" нации, преодолевший феодальную раздробленность поместно-территориальных говоров средневековья. В этом смысле Маркс и Энгельс говорят о „концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленной экономической и политической концентра-

цией".[2] Поэтому для лингвистики национальный язык также является исторической категорией определенной эпохи, эпохи подымающегося капитализма.

„Во всем мире,—как указывает Ленин,—эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец—условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем".[3]

Как указывает Ленин, национальный язык является не только продуктом национального развития, он служит в то же время и мощным фактором национального объединения, происходящего в эпоху капитализма.

Предпосылкой образования национальных языков является разложение феодальных отношений, развитие городской промышленности и торговли, рост городов с их смешанным составом населения, освобожденного от прикрепления к земле и более подвижного по характеру своей деятельности, оживление межтерриториальных связей, обусловленное развитием товарного хозяйства. Опираясь на капиталистические элементы страны, абсолютная монархия проводит территориально-политическое объедине-

ние внутреннего рынка и на развалинах потерявших свою самостоятельность феодальных территорий создает национальные государства нового типа, с централизованным бюрократическим аппаратом, наемной армией, организованной налоговой системой и т. д. В этих исторических условиях из элементов поместно-территориальных говоров средневековья возникает общий национальный язык как выражение национального сознания господствующих классов национального государства и как орудие национального объединения, а в некоторых случаях — и национального угнетения, как и национально-освободительной борьбы.

В основе национального языка обыкновенно лежит смешанный по своему происхождению диалект главного экономического, политического и культурного центра национального государства — язык Лондона, Парижа, Мадрида, Москвы и т. д. По своему социальному происхождению и идеологическому содержанию это — язык господствующих классов, развитие которого определяется, как во Франции XVII—XVIII вв., взаимодействием и борьбой между „двором и городом“, т. е. дворянством и буржуазией, основными действующими силами политической и культурной жизни в эпоху абсолютной монархии. Участие этих сил в процессе образования и развития национального языка может быть очень различным в зависимости от конкретных условий исторической жизни данной страны на том или ином этапе ее развития. В зависимости от этих конкретных условий в языковую борьбу, особенно — на более поздних этапах, втягиваются и широкие массы мелкой буржуазии и ее идеологические вожди.

Существенной предпосылкой развития национальных языков является национализация письменной публичной речи. Национализация и секуляризация просвещения в нарождающемся буржуазном обще-

стве способствуют вытеснению клерикальной латыни с командных высот культурной жизни: национальные языки утверждаются в государственных и частных правовых актах, в административной канцелярской переписке, в школьном преподавании, в науке, частично и в религии, по крайней мере — в протестантских странах. Последовательность развития этого общего процесса подтверждает его обусловленность зарождением новых общественных отношений.

На территории Франции судебные акты на местном языке уже в конце XI в. появляются в Провансе: в эту эпоху южная Франция, со своими многочисленными торговыми и промышленными городами, благодаря средиземноморской торговле, является передовым участком буржуазного развития в Европе. В северной Франции юридические документы на местных диалектах появляются с начала XIII в., по преимуществу в частно-правовых актах: инициатива принадлежит торговым и промышленным городам Фландрии, Бельгии, Артуа, Лотарингии. Мотивом перехода на французский язык является потребность сделать юридический документ доступным сторонам: учащение в эту эпоху сделок частно-правового характера непосредственно связано с развитием товарного хозяйства. Отстают в этом процессе аграрные области средней Франции (Анжу, Турень, Берри), где первые французские документы, притом крайне немногочисленные, появляются только в середине XIV в. Королевская канцелярия в Париже пользуется французским языком в единичных распоряжениях уже во второй половине XIII в., но окончательный переход на национальный язык совершается здесь на протяжении XIV в.[4] В судебных делах употребление национального языка устанавливается в 1539 г. указом Франциска I: это распоряжение, как мы увидим дальше,

означало одновременно отказ от латыни и от местных диалектов.[5] Борьба за национальный язык в науке и школе начинается во Франции в XVI в. и заканчивается только в эпоху буржуазной революции, вместе с окончательным крушением феодализма.

В Англии борьба между латынью и национальным языком осложняется двуязычием и соперничеством языков французского и английского. В общем французский язык появляется в юридических актах в первой половине XIII в., раньше всего и здесь в актах частно-правового характера. В конце XIII в. он вытесняет латынь. Во второй половине XIV в. появляются первые юридические документы на английском языке — завещания, парламентские петиции; но они крайне немногочисленны.

Значение английского языка в политической и общественной жизни страны увеличивается вместе с ростом экономического и политического авторитета буржуазии, в особенности — лондонской. Характерно, что именно по представлению города Лондона Эдуард III в 1362 г. издает приказ, чтобы все судебные дела велись на английском языке, „ибо язык французский слишком мало известен в этой стране“. Однако только в XV в. можно говорить о победе английского языка над французским во всех областях государственной жизни. Отдельные французские формулы до сих пор сохраняются в парламентском и судебном языке Англии как пережитки господства французского языка.[6]

В Германии первые юридические грамоты на немецких диалектах появляются в сороковых годах XIII в. (в эпоху так наз. „междуцарствия“), а к шестидесятым годам число их заметно увеличивается. Среди этих грамот на первом месте стоят документы частно-правового характера, число которых с ростом товарного хозяйства в эту эпоху быстро растет. Во главе движения идут городские канце-

лярии, отчасти — в сделках с рыцарями, мелкими дворянами-землевладельцами.[7] В городах появляются писцы и нотариусы из местных бюргеров, постепенно вытесняющие клириков;[8] в XIV в. появляются первые городские школы, в которых обучают немецкой грамоте.[9] В XIII в. ряд городов кодифицирует на немецком языке местное городское право: пример был дан около 1235 г. в Галле „Саксонским Зерцалом" городского патриция Эйке фон Репкоу (Eike von Repkow), за которым следует Магдебург (середина XIII в.), Любек (1260—1270), Фрейбург (1275) и др.[10] В XIV в. появляются городские хроники на немецком языке (первая — в Страсбурге).[11] Канцелярии крупных князей, в особенности — духовных, отстают от этого движения, продолжая пользоваться услугами клириков. В восьмидесятых годах XIII в. немецкие грамоты уже неоднократно встречаются в императорской канцелярии Рудольфа Габсбургского. Но окончательно имперская канцелярия переходит на немецкий язык при Людовике Баварском, в двадцатых годах XIV в., в эпоху ожесточенной борьбы империи против папства. В этой борьбе император делает попытку опереться на города: он поддерживает направленные против Рима городские ереси (беггардов) и в других областях культурной политики поощряет секуляризационные и национальные тенденции немецкого бюргерства.

Но особенно ясно выступает связь между развитием буржуазного общества и национальных языков при рассмотрении самого процесса образования национальных языков из поместно-территориальных диалектов средневековья. Италия, как передовая страна на ранней стадии капиталистического развития, первая вступает на путь языкового объединения. Письменная форма итальянского национального языка в основном слагается уже в первой

половине XIV в., на основе языка трех великих флорентийских писателей — Данте, Петрарки и Бокаччо. Языковая и литературная гегемония Флоренции — явление не случайное: Флоренция XIV в. является крупным торговым, промышленным и финансовым центром, насчитывающим в 1339 г. до 90 000 жителей,[12] и играет ведущую культурную роль в эпоху раннего Возрождения. Однако Италия в этот период не достигает национального объединения, а во второй половине XVI в., в связи с перенесением торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан, теряет уже занятые позиции, отстает от передовых капиталистических стран, переживает эпоху экономического упадка и политической реакции, так наз. „рефеодализацию". В связи с этим письменная форма флорентийского литературного языка отрывается от языка разговорного, становится абстрактной и архаической пуристической нормой,[13] которая вступает в резкое противоречие с реальным многообразием территориальных диалектов, сохраняющих прежнюю раздробленность на всех ступенях социальной лестницы, даже в разговорном языке так наз. „образованного общества" — по крайней мере, до эпохи национального объединения во второй половине XIX в.

Вслед за Италией на тот же путь вступает Франция. Литература на диалектах господствует здесь в XI—XIII вв. С конца XII в. в диалектологических памятниках выступает влияние Парижа, в XIII в. оно становится более заметным: в эту эпоху королевская власть укрепляет свой политический авторитет и вступает в борьбу с феодальными территориями, опираясь на растущее значение Парижа как хозяйственного центра страны. Таким образом, в основе французского национального языка лежит диалект Парижа; влияние других диалектов, сравнительно

незначительное, сказывается лишь в отдельных словарных заимствованиях.[14]

Процесс вытеснения письменных диалектов новой национальной нормой в основном завершается на протяжении XIV—XV вв.; однако еще в конце XIV в. можно услышать жалобу, что „трудно найти людей, умеющих писать, понимать и произносить одинаково, но один пишет, понимает и произносит так, а другой — иначе“.[15]

В связи с распространением национальной нормы местные диалекты становятся социальным признаком подчиненных общественных групп, в особенности — крестьянства, о чем свидетельствует речевая характеристика социально-низких персонажей в драматической литературе XIV—XV вв. (мистериях, фарсах и т. д.).[16] Указ Франциска I о введении национального языка в судопроизводство (1539), как уже было указано выше, был направлен в равной мере против местных диалектов. Известен анекдот о том, как провансальцы, плохо владевшие французским языком, отправили к Франциску посольство с целью добиться отмены этого распоряжения: Франциск принял это посольство только после того, как, прожив несколько месяцев в Париже в тщетном ожидании аудиенции, оно успело обучиться языку его величества.[17]

В XVI—XVII вв. завершается политическое объединение Франции в форме абсолютной монархии, создается национальная литература и окончательно фиксируется национальный язык, нормализованный сознательными усилиями грамматиков, которые ориентируются на язык „двора и города“. Но в области разговорного языка эта норма распространяется только на господствующие классы: крестьянство и мелкая буржуазия продолжают говорить на местных диалектах, язык буржуазии также нередко обнаруживает диалектологические признаки, в осо-

бенности — в Провансе, где зачатки самостоятельного национально-политического и языкового развития были разрушены в начале XIII в. насильственным присоединением к Франции. На окраинах французского государства сохраняются языки национальных меньшинств, не достигших государственной самостоятельности, как баскский — в Пиренеях, каталанский — в Руссильоне, бретонский — на северо-западе, или оторванных от менее прочных и не вполне оформившихся национальных объединений, как итальянский в Корсике, немецкий — в Эльзасе и части Лотарингии: подавленные культурно-политической гегемонией французского языка, они остаются на положении бесписьменных диалектов.

В эпоху французской революции, с приходом к власти буржуазии, вопрос об этих языках и диалектах приобретает политическую остроту. Революционная буржуазия борется за национально-политическое единство Франции и вместе с тем за объединение языковое. Выдвигается принцип всеобщего начального обучения на национальном, т. е. на французском языке. „Поскольку республика едина и неделима, — говорит проект Дюпона, — воспитание будет производиться на французском языке, общем огромному большинству граждан“.[18] Французский язык, — „язык свободы“ („l'idiome de la liberté“) — вводится в обязательном порядке в администрации и суде. В тех департаментах, где сельское население не понимает по-французски, учреждается особая должность преподавателей французского языка (instituteurs de la langue française), на обязанности которых лежит обучение детей и чтение взрослым в дни декадных праздников законов республики, относящихся к правам гражданина и сельскому хозяйству.[19]

При обсуждении этого вопроса в Конвенте докладчик Барер заявляет: „Федерализм и суеверие

говорят по-бретонски, эмиграция и ненависть к республике — по-немецки, контрреволюция говорит по-итальянски, а фанатизм — по-баскски. Разобьем эти орудия вредительства и заблуждения. Монархия имела основания оставаться похожей на вавилонскую башню; в демократии оставлять граждан невежественными в национальном языке, неспособными контролировать власть, значит совершать измену по отношению к родине, значит недооценивать благодеяний книгопечатания, ибо каждый печатник — учитель языка и законодательства. Французский язык станет всемирным языком, потому что это — язык народов. Пока что, так как он имел честь служить декларации прав человека, он должен стать языком всех французов. У свободного народа язык должен быть единым для всех". [20]

Та же точка зрения распространяется вождями и теоретиками революции и на французские диалекты. Уже в национальном собрании по этому вопросу выступает Талейран (1791): „Поразительной особенностью того состояния, от которого нас освободила революция, было, несомненно, то обстоятельство, что национальный язык, с каждым днем расширявший свои победы за границами Франции, среди нас самих оставался недоступным для огромного числа жителей, и что это важнейшее средство общения являлось для многих собратьев наших непроходимой преградой. Такое странное явление было результатом целого ряда случайных причин; но последствия его были намеренно использованы во вред народа. Начальные школы положат конец этому странному неравенству: язык конституции и законов будет преподаваться всем, и таким образом с необходимостью исчезнет это множество испорченных диалектов, последний остаток феодального строя" (dernier reste de la féodalité). [21]

В Конвенте докладчиком по этому вопросу выступает депутат Грегуар, еще раньше (в 1790 г.) производивший анкетное обследование употребления диалектов и национального языка во всех частях Франции.[22] Грегуар исходит из принципа, что „единство языка — неотъемлемая часть революции“. — „Я повторяю еще раз, —восклицает он, — гораздо важнее, чем это думают обыкновенно, с политической точки зрения, искоренить различия этих грубых наречий, которые сохраняют детство разума и старость предрассудков“. Феодализм, расчленивший Францию, старательно поддерживал различия диалектов: „Можно сказать без преувеличения, что по крайней мере 6 миллионов французов, в особенности в деревнях, не знают национального языка, примерно такое же число неспособно поддерживать на нем связного разговора; наконец, число тех, кто правильно говорит на нем, не превышает 3 миллионов, и еще меньшее число умеет грамотно писать“. Необходимо, говорит Грегуар, чтобы все граждане могли сообщать друг другу свои мысли, чтобы правительственные законы были понятны всем, чтобы каждый мог занимать государственные должности, к которым он получил доступ по законам республики. Необходимо, чтобы исчезли последние преграды, препятствующие политическому объединению старых провинций. Национальный язык должен сделать доступными для всех те полезные научные знания и книги, в которых нуждается население. Грегуар предлагает Конвенту издать закон, по которому вступающие в брак должны были бы „доказать уменье читать, писать и говорить на национальном языке“.

Фактически Конвент принял только обращение к французскому народу, взывающее к его патриотизму и предлагающее „изгнать диалекты (les jargons), как последние отребья феодализма и памятники рабства“.[23]

Такова программа широкой демократизации национального языка как орудия национальной культуры, выдвинутая революционной буржуазией в эпоху подъема, когда в борьбе против феодализма она мобилизует широкие массы трудящихся и выступает от имени всего народа против привилегированных классов старого режима. Когда победа революции вырождается в господство буржуазии, в развитии национального языка выступают противоречия, характерные для буржуазного общества. Как и свобода, равенство и братство, декларированные французской революцией, всеобщность национального языка остается только формальным принципом. Несмотря на относительную демократизацию культуры и просвещения в XIX в., крестьянские говоры во Франции и в других буржуазных странах сохраняют диалектологическую раздробленность, как признак социального неравенства и классового характера буржуазной национальной культуры.

В Англии развитие национального языка осложняется борьбой с французским, как языком феодальной аристократии. Образование письменной нормы национального языка относится и здесь в основном к XIV—XV вв.: в XIV в. эта норма впервые слагается на основе лондонского диалекта, в XV в. она постепенно вытесняет другие формы письменного языка. Лондон в XIV веке насчитывает уже около 35 000 жителей (1377 г.).[24] Непрерывно растущее население этого крупнейшего хозяйственно-политического центра носит смешанный характер, и черты диалектологического смешения заметны и в лондонском языке, в котором сперва преобладают элементы южных, потом — восточных говоров, в соответствии с направлением торговых связей, пока еще недостаточно изученным.[25] Растущий политический и культурный авторитет английского бюргерства ведет в XIV в. к созданию художественной

литературы на английском языке. Нормированию литературного языка способствует авторитет Чосера (1340—1400), величайшего поэта средневековой Англии. Как показывают современные исследования, Чосер не является создателем того языка, на котором написаны его произведения: как лондонский горожанин, он пользуется диалектом своего родного города и той социальной среды, в которой он воспитался, что обнаруживается при сравнении его сочинений с деловыми документами, напр., петицией лондонских купцов (1386).[26]

Из других поэтов XIV в. Гоуер пишет сперва по-французски, потом по-латыни, а в конце жизни, по примеру Чосера, переходит на английский язык: Гоуер — уроженец Кента и происходит из поместного дворянства, но он живет в Лондоне, как Чосер, пользуется покровительством двора и пишет на том же диалекте, который уже становится литературной нормой.[27] Напротив, такой демократический писатель, как Лэнглэнд, автор дидактической поэмы „Видение Петра Пахаря“, обличающей злоупотребления господствующих классов феодального общества, сохраняет особенности своего западного диалекта.[28] Английским языком пользуется и Джон Уиклиф (1320—1385), идеолог бюргерской реформации, в своих проповедях, моральных трактатах и переводе библии, и вслед за ним его многочисленные последователи среди низшего духовенства: Уиклиф, по происхождению — северянин, но, живя в течение долгого времени в Оксфорде, главном центре его реформаторской деятельности, он пишет на оксфордском диалекте, во многих отношениях близком лондонскому, хотя и с некоторыми местными особенностями.[29]

На протяжении XV в. различия в письменном языке постепенно сглаживаются. С развитием книгопечатания лондонская норма письменного языка,

закрепленная многочисленными изданиями первопечатника Какстона (Caxton, 1422-1499), получает всеобщее распространение.[30] Экономический и политический подъем Англии в XVI в., расцвет национальной литературы в эпоху Шекспира окончательно закрепляет новую форму национального языка. Свидетельства теоретиков, относящиеся к этому времени, говорят и о наличности произносительной нормы: Путтенгам (1580) рекомендует в качестве таковой „язык двора, Лондона и соседних округов в пределах не свыше десяти миль от Лондона".[31] Однако в то же время он вынужден признать, что „во всех частях Англии встречаются люди благородного происхождения, которые говорят и, в особенности, пишут не хуже нас, уроженцев Мидльсекса или Сэррей".[31a]

Представители английской аристократии начинают заботиться о чистоте произношения: сын Томаса Кромвеля, министра Генриха VIII, по словам его воспитателя, „каждый день читает по-английски и учится правильному произношению на этом языке"; в трактате Томаса Элиота о воспитании дворянина („The Governor") высказывается пожелание, чтобы молодые аристократы с детства слышали вокруг себя английский язык „только чистый, воспитанный, в отчетливом и правильном произношении".[32] Тем не менее проф. Уайльд указывает, что языковая норма в эпоху Елизаветы была гораздо более зыбкой и свободной, чем в позднейшее время, и допускала местные оттенки: известно, напр., что фаворит Елизаветы, Вальтер Ралей, говорил с провинциальным девонширским акцентом.[33] По мнению Путтенгама, северяне, „даже аристократы, дворяне и лучшие из их служащих" („noblemen or gentlemen or their best clarkes") говорят на языке менее благородном и правильном, чем принято на юге.[34] В Шотландии, сохранившей

политическую самостоятельность до конца XVI в., на протяжении всего этого времени существует свой литературный язык, постепенно оттесняемый общеанглийским: на этом языке пишет, напр., реформатор Нокс, им пользуются Мария Стюарт и Яков VI.[35] Потеря политической самостоятельности низводит его на положение диалекта, однако еще в конце XVIII в., по свидетельству романов Вальтера Скотта, он прочно держится в интимном обиходе шотландских помещиков и горожан, а в творчестве поэта-крестьянина Роберта Бёрнса (1759—96) создает первый образец литературы на диалекте, примыкающей к фольклорной песенной традиции. В остальной Англии диалекты сохраняются, как везде в капиталистическом обществе, в форме крестьянских и мещанских говоров, медленно отступающих под натиском национального языка.

Позже других западноевропейских стран на тот же путь вступает Германия, отставшая в своем экономическом и политическом развитии от западных соседей. В XIV—XV вв. здесь наблюдаются только первые признаки унификации письменного языка, благодаря усилиям канцелярий и деятельности печатников, причем за господство борются несколько конкурирующих языковых норм. Мощный толчок этому движению дает в первой половине XVI в. эпоха Реформации с ее социальными бурями — национализация просвещения под знаком бюргерской лютеранской реформы и авторитетные образцы клерикально-просветительной литературы на немецком языке (сочинения Лютера, в особенности — его немецкая библия). Однако, подобно Италии, Германия XVI в. не завершила национального объединения; перенесение торговых путей в Атлантический океан приводит и здесь с конца XVI в. к экономическому застою и феодальной реакции. Наличие феодальной раздробленности отра-

жается на раздробленности языковой, сохраняющейся в течение продолжительного времени, как в Италии, на всех ступенях социальной лестницы, несмотря на относительную (хотя до XVIII в. тоже не полную) унификацию письменной формы национального языка. [36]

В общем мы наблюдаем в западной Европе два основных типа развития национального языка в связи с общими условиями экономического и политического развития национальных государств в эпоху подымающегося капитализма. Один тип представлен во Франции и в Англии: раннее и прочное государственно-политическое объединение, связанное с ликвидацией феодальной раздробленности, приводит к ранней и последовательной унификации национального языка, с одной стороны — как языка письменного, литературного, с другой стороны — как разговорного языка господствующих классов, на прочной основе диалекта столицы, Парижа или Лондона, „двора и города", в соответствующей грамматической регламентации.

Другой тип представляют Германия и Италия, страны в XVI—XVIII вв. отстающие в своем экономическом и политическом развитии, не имеющие единого государственного центра и сохраняющие феодальную раздробленность средневековья, по крайней мере — до эпохи французской революции и наполеоновских войн, а в сущности — до национального объединения во второй половине XIX в. Обе страны, достигнув относительного единства письменного языка (Италия — уже в XIV—XVI вв., Германия — только в XVI—XVII вв.), сохраняют еще в начале XIX в. (особенно Италия) значительную раздробленность в разговорном языке господствующих классов, следы которой не исчезли и после национального объединения, вплоть до наших дней. С тем же явлением связана чрезвычайная территориальная раздробленность кре-

стьянских (и мещанских) диалектов, в основном совпадающих с границами средневековых феодальных территорий, и количественно значительные расхождения между этими диалектами, затрудняющие взаимное понимание между соседними районами. Напротив, развитие французских диалектов, по крайней мере с XVI в., находится под сильнейшим влиянием „иррадиации“ господствующего языкового центра — Парижа, который излучает новые языковые формы по путям торговых сношений и оттесняет пережитки архаических, местных форм в более отдаленные, хозяйственно отсталые или обособленные в политическом и культурном отношении районы.[37] Мейе сообщает об этом следующее: „В районе, радиус которого в различных случаях колеблется от 200 до 400 и даже 500 километров от Парижа, местные говоры исчезают. Там, где прежде были северно-французские диалекты, французский словарь вытесняет местный, французские формы слов в ряде систематических подстановок сменяют диалектологические, наконец, позже всего — французские грамматические формы заменяют локальные... Таким образом, французский язык, более или менее близкий к нормальному, заменяет местные говоры, на севере — почти повсюду, но часто и в других местах. Ученые, которые пытаются изучать диалекты на территории северной Франции, находят только следы их существования; в городах даже незначительных, как напр. Ремирмон (в Вогезах), местный говор существует только в воспоминании. В простых деревнях диалект быстро вымирает. Уже близко то время, когда во всей северной Франции до Бордо, центрального горного массива и Лиона будет существовать только общий французский язык в более или менее правильной форме (plus ou moins correctement parlé)“.[38] В другом месте он дополняет: „Говоры центральной Франции производят на нас впечатление скорее

„испорченного“ французского языка (français „écorché“), чем настоящих диалектов, так что трудно бывает в точности сказать, что перед нами — французский язык или местный диалект. Язык деревенских жителей почти всюду является компромиссом между французским языком и прежним местным диалектом, который исчезает, но надолго оставляет след в произношении и грамматике“.[39]

Аналогичные явления наблюдаются в диалектах центральной и южной Англии.

Мейе констатирует также отмеченное нами различие между французским и немецким языком в вопросе о взаимоотношении диалектов и национального языка. „Немецкий язык, хотя и имеет общую и повсюду одинаковую письменную форму, в разговоре звучит по-разному в разных частях страны. Произношение и словарь заметно различаются из провинции в провинцию, и в разговорной речи общий язык находится под сильным влиянием местных говоров. Произношение венского адвоката кажется иностранным, почти непонятным берлинскому судебному трибуналу. Литература на диалекте занимает большое место в немецком языке. Швейцарские немцы, даже наиболее культурные, хотя и пишут на общенемецком языке, в частной жизни нередко остаются верными своему говору. С этой точки зрения лица, говорящие на французском языке, существенно отличаются от говорящих по-немецки. Во французском языке, как впрочем и в других романских языках, существует только одна норма. Употребление местного говора ограничивается во Франции кругом лиц, не имеющих образования; и хотя провинциалы, в особенности южане, говорят с местным „акцентом“, они сами усматривают в этом недостаток, который стараются исправить“.[40]

Если Мейе подходит к этому различию с точки зрения разговорного языка „образованных“, т. е.

господствующего класса, то немецкий диалектолог проф. Фрингс показывает ту же противоположность на современной диалектологической карте. Во Франции, говорит Фрингс, при самом внимательном обследовании ограниченной языковой территории, лишь в редких случаях удавалось открыть „более или менее цельный остаток фундамента, восходящего к позднему средневековью“ (ein zusammenhängendes Stück eines spätmittelalterlichen Grundrisses). Напротив, на почве немецких диалектов достаточно произвести самые поверхностные раскопки, чтобы „вскрыть всю сложную и разветвленную сеть больших и малых государственных и административных границ этой эпохи от Швейцарии до Тевтобургского леса и от Трира до Лузации“. Фрингс пытается установить исторические причины этого явления. Диалектологические процессы во Франции, по его мнению, являются частью общего стремления к единому языковому стилю (Streben nach einem einheitlichen Ausdruckstil), которое является составною частью мощного социального процесса „кристаллизации“ (eines gewaltigen gesellschaftlichen Kristallisationsprozesses), протекающего во Франции в рамках государственного целого (im Rahmen des Gesamtstaates). В Германии процесс кристаллизации происходит вокруг множества самостоятельных центров, по отдельным государствам, территориям, районам: „каждая местная столица — это маленький Париж“. Французская языковая карта перестраивалась под влиянием центральной государственной власти (durch eine zentrale Staatsmacht), немецкая — децентрализованными территориальными силами (durch dezentrale Territorialgewalten). Италия, в особенности — северная, примыкает в этом отношении к Германии.[41]

Таким образом Фрингс вполне правильно улавливает историко-политические факторы различ-

ного языкового развития Франции и Германии, хотя не доходит до установления более глубоких социально-экономических причин.

Весьма поучительно развитие английского языка на колониальной территории, в особенности — в Северной Америке. По общему свидетельству американских и иностранных наблюдателей и исследователей, в Америке нет диалектов: точнее — местные различия настолько незначительны, что не превышают тех колебаний в пределах нормы, которые наблюдаются в других странах в языке господствующего класса.[42] Явление это объясняется тем, что Америка не знала феодализма и феодальной раздробленности в западноевропейском смысле и менее других буржуазных стран отягчена феодальными пережитками. В Америке, говорит Энгельс, „феодализма никогда не было и общество с самого начала создалось на буржуазном фундаменте".[43] Колонизация Америки англичанами происходит в основном в XVII — XVIII вв., т. е. в эпоху интенсивного роста буржуазных отношений, когда национальный язык уже сложился; значительная часть переселенцев является горожанами; в процессе колониального смешения на новой родине местные отличия в говоре переселенцев выравниваются под унифицирующим воздействием чтения и письма, чему способствует с конца XVIII в. национальное объединение на буржуазно-демократической основе, а во второй половине XIX в. — бурный рост промышленного капитализма. Известно, как быстро протекала в XIX в. национально-языковая ассимиляция разноязычных переселенцев, попадавших в сферу действия американской буржуазной культуры. Только немецкие крестьяне-колонисты в некоторых штатах сохраняют еще свои диалекты, испещренные многочисленными заимствованиями из общенационального и государственного языка страны.[44] Между американской

и британской формой английского языка различия в области произношения и грамматики незначительны; но самостоятельное национальное развитие Соединенных Штатов отражается в особенностях словаря — в сохранении архаических слов и значений, исчезнувших в Англии со времен колонизации, и, в особенности, в многочисленных новообразованиях, отражающих своеобразие американского быта и общественной жизни.[45] Таким образом, пример языкового развития Северной Америки опровергает наивное мнение тех буржуазных лингвистов, которые полагают, как Доза́, что в языке „заложена естественная тенденция к дифференциации, которая под влиянием территориальной экспансии порождает диалекты".[46] На самом деле, маленькая Англия, прошедшая через эпоху феодальной раздробленности, сохраняет до сих пор сложнейшую дифференциацию крестьянских диалектов, тогда как на огромных пространствах колониальной Америки, сложившейся в основном в буржуазную эпоху, английский язык не обнаруживает почти никаких местных различий.

Интересную аналогию к процессу образования национальных языков в эпоху подымающегося капитализма представляет развитие диалектологического „общего языка" в немецких поселениях старой России. Такой общий диалект возникает, например, в группе сплошных немецких поселений на р. Молочной (около г. Мелитополя). И здесь, как показали новейшие исследования, развитие общего языка на месте первоначального пестрого смешения изолированных диалектов связано с интенсивным капиталистическим развитием немецкой деревни, начиная с 60-х годов XIX в., причем в качестве общего языка распространяется баденский диалект хозяйственного и культурного центра немецкого района — Пришиба и Гоффенталя.[47] Конечно, такой

общий диалект крестьянского земледельческого района, вкрапленного в иноязычное окружение, лишен важнейшего признака национального языка — его культурной и общественной функции в сфере письменной публичной речи. Тем не менее и этот пример подтверждает, что существенной предпосылкой языкового объединения является разрушение той замкнутости и изолированности крупных и мелких территорий, которая характерна для феодального общества.

С национальными языками эпохи капитализма некоторое внешнее сходство представляют общие языки развитого рабовладельческого общества — греческая „койнэ“ в восточной половине античного мира, латынь — в западной. Подобно национальным языкам, койнэ и латынь являются языками общими, возникающими в более позднюю эпоху общественного развития на месте языковой раздробленности более ранней стадии. Социально-исторической предпосылкой развития этих общих языков является разрушение мелкого товарного производства крестьян и ремесленников, возникшего на развалинах родовой общины и служившего экономической основой классического общества в послеродовую эпоху:[48] уничтожение хозяйственной и политической замкнутости городских и сельских общин и мелких племенных государств, вместе с ростом крупного рабовладельческого хозяйства, его товаризацией и широким развитием торговых связей в пределах Средиземноморья, подготовляет военное и хозяйственно-политическое объединение древнего мира в эпоху эллинистических государств и Римской империи. При этом, по сравнению с обществом буржуазным, принципиальная разница заключается в том, что рабовладельческое общество не создает наций и национально-государственных объединений и потому не знает национальных языков, характер-

ных для общества капиталистического. В этом смысле латынь и койнэ не национальные, а скорее — интернациональные языки, объединяющие разноплеменные и разноязычные государственные образования эллинистической эпохи и Римскую империю.

Так, греческая койнэ распространена широко за пределами собственной Греции, по всему восточному побережью Средиземного моря и в примыкающих к нему странах передней Азии, притом — преимущественно в городских центрах. Это — язык торговых сношений, объединяющих восточное Средиземноморье в эллинистическую эпоху, язык правительственных актов и канцелярской переписки в эллинистических государствах, язык греческой культуры, науки и литературы, зафиксированный в канонических письменных памятниках и регламентированный грамматиками. На нем говорят не только греки, но и представители господствующих классов местного населения, особенно — городского, для которых он часто является вторым языком, рядом с соответствующим туземным; влияние местных языков, вероятно, сказывается в устной речи, в особенности среди тех слоев населения, которые остались непричастными нивеллирующему воздействию греческой образованности.

Койнэ зарождается в той части Греции, где начинается процесс торговой экспансии развитого рабовладельческого хозяйства — на основе аттического диалекта Афин, как хозяйственно-политического центра торгового и военного союза, охватившего значительную часть Греции и ее колоний. Вступая во взаимодействие с ионийскими диалектами торговых городов Малой Азии, также выработавшими общий язык, койнэ расширяет сферу своего влияния, утрачивая вместе с тем наиболее резко выраженные местные черты. Культурный авторитет Афин и канонических образцов искусства и литера-

туры эпохи афинской демократии сохраняется и после катастрофы Пелопонесской войны. Вместе с греческой торговлей и греческой культурой койнэ распространяется за пределами старой Греции, сперва — в Македонию, потом — в завоеванные и объединенные Александром Македонским страны Ближнего Востока. Новые центры мировой торговли и греческой культуры — Александрия, Антиохия, Пергам, позже — Константинополь, оттесняют заглохшие Афины и старые греческие города: в этих условиях греческая койнэ становится интернациональным языком, объединяющим разноязычные и разноплеменные государства эллинистического мира, живущие общей хозяйственной жизнью. Поверхностный характер происходящей при этом эллинизации Ближнего Востока подтверждается последующим вытеснением греческого языка на территории Восточной римской империи, вместе с упадком тех торговых городов, которые служили главными рассадниками эллинизма.[49]

В хозяйственно-политическом и культурном объединении западной части Средиземного моря в эпоху Римской империи такую же роль играет латинский язык. По своему происхождению латынь—язык древнего Рима, центральной общины Лациума, возглавлявшей хозяйственное и политическое объединение разноплеменной и разноязычной Италии. Как указывает И. М. Троцкий, [50] „по мере роста Рима и втягивания разноязычных племен, населявших Италию, в систему римского рабовладельческого хозяйства, латинский язык вытеснял прочие языки Лациума, а затем и других областей Италии. Многоязычие эпохи родового быта уступало место преобладанию языка господствующего рабовладельческого класса, официального языка римского государства, который одновременно становился языком товарооборота всего западного Средиземноморья. Развитие круп-

ного латифундиарного хозяйства сопровождалось обезземелением и распылением итальянского крестьянства и наплывом разноплеменной массы рабов и уничтожало таким образом базу для сохранения местных языков. Экспансия Рима за пределы Италии, завершившаяся образованием огромной империи, привела к распространению латинского языка во всех западных провинциях".

Латинский язык эпохи Империи так же интернационален, как и права римского гражданства. Он служит языком правительственных актов и учреждений, разговорным и письменным языком господствующих классов, рабовладельческой знати и торговой буржуазии, римских военных и чиновников, языком торговли и культуры, в частности — литературы художественной, политической и научной, построенной по греческим образцам. Но, благодаря особенностям римской военно-земледельческой и торговой колонизации, он глубже, чем греческий, проникает в завоеванные провинции, вытесняя местные языки покоренных народов или вступая с ними в сложное взаимодействие. В результате, когда в эпоху великого переселения народов крушение рабовладельческого общества сметает его социальную верхушку, под письменной нормой классической латыни обнажается многообразие местных диалектов латыни народной, из которых впоследствии складываются феодальные говоры средневекового романского мира и на их основе — романские национальные языки. [51]

Особые условия развития национальных языков сложились у тех народов, которые в эпоху феодализма утратили свою политическую самостоятельность и на первом этапе образования национальных государств поглощены были более мощными политическими образованиями национального или межнационального характера. На западе Европы это явле-

ние встречается скорее как исключение (напр., Ирландия, Каталония и немн. др.); на востоке в XIXв. такими государствами являются три полуфеодальные империи — Россия, Австро-Венгрия и Турция.

„В то время как на Западе, — пишет по этому поводу И. В. Сталин, — нации развились в государства, на Востоке сложились многонациональные государства, государства, состоящие из нескольких национальностей. Таковы Австро-Венгрия, Россия. В Австрии наиболее развитыми в политическом отношении оказались немцы — они и взяли на себя дело объединения австрийских национальностей в государство. В Венгрии наиболее приспособленными к государственной организованности оказались мадьяры — ядро венгерских национальностей, они же объединители Венгрии. В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию". „Этот своеобразный способ образования государств мог иметь место лишь в условиях неликвидированного еще феодализма, в условиях слабо развитого капитализма, когда оттертые на задний план национальности не успели еще консолидироваться экономически в целостные нации".[52]

Пробуждение к национальной жизни народов восточной Европы, утративших политическую самостоятельность и не успевших сложиться в независимые национальные государства, наблюдается почти повсеместно с конца XVIII и начала XIX вв. под влиянием развития капиталистических отношений. XIX век — эпоха национальных „возрождений" и буржуазно-национальных освободительных движений. В условиях борьбы за национальное освобождение и государственное объединение складываются в нации чехи, поляки, эсты, финны, латыши, литовцы, украинцы, армяне, грузины и другие народы, частью

никогда не пользовавшиеся государственной самостоятельностью, частью — утратившие ее на разных ступенях исторического развития, частью — поглощенные одним более мощным государственным образованием, частью — разделенные между несколькими соседями.

„Борьба, — пишет И. В. Сталин, — началась и разгорелась, собственно, не между нациями в целом, а между господствующими классами командующих и оттесненных наций. Борьбу ведут обыкновенно или городская мелкая буржуазия угнетенной нации против крупной буржуазии командующей нации (чехи и немцы), или сельская буржуазия угнетенной нации против помещиков господствующей нации (украинцы в Польше), или вся „национальная“ буржуазия угнетенных наций против правящего дворянства командующей нации (Польша, Литва, Украина в России). Буржуазия — главное действующее лицо“. „Сила национального движения определяется степенью участия в нем широких слоев нации, пролетариата и крестьянства“.[53]

Экономической основой буржуазно-национального движения является борьба буржуазии угнетенной нации за консолидацию „своего“ национального рынка. Хозяйственная конкуренция осложняется борьбой политической — за политическое „равноправие“ и овладение государственным аппаратом, в конечном счете, в условиях буржуазного развития, — за полную национально-государственную самостоятельность. Важнейшим орудием политической борьбы является развитие собственной национальной культуры и прежде всего — своего национального языка, как средства национального объединения и воспитания широких народных масс в духе буржуазно-националистической идеологии.

Образование и развитие национальных языков в условиях национально-политической борьбы про-

текает в специфической обстановке, выдвигающей свои особые проблемы. Там, где национальное и, в частности, литературное развитие было прервано иностранным завоеванием, утвердившим на время за языком победителей монопольное господство в государственной и культурной жизни, национальное освободительное движение возвращается к памятникам старинной письменности, ища опоры в прошлом для национального строительства вообще и языкового в частности. Так во главе чешского национального движения первой половины XIX в. стояли филологи-романтики, лингвисты, литературоведы, историки и фольклористы, обращенные к национальной старине, к языку и культуре старой Чехии и легендарного „славянства". Они собирали памятники литературной старины, издавали и комментировали исторические источники, записывали народные песни; возрождению национальной культуры и распространению национального языка должно было служить любовное изучение национального прошлого, собственное творчество на национально-исторические темы и даже патриотические подделки национальных древностей (вроде „Краледворской рукописи"). [54]

„Исторические исследования,— говорит Энгельс,— охватывающие политическое, литературное и лингвистическое развитие славянской расы, сделали в Австрии гигантские успехи. *Шафарик, Копитар* и *Миклошич* как лингвисты, *Палацкий* как историк стали во главе движения, сопровождаемые толпой менее даровитых или вовсе лишенных дарований ученых, как *Ганка, Гай* и т. д. Славные эпохи чешской и сербской истории рисовались в пламенных красках в противовес униженному и жалкому настоящему этих национальностей; и подобно тому как в остальной части Германии под покровом „философии" подвергались критике политика и теоло-

гия, в Австрии, на глазах у Меттерниха, филология была использована панславистами для проповеди учения о славянском единстве и создании политической партии, очевидной целью которой было изменение положения всех национальностей в Австрии и превращение ее в великую славянскую империю". [55]

В некоторых случаях такой ретроспективный национализм господствующего класса может привести к разрыву между архаической формой литературного языка и народными говорами, результатом чего будет новая борьба идеологов мелкой буржуазии за демократизацию письменной речи и приближение ее к разговорной: такое положение наблюдается, напр., в новогреческом языке, продолжающем традицию старой греческой койнэ. [56]

У народов культурно-отсталых „национальное возрождение" застает родной язык на положении разрозненной группы диалектов, не имеющих письменности и литературы: в условиях капиталистического развития происходит запоздалый процесс языкового объединения, борьбы между диалектами и выработки общего письменного языка, его орфографической и грамматической нормализации, его литературной обработки (напр., у сербов и хорватов). [57] Отсутствующую письменную литературу в таких случаях нередко заменяет фольклор, письменная фиксация которого становится исходной точкой для развития нового литературного языка (у сербов — эпические песни, записанные Вуком Караджичем, 1814 г., у финнов — „Калевала" Ленрота, 1835—1849). Существенные трудности для запоздалого национального развития представляет создание научной терминологии на национальном языке. При этом национальное словотворчество обычно сопровождается националистической „чисткой" языка в духе буржуазного пуризма — изгнанием иностранных заимствований и

интернациональных культурных слов, в особенности таких, которые проникли из языка господствующей нации (у чехов и эстонцев — немецких, у финнов — шведских, у греков и балканских славян — турецких и т. д.). Напротив, охотно допускается и даже рекомендуется буржуазными националистами обогащение языка за счет родственных языков „братских" народов (если эти последние не являлись в то же время угнетателями — как русские и поляки для украинцев): в таких случаях языковый „панславизм", „пантюркизм" и т. д. обусловлен ориентацией буржуазии угнетенной национальности на более или менее активную культурную и политическую поддержку иностранного государства.[58]

Эти проблемы строительства национального языка развертываются в условиях национального гнета и борьбы за национальное освобождение, в которой вопрос о языке занимает особо важное место. Буржуазия угнетенной нации добивается права печатать книги на родном языке. Издаются памятники национальной литературы, истории, фольклора массовая просветительная и агитационная литература, газеты; организуются национальные литературные, научные и просветительные общества, языковые академии. Ведется борьба за преподавание национального языка, потом — за преподавание на национальном языке в школах разного типа, которые сперва организуются на частные средства национальной буржуазии, потом включаются в систему государственного народного образования. Выдвигается требование равноправия национального и государственного языка в местном самоуправлении и в парламенте, в администрации, суде, хозяйственных учреждениях. Развитие национального языка находится в теснейшем взаимодействии с развитием национального движения, поскольку завоевание национальным языком новых областей общественной и государственной

жизни означает вместе с тем дальнейшее развитие самого языка: с этой точки зрения вытеснение языка государственного языками национальных меньшинств представляет некоторое внешнее сходство с вытеснением латыни национальными языками на заре капиталистического общества.

Эпоха социалистического строительства впервые создала условия для мирного сотрудничества народов, творящих новую культуру. Октябрьская революция, разрушив основы капиталистического строя на территории бывшего русского государства, вместе с классовым неравенством и эксплоатацией уничтожила и национальный гнет.

„...Период диктатуры пролетариата и строительства социализма в СССР есть период расцвета национальных культур, социалистических по содержанию и национальных по форме",— говорит т. Сталин; „...только при условии развития национальных культур можно будет приобщить по-настоящему отсталые национальности к делу социалистического строительства".[59]

Поэтому проблема развития национальных языков является особенно важной и ответственной на данном этапе развития социалистической культуры. Среди многочисленных народов Союза некоторые еще недавно жили в условиях родового или феодального строя. На наших глазах возникают новые национальные языки из бесписьменных племенных диалектов или из поместно-территориальных говоров культурно-отсталых народов, создаются алфавит, письменность, литература, развивается научная и политическая терминология; в то же время национальные языки народов культурных, в прошлом утративших политическую самостоятельность, возрождаются к новой жизни и получают небывалые возможности культурного развития. При огромных успехах этой культурной работы, на отдельных

этапах языкового строительства выступают классово-враждебные политические уклоны — в сторону местного национализма или великорусского шовинизма. С этой точки зрения внимательное и критическое изучение исторического опыта образования и развития национальных языков в эпоху капитализма, в условиях классовой и национальной борьбы, является одной из важнейших научных задач советской лингвистики, имеющих актуальное культурно-политическое значение.

## Глава четвертая

# СОЦИАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ ЭПОХИ КАПИТАЛИЗМА

Образование национального языка, как исторической категории, определяющей языковые отношения буржуазного общества, не уничтожает полностью той территориальной раздробленности, которая характеризовала развитие языка в эпоху феодализма. В этом проявляется одно из характерных противоречий капиталистической системы. Буржуазное общество, по словам Маркса, продолжает частью влачить за собой остатки тех общественных форм, „из обломков и элементов которых оно строится“.[1] Как известно, Ленин в экономике переходного периода констатировал наличность пяти хозяйственных укладов:[2] из них первые два — „патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное, крестьянское хозяйство“ и „мелкое товарное производство“ являются пережиточными (реликтовыми) и с точки зрения капиталистической системы. Мелкое крестьянское хозяйство, городское ремесло, мелкая торговля существуют в эпоху капитализма как пережитки докапиталистических отношений: „такой мелкий крестьянин, так же как и мелкий ремесленник,—

говорит по этому поводу Энгельс, — есть, следовательно, работник, тем отличающийся от современного пролетария, что он еще владеет своими средствами производства; следовательно, он является пережитком прежнего способа производства".[3] Поэтому быт и идеология этих общественных групп нередко сохраняют весьма архаические черты, как и та общественная практика, которой они обусловлены: крестьянство (в меньшей степени — городская мелкая буржуазия, „мещанство") являются по преимуществу хранителем фольклорных традиций, т. е. пережитков мышления и творчества, характерных для более или менее отдаленных стадий общественного развития.[4]

Именно крестьянство и, в меньшей степени, городское мещанство являются в современном капиталистическом обществе носителями территориально-дифференцированных диалектов эпохи феодализма. Современный крестьянин в буржуазном обществе, несмотря на юридическое раскрепощение, остается экономически прикрепленным к своему клочку земли, за пределами которого он знает только ближайшее базарное местечко. Ограниченный в своем кругозоре тем, что Маркс и Энгельс называли „идиотизмом" (т. е. прежде всего провинциализмом, замкнутостью) сельской жизни, интересами своей колокольни, он не только стоит в стороне от больших путей развития „национальной" культуры, являющейся фактически достоянием господствующего класса, но даже редко поднимается над уровнем элементарной грамотности. При таких условиях объединяющие тенденции, осуществляющиеся в языке господствующих классов и прежде всего в письменной, грамматически нормализованной форме этого языка, лишь в малой степени проникают в толщу крестьянских диалектов. Выступая принципиально с претензией быть языком общенацио-

нальным, национальный язык эпохи капитализма фактически не может осуществить этой тенденции, не имея силы преодолеть свою классовую ограниченность и оставаясь тем самым привилегией господствующего класса.

Диалектология XIX в. рассматривала современные диалекты как пережитки племенного дробления, как замкнутые ветки родословного древа языка, образовавшиеся путем распадения первоначального языкового единства. Отсюда, напр., номенклатура современных немецких диалектов: говоры франкские, алеманские, баварские и т. д. понимались первоначально как говоры древних франков, алеманнов, баварцев, — племен, возникших в процессе распада „прагерманского“ единства. Современная диалектография, опираясь на работу лингвистических атласов Германии, Франции и др., обнаружила неправильность этой концепции. Вместо незыблемых границ племенных диалектов она установила сложную сеть перекрещивающихся линий для отдельных звуковых или грамматических явлений, а часто — и для отдельных слов: эти „изоглоссы“ в ряде случаев собираются пучками, образуя пограничный пояс (Grenzgürtel), характеризующий тот или иной „языковый район“ (Sprachlandschaft).[5] Работы немецких диалектографов на ряде конкретных случаев доказали, что границы „языковых районов“ в общем совпадают с границами феодальных территорий: по утверждению проф. Ф. Вреде, „в редких случаях они древнее последних столетий средневековья“.[6] Это эмпирическое наблюдение, проверенное для Германии на многочисленных примерах, в буржуазной лингвистике Запада оставалось необъясненным. Для нас закономерность этого явления не подлежит сомнению: в территориальной раздробленности современных крестьянских диалектов мы усматриваем пережиток поместно-террито-

риальных говоров эпохи феодализма, характерный для языковых отношений реликтовых общественных групп. В свою очередь границы между поместно-территориальными говорами эпохи феодализма в основном определялись границами между средневековыми поместьями-государствами и существовавшими между ними в эпоху феодализма экономическими и политическими связями и отношениями. Это не значит, конечно, что самые диалектологические различия по своему происхождению относятся исключительно к эпохе феодализма: одни действительно возникли сравнительно поздно, в феодальную эпоху, другие восходят к племенным отношениям эпохи великого переселения народов или к еще более древним стадиям развития языка и общества, однако и те и другие, в результате длительных процессов смешения, должны были отстояться в границах средневековых территориальных объединений, перекрывших более древние общественно-территориальные группировки. Так верхненемецкий перебой согласных (II Lautverschiebung) — явление, относящееся к эпохе первоначального расселения германских племен и образования феодальных государств (V—VII вв. н. э.); однако современные границы перебоя на нижнем Рейне (в районе г. Дюссельдорфа), как показал проф. Фрингс, совпадают с границами территориальных образований XIV—XV вв., отражая борьбу между Кельном и Клеве за промежуточные мелкие феодальные территории. [7]

Если наличность языковой раздробленности в современных крестьянских диалектах и самые границы этих диалектов являются пережитком феодальной эпохи, то не следует думать, что по всем своим признакам диалекты древнее, чем национальный язык. Многие фонетические и грамматические особенности крестьянских говоров действительно

являются архаическими пережитками более ранней стадии развития языка: напр., сохранение старых долгих гласных в диалектах юго-западной Германии — вместо новых дифтонгов национального языка (zît, hûs вм. zeit, haus), или сохранение старых дифтонгов вместо новых долгих в большинстве южнонемецких диалектов (liəb, guət вм. li:p, gu:t).

Однако в других отношениях национальный язык, рано зафиксированный в письменности и связанный грамматическим каноном, оказался гораздо более консервативным, чем бесписьменные крестьянские говоры, успевшие проделать значительную эволюцию уже после фиксации нормы письменного языка. К таким относительным модернизмам немецких диалектов принадлежат, напр., делабиализация губных гласных ö, ü > e, i (be:s, velf, fiks, ti:r вм. böse, Wölfe, Füchse, Tür), многие явления редукции, напр. отпадение конечного n в заударном слоге (fli:gə, oksə вм. fliegen, Ochsen), в области грамматики — устранение чередования гласных в настоящем времени сильных глаголов (напр., du fahrst, du gebst вм. du fährst, du gibst от глаголов fahren, geben) и мн. др. Многие новообразования такого рода ограничиваются узкими рамками одного или нескольких соседних диалектов, иными словами — захватывают лишь небольшую феодальную территорию или группу таких территорий, связанных между собою в экономическом и политическом отношении. Таким образом, в эпоху разложения феодализма и начального роста капиталистических отношений одновременно с объединением языка господствующего класса продолжается углубление различий между крестьянскими говорами в старых (или новых) границах феодальных территорий, там, где эти границы сохранили еще свою экономическую и политическую значимость — прежде всего для крестьянина, прикрепленного к земле. В Гер-

мании и Италии, странах поздней феодальной раздробленности, этот процесс в основном продолжается до эпохи французской революции и наполеоновских войн.

В идеологической структуре крестьянских говоров черты архаизма выступают гораздо отчетливее — прежде всего в лексике и синтаксисе. Лексический состав языка или диалекта определяет его идеологический инвентарь. Поверхностные наблюдатели неоднократно указывали на бедность крестьянского языка по сравнению с языком национальным: Макс Мюллер, напр., ссылаясь на одного сельского пастора, исчисляет словарный запас крестьянина в среднем в 300 слов.[8] Подсчет этот носит совершенно фантастический характер: о словарном богатстве крестьянских говоров свидетельствуют обширные анкетные материалы современных немецких областных словарей; работа Каделя, посвященная профессиональной лексике рейнского винодаря (Rheinische Winzersprache), заключает более 600 слов, употребляемых крестьянином-виноделом в непосредственной связи с производственной деятельностью.[9] Если словарный запас крестьянина действительно меньше, чем словарь (в особенности — пассивный!) образованного буржуа, говорящего на национальном языке, то все же основное различие между языком господствующих классов и крестьянскими говорами не в количестве слов, а в самом характере лексики. В крестьянских говорах отсутствуют обширнейшие лексические сферы, связанные с языком науки и техники, искусства и литературы, политической и общественной жизни, в частности — интернациональные „культурные“ слова: если слова такого рода проникают в крестьянскую речь через школу, газету и книгу, в связи с перестройкой деревни в условиях развитого капитализма, то они являются в диалекте как бы заимствованиями из

национального языка, нередко сохраняя литературную форму, отличную от фонетических закономерностей данного диалекта (напр., диалектологическое ro:t — совет, но Kirchenrat — церковный совет, с сохранением литературного произношения — ra:t). С другой стороны, крестьянские диалекты гораздо богаче национального языка во всем, что связано со специфической сферой производственной деятельности крестьянина-земледельца. Напр., „образованный горожанин", говорящий на национальном языке, знает лишь общее название плуга, телеги, прялки и два-три обозначения важнейших частей (колеса, ось и т. п.); о том, что такое „дышло" плуга (нем. Grendel), „обжи" (Sterzel), „лемех" (Schar), „отвал" (Richter), „резец" (Schneid), он имеет обыкновенно очень смутное представление. Между тем анкета немецких областных диалектологических словарей, южно-гессенского и пфальцского, посвященная крестьянской „телеге и ее частям", различает 52 детали, имеющих функциональное значение и специальные названия, так что автор анкеты, взамен отсутствующих эквивалентов литературного языка, вынужден пользоваться схематическим чертежом, на котором проставлены номера при соответствующих деталях.[10] Как всякий профессиональный словарь, словарь крестьянского хозяйства обладает чрезвычайно дифференцированными обозначениями для производственного процесса во всех его существенных деталях, для орудий производства и их функционально-значимых частей, для объектов производственной деятельности и ее продуктов, их сортов и качества, наконец — для всего, что связано с общественной организацией труда, его профессионально-бытовым окружением, его идеологическим осмыслением. Из этих элементов слагается специфический для крестьянского диалекта словарь, его „идиотизмы" (т. е. местные, областные

отличия): областной словарь крестьянских говоров, строившийся до середины XIX в. преимущественно как собрание „идиотизмов“, т. е. областных слов, отступающих от стандарта литературного языка (так наз. „Idiotikon“), тем самым приобретал в основном характер „этнографического словаря“, т. е. словаря крестьянского хозяйства и хозяйственного быта (в широком смысле слова). Понятно, что именно специфическая лексика крестьянского хозяйства представляла наиболее значительные местные различия, ввиду отсутствия соответствующих лексических эквивалентов в национальном языке, могущих служить опорой унифицирующих тенденций.[11]

Семантическая структура словаря крестьянских диалектов сохраняет некоторые пережитки архаической стадии развития мышления, частично напоминающие явления, наблюдаемые в языке первобытных народов. Так, диалектологи неоднократно указывали на наличность в крестьянских говорах чрезвычайной дифференциации частных видовых понятий при отсутствии или бедности более широких и общих родовых обозначений. Напр., в немецких диалектах существуют бесчисленные названия для отдельных растений, но нет общего слова „растение“, которое обозначало бы все многообразие растительного мира: понятие „растение“, включающее дуб, тыкву, овес и т. п., является поздним продуктом рационального мышления, научного обобщения; в языковом мышлении на ранних стадиях развития существуют только дуб, тыква, овес, т. е. те виды растений, которые четко дифференцированы в социальной практике. Слово Pflanze (растение) в диалектах неупотребительно или встречается как позднее заимствование из литературного языка; его не было и в древнегерманских наречиях: оно является культурным импортом латинского происхождения (лат. planta) и обозначало первоначально

„рассадок“, „насаждение“, т. е. культурное растение (от лат. plantare „сажать“).[12] Неупотребительно в немецких крестьянских говорах и слово Fluss — „река“ (старое абстрактное образование от глагола fliessen — „течь“: „течение“, „поток“): немецкие крестьяне СССР нередко употребляют в своих говорах расширенное название местной реки в значении реки вообще (напр., die Wolga, die Metwitz, „Медведица“) или русское заимствование die Retschka („речка“): обстоятельство, свидетельствующее о том, что в эпоху первоначального поселения на новой родине (конец XVIII в.) они еще не имели употребительного общего термина для понятия „река“, а пользовались только собственными именами известных им рек. Характерно, что при опросе диалектологических объектов по анкете, заключавшей слово die Lüge („ложь“), ответ неоднократно получался в конкретной форме единичного суждения — er lügt („он лжет“): отвлеченное понятие и здесь оказалось неупотребительным. Еще менее употребительны, конечно, многочисленные абстрактные понятия национального языка, образованные с такими суффиксами, как -heit, -schaft, -tum и др., возникшие в письменной речи господствующих классов на относительно поздней стадии развития и до сих пор лишь в незначительной степени проникшие в крестьянские говоры в качестве словарных заимствований.

С другой стороны, в области сельскохозяйственного словаря крестьянские диалекты, как уже было сказано, обнаруживают архаическое богатство частных видовых названий, дифференцированных в производственной практике, в то время как национальный язык довольствуется широким общим термином; при этом специальные термины, не имеющие соответствия или не употребительные в национальном языке, показывают наибольшую территориальную

дифференциацию. Напр., в области животноводства в языке образованного представителя господствующего класса различаются: бык — корова — теленок; свинья — поросенок — (боров). В хозяйственном словаре крестьянина дифференцированы не только основные признаки пола и возраста, но также более специальные различия — между самцом-производителем и самцом кастрированным (для работы или откармливания), детенышем мужского и женского пола, подрастающим молодняком и т. д.; при этом каждая разновидность нередко обозначается самостоятельным (непроизводным) корневым словом, указывающим, что она мыслится не как разновидность более общего понятия, а как вполне самостоятельная и равноправная категория. Ср. в западно-немецких говорах — „свинья": общее название — Sau; самец-производитель — Eber, Watz, Hetsch и др. (областная дифференциация); холощеный боров — Barg; самка — Muck, Mook, Los, Moor и др. (областная дифференциация); поросенок (общее название) — Ferkel, Saile; различия по полу: Eberle — Lösle и др.; подрастающий поросенок („подсвинок"): Läufer, Springer; сосунок: Schössling и др. Для рогатого скота общее понятие отсутствует, различаются самец-производитель (бык): Stier, Farren, Hummel, Mummel, Bulle, Hagen, Hägel, Heime и др. (областная дифференциация); кастрированный самец (вол): Ochs; корова: Kuh; теленок: Kalb; различия по полу: Stierle — Kälble и др.; корова нетелившаяся („нетель"): Rind; корова первого отела („первотелок") — Kalbin и др. [12a]

По русским говорам материал до сих пор не систематизован; мы находим и здесь ряд специальных слов, отсутствующих в литературном языке: напр., селеток (однолетний жеребенок), лонщак (на втором году), нутрец (жеребец с одним яйцом), жерёба (беременная кобыла), подсвйнок, годовик (поросенок одного года), ососан, или сосунок (поросенок, кото-

рый сосет мать), киляк (кладеный боров), кормяк, кормик, житник (кормленый боров) и др. Все эти слова имеют областное распространение и конкурирующие синонимы; для „борова“, напр., находим следующие местные названия: вепрь, кабан, боров, хряк, пороз, кнорос, кнур, дюк (дик) и др.; для свиньи (самки): чушка, рюха, дюшка, цкуша, зютка и пр. [13]

Конечно, научная терминология данного сельскохозяйственного производства (напр., зоотехники) не менее богата специальными терминами; но, в соответствии с рационально-логической структурой научного языка, она будет строиться по обратному принципу, исходя из общего родового понятия, которое может быть сужено в любой степени с помощью определений, заключающих соответствующие видовые признаки: напр., свинья — Schwein, самец-производитель — männliches Zuchtschwein, кастрированный самец (кладеный боров) — verschnittenes männliches Schwein и т. д.

Эти различия в структуре понятий национального языка и крестьянских говоров, характеризующие две различных стадии в развитии языкового мышления, можно иллюстрировать на многочисленных примерах, собранных немецким диалектологом Фр. Штро. Слову „колос“ литературного немецкого языка (Ähre), в диалектах не употребительному, соответствуют в гессенских говорах — колос пшеницы (Klöppel), мятелка овса (Schnate) и др.; вместо „снопа“ (Garbe) знают только — сноп зерновых злаков (Sichling), сноп соломы (Bausch), связку льна (Bossen) и др. [14] Для периода течки у животных не существует общего названия (литерат. brünstig, Brunst), но про кобылу говорят, что она „играет“ (rossig), про корову — „ищет“ (ochsig, stierig, rinderig — областная дифференциация), про свинью — „поросует“ (rollig) и т. д.

Чрезвычайно богатую синонимику обнаруживают в крестьянских диалектах, по наблюдениям Штро,

такие слова, как напр., „ходить“ (в гессенских говорах — до 28 синонимов), „говорить“ (29), „кушать“ (20), „работать“ (11), „смеяться“ (9), „молчать“ (6) и др. [15] В диалекте различается, напр.: ходить короткими шагами — rappen, вприпрыжку — hapche, шатаясь — schranken, покачиваясь — schwupche, медленно — rampen, тяжело — tapche, волоча ноги — schlupche, хромая — schnappe и мн. др. [16]

Дифференциация подобного рода характерна для ранних стадий развития языка и мышления: общее понятие „ходить“ (gehen) является результатом позднейшей абстракции развитого мышления, способного отвлечься от конкретных подробностей и различий данного чувственного восприятия. Такая дифференцированная синонимика примитивных языков приводит на более поздних стадиях лексического обобщения к так наз. „суплетивным образованиям“, в которых одно понятие выражается словами, образованными от разных корней (напр., лат. fero — tuli — latum — ferre „носить“).

Богатая синонимика крестьянских говоров может быть связана не только с пережитками архаической дифференциации видов и разновидностей, но также с образным, эмоционально-экспрессивным характером языка. Голова, напр., называется „коробкой“ (Hirnkasten, Büchse), „черепком“ (Scherbel), „чашкой“ (Schale), „крышкой“ (Deckel), „крышей“ (Dach); о пьяном говорят, что он „отуманен“ (benebelt), „нагрузился“ или „заряжен“ (schwer beladen) и т. п.; для „женщины“ и „мужчины“ существуют десятки и даже сотни образных определений, прозвищ и кличек, улавливающих и оценивающих особенности внешности, поведения, характера и т. п. [17] Такие образные, эмоционально-экспрессивные иносказания, возникающие в замкнутой социальной среде, приближаются к типу профессиональных „жаргонов“. Вообще, образные выражения всякого рода — срав-

нения, поговорки, пословицы, характерные для наглядного мышления, являются отличительным признаком стиля старых крестьянских диалектов и придают им фольклорный характер.

В области синтаксиса диалекты обнаруживают по сравнению с национальным языком более элементарные формы логической связи мыслей. Эпоха образования национальных языков (на Западе XIV—XVI вв.) характеризуется усиленным развитием новых грамматико-синтаксических форм, выражающих более сложные и дифференцированные отношения логической мысли. Так, в немецком языке в эту эпоху грамматически оформляются новые глагольные времена. Возникает „объективное будущее" с вспомогательным глаголом werden („становиться"), тогда как в средневековом языке для выражения будущего служило настоящее время (ich gehe fort— „иду прочь", в значении „уйду") или сочетания с глаголами модальности sollen и wollen („модальное будущее", как желанное или необходимое—ich will gehen: „я хочу итти", в значении „я пойду"). Окончательно формируются „относительные времена" — предпрошедшее (Plusquamperfekt), т. е. относительное прошедшее, обозначающее действие, совершившееся раньше другого прошедшего (Als ich zu dir kam, h a t t e es schon a u f g e h ö r t zu regnen—„когда я к тебе пришел, дождь у ж е перестал") и еще более поздняя (XVI—XVII вв.) форма относительного или результативного будущего (Futurum II). Происходит усиленная дифференциация предложного склонения: большинство новых предлогов, образованных в эту эпоху из застывших адвербиальных сочетаний, выражает более сложные логические отношения цели, причины, соотносительности, обусловленности или субъективную мотивацию поступков и действий; напр., in Folge, zufolge (вследствие), wegen (по причине, ради), um—willen (ради), kraft,

dank (благодаря), anstatt (вместо), laut (согласно), trotz (несмотря), bezüglich, rücksichtlich (по отношению), anlässlich (по случаю) и мн. др. Наконец, взамен простого сочинения предложений, господствующего в средневековом языке наряду с зачаточными и неразвитыми („диффузными“) формами подчинения, развивается сложная система подчиненных придаточных предложений, относительных, уступительных, условных, причинных, целевых и др., выражающих самые разнообразные логические связи и отношения с помощью дифференцированной системы в значительной степени новых подчинительных союзов. Ведущая роль в развитии этих новых средств „логического синтаксиса“ принадлежит языку книжному, литературному; но в то же время осложняется и перестраивается и устная форма национального языка, в особенности — устная публичная речь, в значительной степени и разговорный язык господствующего класса. [18]

Крестьянские диалекты во многих отношениях сохраняют архаический синтаксис эпохи, предшествующей образованию национального языка. В немецких диалектах сложная форма объективного будущего с werden почти не встречается или имеет модальный оттенок (er wird wohl kommen — он, вероятно, придет); как и в средневековом языке, настоящее время заменяет объективное будущее, а глаголы модальности (wollen, sollen) выражают будущее субъективное, как необходимое или желанное. Из относительных времен предпрошедшее мало употребительно, будущее относительное не употребляется вовсе. Предложное склонение ограничивается старыми локальными предлогами: новые предлоги с отвлеченным логическим значением почти не встречаются. [19] Особенно характерно слабое развитие системы подчинения: из новых подчинительных союзов отсутствуют, напр.: условные falls (в случае

если), insofern, soweit (поскольку); уступительные obgleich, obwohl, obschon (хотя), trotzdem dass (несмотря на то, что); целевые um zu, damit (чтобы); следственные so dass (так что); временные während, indem (в то время как), so oft als (всякий раз когда), sobald als (как только) и мн. др. [20]

Во многих случаях логические отношения между предложениями остаются невыраженными, и наблюдается простое сопоставление предложений там, где мы ожидали бы встретить логическое и грамматическое подчинение; напр.: Das neue Haus || drüben am Berge || du weisst schon || es ist ein hübscher Turm drauf || das hat mein Bruder gekauft („Новый дом || на той горе || ты его знаешь || на нем красивая башня || его купил мой брат") и т. п. [21] Из немногочисленных простейших подчинительных союзов некоторые чрезвычайно мало дифференцированы и приобретают, благодаря этому, диффузный характер; напр., dass (что, чтобы—в предложениях цели), wie (как, когда, чем—при сравнении), в особенности — wo (где), которое употребляется во многих немецких говорах в качестве всеобщего относительного союза. Ср. das Kind, wo... (ребенок, который...); die Tante, wo wir morgen hinreisen (тетка, к которой...); der Mann, wo ich gestern gesehen habe (человек, которого...); der Baum, wo ich dir gestern davon erzählt habe (дерево, о котором...) и др.; в подчиненных предложениях другого типа: Wo er mich sah, da lief er fort (когда он меня увидел...); wo nicht hören will, muss fühlen (кто не слушает...); er darf spazieren gehen, wo ich daheim bleiben muss (...в то время как я сижу дома) и т. д. [22]

Аналогичные явления наблюдаются и в других языках. Как констатировал Фосслер, из нескольких десятков подчинительных союзов классической латыни на ранней стадии старофранцузского языка осталось два или три, причем que, в котором сов-

пало несколько латинских союзов (quod, quia, quam и др.), выступает в роли всеобщего подчинительного союза с диффузным значением.[23] В эпоху образования французского национального языка (XIV—XVI вв.) происходит образование и развитие системы сложного подчинения и возникает большое число весьма дифференцированных подчинительных союзов, частично — книжного происхождения (après que, depuis que, lorsque, puisque и т. д.).[24] В диалектах, однако, сохраняются архаические диффузные формы подчинения с que, вполне совпадающие с немецкими: le coli que tu me parlais... (... о котором ты говорил), le photo que je suis seul... (... на котором я один), la dame que nous avons été hier ensemble (...с которой мы были вместе) и др.[25] В русском просторечии в подобных случаях употребляется диффузное „что": „человек, что приходил вчера", „парни, что ходили в город" и др.

Понятно, что социальные говоры крестьянства в эпоху капитализма нельзя рассматривать как недифференцированное единство с исключительно архаическими, пережиточными чертами. В условиях капиталистического развития происходит классовая дифференциация деревни, втянутой более или менее активно в экономическую и социальную жизнь капиталистического общества: как промежуточный класс, крестьянство, в процессе развития буржуазного общества, размалывается и поглощается основными классами-антагонистами эпохи капитализма— буржуазией и пролетариатом, выделяя, с одной стороны — немногочисленную, но влиятельную в условиях капитализма крестьянскую буржуазию, с другой стороны—гораздо более многочисленную группу малоземельных и безземельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Эти процессы классового расслоения деревни отражаются и на развитии языка. Крестьянская буржуазия тянется за городом, подра-

жает городской мелкой буржуазии, „мещанству“ в быте и в моде, воспринимает его идеологию и язык; при капитализме зажиточная прослойка деревни приобщается в большей мере, чем остальное крестьянство, к образованию и культуре господствующих классов и становится проводником языковых влияний национальной нормы на местные диалекты, поддерживая это влияние своим социальным авторитетом господствующей группы деревенского населения. Так возникают мещанские говоры деревни (Halbmundart), занимающие переходное место между диалектом и разговорным языком господствующего класса.[25a] С другой стороны, пролетарские и полупролетарские элементы деревни уходят на отхожие промыслы, на сезонные сельскохозяйственные работы, попадают в город, более близкий или отдаленный, пополняя ряды фабричного или ремесленного пролетариата и обычно на первое время не порывая связи с деревней. По возвращении на родину эти вырванные из неподвижности и замкнутости сельской жизни социальные группы также революционизуют местный крестьянский диалект, внося в него элементы социальных говоров, с которыми они вступали в соприкосновение за пределами своей родины. Таким образом разложение крестьянских диалектов происходит одновременно с двух концов; наибольший консерватизм в языковом отношении проявляют середняцкие элементы деревни в районах отдаленных и, по преимуществу, земледельческих, в которых, по крайней мере — до войны и кризиса еще сохранялось более или менее крепкое середняцкое хозяйство. Кроме того, как уже было сказано, национальный язык проникает в современную деревню через школу, церковь и печать, воинскую службу, административные и общественные учреждения, находящиеся в распоряжении и под контролем господствующих классов. Поэтому можно сказать, что

в условиях капиталистического развития идеальный архаический крестьянин как носитель „чистого“, „подлинного“, „неиспорченного“ диалекта („unverfälschte Mundart“) разоблачается как своего рода лингвистический Робинзон, созданный миражами романтического народничества. Крестьянский диалект в развитом капиталистическом обществе теряет свою территориальную замкнутость и социальную обособленность: в эпоху развитого капитализма и империализма национальный язык ведет с разных сторон развернутое наступление на социальные диалекты подчиненных общественных групп, поддержанное школой, церковью, печатью, авторитетом политической и культурной гегемонии господствующих классов. Однако, в рамках классового капиталистического общества процесс этот остается незавершенным, подобно тому как мелкое крестьянское хозяйство и мелкое ремесленное производство, подавляемые и вытесняемые крупным капиталистическим производством, сохраняют силу для сопротивления за счет снижения материального уровня трудящихся собственников. Только в обществе социалистическом уничтожение различия между городом и деревней на основе коллективизации и индустриализации сельского хозяйства впервые создает необходимую социальную предпосылку для отмирания крестьянских диалектов и подлинной всеобщности национального языка, как национальной формы новой социалистической культуры.

Переходное положение между крестьянскими диалектами и разговорным языком господствующего класса занимают мещанские говоры, т. е. диалекты городской мелкой буржуазии (ремесленников, мелких торговцев, примыкающих к ним мелких служащих и др.). Мелкая буржуазия, как и крестьянство, сохраняет в условиях капитализма пережиточный уклад, опирающийся на мелкое товарное производ-

ство. Разобщенность мелких производителей способствует сохранению территориальной раздробленности мещанских говоров. Однако по сравнению с крестьянством городская мелкая буржуазия втянута более непосредственно в процесс капиталистического развития; сосредоточенная в крупных и мелких городах, она живет в непосредственном общении с господствующими классами городского общества и имеет, хотя и скудную, но все же более значительную долю в образовании и культуре, составляющих привилегию этих классов. В основном мещанские говоры (в немецкой терминологии—Halbmundart: „полудиалект“) утратили более резкие и заметные особенности местных крестьянских говоров, присутствие которых могло бы служить существенным препятствием для языкового общения, но в то же время сохранили менее резкие местные диалектологические черты: иными словами, мещанские говоры теряют „первичные“ диалектологические признаки, но сохраняют „вторичные“.[26]

Этот процесс характеризует немецкий диалектолог Карл Гааг (K. Haag) на примере языка штутгартского среднего чиновничества (так наз. „Honoratiorenschwäbisch“) по сравнению с местным швабским диалектом. „Такой чиновник,—пишет Гааг,[27]—довольствуется тем, что отбрасывает швабские дифтонги в таких словах, как graos, nao$^{n}$, hao$^{n}$, mae, заменяя их через gro:s (gross), no:$^{n}$ (nun), ha$^{n}$n (haben) me: (mehr); может быть он постарается также согласовать с написанием такие дифтонги, как, напр., vɔes, oe$^{n}$nər, khoe$^{n}$, fərdɔelə или vεəg, veə$^{n}$n, neə$^{n}$mə, fərlεəbt, dεər, заменив их через vaes (weiss), ae$^{n}$nər (einer), fərdaelə (vεrteilen)—vε:g (Weg), ve:$^{n}$n (werden), ne:$^{n}$mə (nehmen), fərlε:bt (verlebt), dε:r (der). По отношению к прочим гласным он отойдет от диалекта только в отдельных словах, слишком резко отклоняющихся от написания, напр.,

вместо fəršto:d, lɔ:d, do:$^{n}$mə, vu:rd употребит fəršte:d (versteht), lest (lässt), dao$^{n}$mə (Daumen), vird (wird); вместо a:$^{n}$, fo:$^{n}$ — a$^{n}$n (an), fo$^{n}$n (von)... и т. д. В остальном он сохраняет старое произношение, если не хочет показаться жеманным...“ Так, сохраняются такие „вторичные“ признаки швабского диалекта, как потеря звонкости взрывными b, d, g, делабиализация ö, ü>e, i, отпадение неударного e на конце слова и -n в неударном окончании -en, специфическое для швабских говоров произношение дифтонгов ei, au (<î, û) как əi, əu (напр., əis, həus вм. ais, haus) и мн. др. „При этом, — пишет Гааг, — направление, по которому происходит приспособление диалекта к письменному языку, т. е. преобразование звуков по новому образцу, определяется устранением, с одной стороны, черезчур заметных отличий (напр., в долгих гласных), с другой стороны — особенностей узко-местного характера“.

Промежуточное положение мещанских говоров обусловливает различную степень их приближения к национальной норме, связанную с большей или меньшей степенью утраты местных диалектологических особенностей. Так, в пределах мещанского просторечия г. Дармштадта диалектолог О. Рудольф намечает три ступени такого приближения, конечно, более или менее зыбкие.[28] На самой высокой ступени приближения к национальному языку сохраняется только произношение звонких d, b, g, как слабых глухих (lenes), характерное для всей средней и южной Германии; делабиализация ö, ü, eu>e, i, ai — тоже общее явление для большинства средненемецких и южнонемецких говоров; носовое произношение гласных перед m, n и вокализация -r на конце слова или слога (vinda „Winter“, fuaxt „Furcht“), являющиеся незначительным, но очень стойким сдвигом артикуляции, определяющим общую „окраску“ произношения. На средней ступени к этому

прибавляется средненемецкое бесперебойное p вместо pf (pund „Pfund“, appel „Apfel“, kopp „Kopf“); интервокальное -w- вместо -b- (напр., glauwe „glauben“, stärwe „sterben“); отпадение конечного -n с назализацией предшествующего гласного (wai$^{n}$ „Wein“, okse „Ochsen“, fahre „fahren“): все три явления имеют более или менее широкое распространение в средненемецких говорах, последнее — и в южнонемецких, но отступление от устной и, в особенности, письменной нормы здесь более значительное. Наконец, на низшей ступени выступают, как местные особенности, в территориальном отношении гораздо более ограниченные и заметно отклоняющиеся от нормы — монофтонгизация ei, ou>a: (haas „heiss“, braat „breit“ — kafe „kaufen“, glawe „glauben“); раскрытие i, u+r>e, o (foacht „Furcht“, toam „Turm“ — weät „Wirt“, feächte „fürchten“; ср. на высшей ступени — более близкие к норме fuacht, wiät); наконец — произношение a, a: как å, å: (ålt, nå:s, bå:de) и др. К сожалению, Рудольф не дает более точных указаний о социальной природе этих трех слоев. Во всяком случае, при переходном характере мещанских говоров тот же говорящий субъект, в зависимости от стиля речи и ее социальной функции, может говорить на языке более близком к национальной норме или более сильно окрашенном провинциализмами.

Положение мещанских говоров представляет в различных странах существенные местные отличия в зависимости от конкретных условий национально-исторического развития. В Германии и Италии, странах поздней ликвидации феодализма и языковой раздробленности, мещанское просторечие до сих пор сохранило заметные признаки местного диалекта как в области фонетики, так и в грамматике и словаре. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные так наз. „городским

диалектам" Германии (städtische Mundarten) и говорящие, по существу, о мещанских говорах.[29] Весьма интересной задачей было бы картографическое обследование этих городских диалектов, с целью установления границ региональных диалектологических „общих языков", играющих существенную роль в перестройке современных крестьянских говоров в условиях капиталистического развития деревни. Во Франции и в Англии местные отличия мещанских говоров гораздо менее значительны, чем в Германии, хотя и здесь они не исчезли вполне, как это констатирует, напр., Мейе: „В пределах даже центральной Франции французский язык меняется от города к городу. На юге он обнаруживает неожиданные черты, заметные неправильности; однако, если разговорный язык мелкой буржуазии (petite bourgeoisie) Марселя или Тулузы может показаться парижанину отталкивающим, все же нельзя утверждать, что это — не общий французский язык (français commun). К тому же в разговорном французском языке существует определенная норма, к которой каждый старается приблизиться".[30] Впрочем, в пределах каждого национального объединения приходится также считаться с внутренними неравномерностями развития, благодаря которым тот или иной район обнаруживает большую стойкость местного диалекта, и мещанское просторечие подымается до более высокого социального уровня. Все эти случаи требуют специального исторического и социально-лингвистического исследования.

К типу мещанских говоров относится также упомянутый выше диалект крестьянской буржуазии. Как все мещанские говоры, он имеет также переходный характер и определяется в фонетико-грамматическом отношении отпадением первичных диалектологических признаков при более или менее полном сохранении вторичных.

Интересный пример развития весьма дифференцированных диалектологических различий на основе говоров мелкой буржуазии представляет новоеврейский язык („идиш") в Польше, Литве, Украине и Белоруссии. Специфичность исторической судьбы языка идиш определилась положением евреев в славянских землях, как своего рода колонистов, принадлежавших преимущественно к мелкой буржуазии (мелкие торговцы и ремесленники), среди иноязычного, по преимуществу аграрного населения. Еврейско-немецкие мещанские диалекты, усвоенные евреями на их более ранней родине в Германии, развивались на территории старой Польши без обычной для мещанских говоров базы крестьянских диалектов. При этом господство клерикальной письменности на „священном" древнееврейском языке (до начала XIX в.) и усиленная языковая и культурная ассимиляция еврейской буржуазии и буржуазной интеллигенции в XIX в. замедлили нормальное развитие новоеврейского национального языка в обычных условиях капиталистического развития. Только во второй половине XIX в. окончательно формируется письменная норма современного еврейского языка. В разговорной речи до сих пор сохраняются значительные диалектологические различия, в особенности — в области вокализма, благодаря семитическому алфавиту, не обозначающему гласных. Таким образом, до конца XIX в. новоеврейский язык представляет необычную картину мещанских диалектов с значительной территориальной дифференциацией при отсутствии соответствующих крестьянских говоров и крайней шаткости объединяющей нормы письменного языка.

Самая раздробленность еврейских говоров возникла на основе сложных процессов смешения и дифференциации диалектологических признаков, вывезенных евреями из Германии. Это смешение, как

показывает „Еврейский лингвистический атлас“ Вейнгера-Виленкина,[31] происходило уже на славянской почве и в рамках экономических и политических делений старой Польши. Значительное число признаков, характеризующих современные еврейские диалекты, не встречается в диалектах немецких и возникло впервые на новой родине евреев, причем эти новые признаки также обнаруживают территориальное дробление в тех же социально-географических границах.[32] Этот своеобразный исторический опыт показывает, что в условиях мелкого товарного хозяйства с его территориальной раздробленностью мещанские диалекты, не менее, чем крестьянские, сохраняют и даже развивают местные отличия, характерные для языковых отношений феодальной эпохи.

Разговорный язык господствующих классов (в терминологии немецких лингвистов — „язык образованных“: „gebildete Umgangsprache“), по крайней мере — в таких странах, как Германия и Италия, может также представлять некоторые местные различия в произношении и словаре, конечно — еще менее значительные, чем в соответствующих мещанских говорах. И здесь приходится учитывать зависимость местной окраски от стиля речи и ее специальной функции. Кречмер, впервые поставивший вопрос об изучении „разговорного языка образованного общества“, различает три таких слоя: 1) Vortragsprache (язык устной публичной речи); 2) Verkehrsprache (обиходный язык — язык делового общения, беседы в „обществе“); 3) familiäre Sprache (язык интимного, семейного общения). Последний наиболее богат местными чертами.[33] Однако на всех ступенях языка „образованных“ гораздо отчетливее проявляется сознание нормы, ориентированной на письменную форму языка, и чувство языковой ответственности, определяемой принадлежностью

к известному социальному кругу, для которого правильность языка является классовым признаком „образования“ и „культуры“.

Таким образом, классовые диалекты эпохи капитализма образуют пирамиду, сходящуюся в унифицированной письменной норме национального языка. Основание пирамиды образуют крестьянские говоры, в которых расхождения наиболее значительны; в говорах мещанских пирамида сужается; в разговорном языке господствующего класса, более или менее унифицированном в соответствии с письменной нормой, она сходится, насколько это возможно на данной стадии развития национального языка.

Среди социальных диалектов эпохи капитализма особого внимания заслуживает язык рабочих. Уже Энгельс, наблюдая жизнь рабочего класса в Англии, констатировал, что „рабочие говорят на другом диалекте“, чем буржуазия.[34] Между тем буржуазная лингвистика Запада и старой России, по понятным причинам, совершенно игнорировала эту проблему: отсутствуют даже предварительные собрания материалов и эмпирические наблюдения описательного характера.[35] Гораздо более богатый материал по этому вопросу дает художественная литература: в сочинениях писателей реалистов и натуралистов, воспроизводящих в драме и диалогических частях романов и очерков речевую манеру своих героев-рабочих, мы находим некоторые указания, которыми можно пользоваться (конечно, с большой осторожностью) за неимением подлинных записей. Сюда относятся, напр., произведения некоторых мелкобуржуазных писателей эпохи натурализма, с вниманием и интересом воспроизводивших быт рабочего класса (напр., Зола в романе „Западня“, Гауптман — в ранних драмах); более авторитетный материал дает литературное творчество современных немецких пролетарских писателей, в большинстве случаев

вышедших из рабочей среды и знакомых с ее языковыми навыками (напр., Бредель, Мархвитца и др.).[36]

В советской лингвистике за годы революции диалектологические обследования языка рабочих производились различными научными учреждениями. Между прочим, обширные неопубликованные материалы собраны проф. Б. А. Лариным в лингвистических экспедициях Института речевой культуры в Боровичский индустриальный район, где язык рабочих старого фабрично-заводского центра развивается в специфическом окружении крестьянских говоров. Принципиальную постановку вопроса о языке пролетариата впервые дал Л. П. Якубинский в „Очерках по языку“.[37]

В сложном комплексе вопросов, связанных с языком рабочего класса, необходимо различать две основные проблемы: разговорный язык рабочих как социальный диалект в классовом капиталистическом обществе и литературный (письменный) язык пролетариата как новый этап развития национального языка. Эти проблемы следует рассматривать в их взаимообусловленности, учитывая особенности их постановки и взаимоотношения в буржуазном обществе и в эпоху диктатуры пролетариата и социалистического строительства.

Как известно, в условиях капитализма рабочий класс рекрутируется либо из пролетаризирующихся элементов крестьянства, либо из городской мелкой буржуазии, утратившей производственную самостоятельность в конкуренции с капиталистическими предприятиями. Таким образом, каждый рабочий, пришедший на фабрику, либо сам, либо через своих более близких или более отдаленных предков, является выходцем из крестьянства или мещанства. На фабрику рабочий приносит с собой речевые навыки своей прежней социальной среды: первоначально он говорит на местном крестьянском или мещанском

диалекте. В этом смысле диалект „Ткачей“ Гауптмана, в основном совпадающий с современными крестьянскими говорами Силезии, исторически правильно воспроизводит язык рабочих на заре развития капитализма, в эпоху борьбы домашней промышленности с новыми формами машинного производства. Отсюда — диалектизмы, наблюдаемые в языке русского рабочего: напр., гулят (вм. гуляют), ногам (вм. ногами), оканье и т. д. Однако пролетариат крупного индустриального центра, как показывает статистика всех промышленных стран, по своему территориальному происхождению всегда имеет смешанный характер. Благодаря этому обтачивание, выравнивание местных диалектологических особенностей, восходящих к локальной дифференциации мещанских и крестьянских говоров, в языке рабочего происходит очень быстро, — еще быстрее, чем в пору образования национального языка в крупных городских центрах буржуазной культуры. Показательно в этом смысле, что немецкий пролетарский писатель Вилли Бредель, вышедший сам из рабочей среды и хорошо знающий ее языковые навыки, изображая берлинский пролетариат, характеризует нижненемецким мещанским диалектом наиболее отсталую группу рабочих „Фабрики N. и K.“, не порвавшую еще с полуремесленными традициями — тогда как основная масса употребляет лишь отдельные лексические берлинизмы нижненемецкого происхождения: Oller (= Alter) „старик“, „отец“, Kopp (= Kopf) „голова“, dof (= taub) „глупый“, „наивный“ и т. д.[38] Рабочие-передовики, политические активисты освобождаются от грамматических диалектизмов благодаря чтению газет, общеобразовательной и политической литературы, усваивая при этом грамматическую норму письменного национального языка. С принципиальной точки зрения пролетариат не заинтересован в со-

хранении провинциализмов территориально-раздробленных мещанских и крестьянских говоров, являющихся пережитками языковых отношений эпохи феодализма, и преодолевает эту раздробленность в своем языке. Мы говорили уже, что социализм впервые создает предпосылки для подлинной всеобщности национального языка как национальной формы социалистической культуры. Тем не менее отдельные лексические провинциализмы могут укрепиться в разговорном языке пролетариата и из него проникнуть в эпоху социалистической революции в национальный язык, способствуя переосмыслению языковых стандартов господствующего класса.

То же относится к элементам профессиональной лексики, окрашивающим разговорный язык рабочих масс. В политическом языке наших дней мы находим целый ряд слов профессионального происхождения, употребляемых в расширенном значении, которые в эпоху диктатуры пролетариата вошли в состав национального языка из языка рабочих, напр. „спайка", „увязка", „зажим", „звено" и др. Конечно, те элементы профессиональной лексики, которые носят узко-технический характер, как всякая специальная терминология, останутся и впредь достоянием более или менее ограниченного круга специалистов, объединяемых одинаковым видом производственной деятельности. Однако в условиях социалистического строительства вопросы производства перестают быть узко-техническими, специальными, профессиональными, они приобретают широко-общественный характер, затрагивая интересы всех трудящихся. Поэтому такие слова, как „трактор", „комбайн", „блюминг", „шарикоподшипник" и мн. др., теряют свой технически-профессиональный характер и занимают видное место в общенациональном языке.

Одним из лексических источников разговорного языка рабочих при капитализме является арго деклассированных. В эпоху возникновения западноевропейских арго (XIV—XVI вв.) они объединяют те многочисленные и разнообразные группы деклассированных, которые возникают в связи с разложением феодализма и служат резервной армией промышленного пролетариата. С другой стороны, на заре развития капитализма многие замкнутые полуремесленные рабочие корпорации, повидимому, имели свои профессиональные жаргоны (напр., рабочие лионских шелкопрядильных мануфактур XVIII в.).[39] В эпоху развитого капитализма, благодаря разрушению корпоративной замкнутости профессий, происходит, как будет указано ниже, широкое распространение арготизмов в городском просторечии большинства крупных индустриальных центров. В частности, проникновению арготических элементов в язык рабочих способствует, в условиях капиталистической эксплоатации, близкое бытовое соприкосновение между рабочими, в особенности — наименее сознательными и политически организованными, и деклассированными, ряды которых при кризисах, массовой безработице, локаутах и т. д. постоянно пополняются из состава пролетариата. Язык немецкого рабочего в изображении пролетарских писателей богат арготизмами. При этом наиболее стойкие из арготизмов, вошедших в язык рабочих, очень характерны в идеологическом отношении и способствуют переоценке языковыми средствами социальных ценностей, принятых господствующими классами и стандартизованных в их языке и мировоззрении. К этой категории относятся, напр., насмешливые и враждебные клички для полиции — die Polenta, die Bullen, die Schupos (сокращенное Schutz-Polizei), заменяющие нейтральное „die Polizei“ („полиция“) или мещански уважи-

тельное: „Herr Polizeioffizier“; традиционные арготические термины для денег — Kies (щебень), Moos (мох) и др. По принципу арготической переоценки языковых стандартов господствующей идеологии построены такие характерные для немецкого рабочего языка выражения, как, напр., schuften („работать“ — буквально: „возить тачку“), stempeln („отмечаться“ — т. е. сидеть без работы), die Bonzen („бонзы“ — „профсоюзная бюрократия“) и др. Такие жаргонные переосмысления должны рассматриваться как проявление классовой борьбы, которая ведется средствами языка, разоблачающими официальную фразу господствующего социального мировоззрения.

Таким образом, разговорный язык рабочих в буржуазном обществе имеет разнообразные источники, но вошедшие в его состав диалектизмы, профессионализмы или арготизмы приобретают новую идеологическую значимость и потому должны рассматриваться не столько как признаки особого социального диалекта, подобного диалектам промежуточных классов — крестьянства и мещанства, сколько как элементы речевого стиля пролетариата при капитализме.

Пролетарская революция, уничтожив эксплоататорские классы, вызвала широкую демократизацию разговорного и отчасти письменного (газетного) языка. Именно эти явления демократизации разговорного языка в большинстве случаев отмечены в исследованиях, написанных на тему „язык и революция“. Далеко не все явления в языке революционной эпохи, зарегистрированные в таких исследованиях, могут быть отнесены за счет рабочего класса, и не все они одинаково должны оцениваться как положительные. Напр., разлив арготизмов, характеризующий в особенности годы нэпа, был явлением нездоровым и вызвал соответствующую оценку со стороны советской обществен-

ности.[10] Вообще, принципиально неправильно сводить перестройку национального языка в эпоху социалистической революции к проникновению в национальный язык тех или иных „диалектизмов", свойственных разговорному языку рабочих в эпоху капитализма. Исторические примеры буржуазных революций (английской — в XVII в., французской — в XVIII в.) с несомненностью показывают, что даже в классовом обществе гегемония нового общественного класса, захватившего власть в революционной борьбе, означает не столько замену одного социального диалекта другим, имеющим отличную от первого грамматическую структуру, сколько идеологическую перестройку языка, переоценку языковых стандартов, изменения речевого стиля, подготовленные борьбою классовых мировоззрений. Правда, французская революция узаконила новое произношение дифтонга oi[ua] вм. [ue], в соответствии с „вульгарным" произношением широких масс парижской буржуазии;[40] однако это единичное грамматическое явление отступает на задний план по сравнению с теми сдвигами в области языковой идеологии, которые констатирует П. Лафарг на материале новой лексики.[41] Точно так же в результате социальных сдвигов, вызванных Октябрьской революцией, могли бы быть при известных условиях узаконены в русском языке такие „демократические" формы, как, напр., „пекешь", „сапогов", „яблоков" и т. д. Однако такая „демократизация" грамматики не имела бы никакого принципиального значения, поскольку грамматические диалектизмы такого рода не представляют ничего специфического для языка пролетариата, и их распространение не означает качественного изменения языковой идеологии.

„Пролетариат,—говорит Якубинский,—овладевает нормами национального языка, как класс гегемон

революции, в руководстве политической жизнью страны, в государственном аппарате, разнообразных формах учебы и политпросветработы, в борьбе за науку, в практике устной публичной речи, в массовом рабкоровском движении, в росте пролетарской литературы и пр.“[42] Но овладевая национальным языком как наследием буржуазного общества, пролетариат вместе с тем идеологически перерабатывает это наследие. Такая переработка, как мы видели, подготовляется уже в эпоху капитализма как новый речевой стиль, но в первую очередь — в области публичной речи, политической, философской, литературной, наиболее полным образом выражающей новую социалистическую идеологию. Слова Ленина о двух национальных культурах в каждой национальной культуре[43] относятся также и к национальному языку: уже при капитализме пролетариат создает свой национальный литературный язык, как и французская буржуазия XVIII в. задолго до революции имеет своих идеологов и вождей, свою литературу и вырастающую вместе с этой литературой новую форму национального языка.

Так идеологическая перестройка национального языка начинается еще в недрах капиталистического общества. После захвата власти пролетариатом этот процесс продолжается с небывалой интенсивностью. Лексика, заключающая идеологический инвентарь языка, как всегда, может служить показателем языковой стройки нашего времени. Например: совет, большевик, комсомол, ударник, ударничество, пятилетка, совхоз, колхоз, колхозник, единоличник, хозрасчет, уравниловка, обезличка, самокритика, вредительство, чистка, посевная кампания, красная доска, встречный план, ударные темпы, сквозная бригада, социалистическое строительство, стахановское движение и мн. др. Именно

эти „советизмы“, обозначающие качественно новые явления общественной жизни и мировоззрения эпохи социалистического строительства, придают нашему языку совершенно новый характер по сравнению с дореволюционной эпохой и свидетельствуют о его идеологической перестройке. Характерно, что многие новые слова и понятия, созданные социалистической революцией, получили уже теперь международную значимость: во всяком случае они существуют в различной национальной форме во всех национальных языках Союза.

Таким образом, пролетарская революция обозначает в области языкового развития не победу одного социального диалекта над другим социальным диалектом, а принципиальную идеологическую перестройку национального языка как национальной формы новой социалистической культуры.

## Глава пятая

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА, ЖАРГОНЫ, АРГО

Наряду с отмеченными выше классовыми диалектами, социальная дифференциация в языке капиталистического общества проявляется в наличности так наз. „профессиональных говоров". В сущности, термин „профессиональный говор", а тем более „профессиональный язык", принятый в буржуазной лингвистике,[1] основан на неправильном словоупотреблении: в исследованиях, посвященных „языку плотников" („Sprache des Zimmermanns"), „языку моряков" („Seemannsprache") и т. п., речь идет только о некоторой специальной сфере профессиональной лексики внутри того или иного классового диалекта. Так, нижненемецкий плотник, „язык" которого изучает Засс,[2] говорит на нижненемецком мещанском диалекте местечка Бланкенезе около Гамбурга, который в фонетическом и грамматическом отношении ничем не отличается от диалекта кожевника или мясника из того же местечка; рейнские виноградари, исследованные Каделем,[3] пользуются теми же рейнско-гессенскими крестьянскими диалектами, как и их односельчане, возделывающие, напр., фруктовые сады. Профессиональная специализация сказывается в языковом

отношении не в грамматической дифференциации, как в классовых диалектах, а в выработке специального словаря, в основном доступного лишь представителям данной профессии.

Профессиональная специализация производственной деятельности человека существует уже в доклассовом обществе: существуют племена охотников, рыболовов, скотоводов, земледельцев. Характер трудовой деятельности данного общественного объединения определяет собою направление его языкового развития: словарь как идеологический инвентарь языка отражает познание действительности общественного коллектива, более сложное и дифференцированное в специальной сфере слов-понятий, связанных с трудовой деятельностью коллектива. Птицевод, как сообщает Р. О. Шор,[4] знает двенадцать „колен" соловьиного пения: „пульканье", „клыканье", „дробь", „раскат", „пленканье", „гусачок", „юлиная стрекотня" и т. д.; коннозаводчик различает десятки оттенков лошадиного бега: „грунца", „рысца", „нарысь", „хлынца", „притруска", „грунь", „развал", „перевал", „плавь" и др. Эти пережитки в современной профессиональной лексике (как и многочисленные наблюдения этнографов над языками культурно-отсталых народов) дают нам некоторое представление о профессиональной специализации в языках первобытных народов. При этом, как уже было отмечено выше, для примитивных стадий языкового мышления характерно чрезвычайное обилие самостоятельных и точно дифференцированных видовых обозначений при отсутствии более общих родовых понятий и слов, объединяющих более широкие категории одинаковых или сходных явлений.

В эпоху развитого феодализма мы имеем уже достаточно сложную профессиональную специализацию внутри общественного коллектива, основан-

ную на разделении труда между городом и деревней, между различными отраслями городского ремесленного производства и сельскохозяйственных промыслов, в основном — в более или менее узких территориальных границах, характерных для мелкого товарного производства. С этим связано развитие дифференцированной профессиональной лексики, языков „ремесел и промыслов“, которыми пользуются только представители данной профессии. Сюда относятся названия для орудий производства, в особенности — для специальных разновидностей этих орудий и для их деталей, имеющих функциональное значение в производственном процессе, но безразличных для того, кто, по характеру своей профессиональной деятельности, не участвует в работе данной группы „специалистов“; далее — названия трудовых процессов, в особенности деталей этих процессов, существенных для того, кто занят на данном производстве, и непонятных для постороннего; технические термины, относящиеся к различным сортам сырья, его производственным качествам и т. д.; профессиональные выражения, характеризующие общественную организацию данной отрасли производства: одним словом — вся техническая и профессионально-общественная терминология, специфическая для определенной сферы трудовой деятельности человека. Характерная для феодального общества корпоративная замкнутость профессий (так наз. „цеховой строй“) способствует выработке четко дифференцированной и замкнутой профессиональной лексики. Территориальная раздробленность мелкого товарного производства придает этой профессиональной терминологии ярко выраженный местный, региональный, диалектологический характер.

С развитием национального языка происходит территориальное обобщение местных профессиональ-

ных терминов, но оно касается только наиболее общих понятий, относящихся к данной области труда: специальная производственная терминология попрежнему сохраняет профессиональный характер и, не имея общезначимых эквивалентов в национальном языке, в значительной степени сохраняет местную диалектологическую дифференциацию. Впрочем, не всякая профессиональная лексика имеет непременно региональный, диалектологический характер: такое представление обусловлено отбором материала и направлением интересов старой лингвистики. „Профессиональные языки" до сих пор занимали исключительно диалектологов и этнографов-фольклористов. Предметом их изучения являлись так наз. „ремесла и промыслы", имеющие в капиталистическом обществе по преимуществу архаический, пережиточный характер: охота, рыбная ловля, парусное судоходство, городское и сельское ремесло и т. д. [5] Профессиональная лексика в этих областях труда в основном сложилась в эпоху феодализма или раньше и, несмотря на частичные сдвиги и изменения более позднего времени, сохранила и в капиталистическую эпоху свой реликтовый, фольклорный и в то же время региональный характер. Понятно, что капиталистическое промышленное производство не пользуется этой „фольклорной" терминологией: детали машины или технического процесса имеют в профессиональной лексике эпохи капитализма общие обозначения национального или интернационального характера, стандартизованные в языке науки и техники. Иногда по своему происхождению эти обозначения восходят к старым терминам кустарного производства, обобщенным в национальном языке и перенесенным по функции на новые технические изобретения; напр., ручное в е р е т е н о > механическое в е р е т е н о. Как указывает Маркс, „в немецких сочинениях по технологии в первые

десятилетия XIX века мы встречаем слово „мельница“ (Mühle), обозначающее не только машины, приводимые в движение силами природы, но и всякую вообще мануфактуру, применяющую механические аппараты“.[6] Нередко слова такого рода являются иностранными заимствованиями и имеют такую же историю в своем национальном языке, но получили впоследствии интернациональную значимость в условиях обмена техническим опытом между передовыми промышленными странами и странами более отсталыми: напр., шпиндель — механическое веретено (нем. Spindel „веретено“). Наконец, в большинстве случаев это — интернациональные слова, образованные из латинских и греческих корней и общепринятые в международном научном языке, широкое развитие которого связано с интернациональными тенденциями в языке капиталистического общества: напр., кальцинация, карбюратор, гидроэлектрический и т. п. В процессе индустриализации ремесленного производства и вытеснения его фабричной промышленностью происходит вытеснение старой фольклорно-диалектологической лексики „ремесел и промыслов“. Об этом свидетельствует, напр., проф. Ф. Клуге, известный исследователь немецких профессиональных „языков“, с характерной для романтического народничества оценкой совершающегося в языке переворота: „С тех пор как в современном морском деле воцарились машины и железная промышленность и пароход все более вытесняет парусный корабль, становится, к сожалению, неизбежным появление словаря частично нового, пахнущего дымом и звенящего железом, который оттесняет традиционные выражения морского языка, царившие на немецких морях в течение многих столетий“.[7]

Для характеристики профессиональной лексики „ремесел и промыслов“ приведем некоторые при-

меры, собранные исследователями „профессиональных языков“. По сравнению с национальным языком прежде всего обращает на себя внимание крайняя дифференцированность специальной терминологии. Национальный язык (русский или немецкий) знает только один термин общего характера: „топор“, „рубанок“, „пила“, „молоток“. В обиходе нижненемецкого плотника из Бланкенезе, язык которого изучал Засс, употребляются 6 типов топора, 22 разновидности рубанка, 9 пил, 5 молотков. Ср. топоры: Ax, Deissel, Querax, Breitbiel, Handbiel, Stossax; рубанки: Slichthubel, Putzhubel, Schrubhubel, Simshubel, Slichtbank, Ruhbank, Plattbank, Runks, Dübel и др.[8] Соответственно этому в своей технической брошюре о „Работах плотника“ русский инженер А. Бухарин[9] различает 11 видов рубанка: рубанок, шерхебель, медведка, дорожник, шпунтубель, фуганок, зензубель, горбач, штап, гальтель, калевки (большинство названий — нижненемецкого происхождения, что указывает на направление распространения соответствующей техники). Для пиленого леса национальный язык знает только два обозначения: „бревно“ (Balken) и „доска“ (Brett). Профессиональная лексика различает бревна и доски разного вида и формы; ср. нем. Balken, Brett, Deel, Plank, Bool, Latt; русск. брус, лежень, пластина, четвертина, горбыль, брусок (или решетник).[10] Для соединения бревен между собой существует специальная терминология, которая в национальном языке не имеет никаких эквивалентов. Различается „наращивание“, „сращивание“ и „сплачивание“ бревен; сращивание бывает: „в притык“, „косой притык“, „в полдерева“, „косая накладка“, „прямой замок“, „косой замок“, „прямой зуб“, „косой зуб“; сращивание под углом может быть „сковороднем“, „рубка в лапу“, „рубка в обло“, „прямая проушина“. Немецкий исследователь отмечает следующие виды сращивания: einfach Gerung,

glattes Blatt, Hokenblatt, Eckblatt, Tappenblatt, Swalmblatt, Kielblatt, Eckkamm, Versatz. [11]

Исследование Засса описывает профессиональный словарь плотника из м. Бланкенезе, но в примечаниях разбросаны обильные указания на территориальную дифференцированность профессиональной терминологии даже в соседних нижненемецких диалектах. Напр., большой бурав лопатой или совком („напарье") называется в Бланкенезе Stangenboor (две другие разновидности различных размеров: Lepelboor и Pumpenboor); в соседнем Гамбурге употребляются термины: Stangenboor, Lepelboor, Tappenboor, Amerikaner Boor; в округе Линген — Stockboor; в Ольпе — Drambuar; в Вост. Фрисландии—Krütsboor; Spundboor; в Оснабрюке — Brankenbuar, Düwelbuar и др. [12] Большой деревянный молоток для вбивания свай зовется в Бланкенезе Klopholt („Klopfholz") или Knüppel („дубина"), в других местах северной Германии — Stemmknüppel, Klopphammer, Klopper, holten Klopper, Bokhammer, holten Hammer, Böker. [13]

Такие примеры очень многочисленны. В книге Бухарина, технической, а не лингвистической, даются почти всегда однозначные термины, по всей вероятности — обобщающие привычное для автора словоупотребление; впрочем, в некоторых случаях, даже не будучи лингвистом, составитель технического пособия вынужден констатировать наличность синонимов или колебания в словоупотреблении: напр., брусок или решетник; обзол, обливина или жуковина („необточенный край бревна"). [14] Сопоставление со словарем Даля, также не производившим систематического обследования местной профессиональной терминологии, позволяет с несомненностью установить, что однозначность терминологии и в прочих случаях чаще всего — мнимая. Напр., слово „напарье" („большой бурав") имеет у Даля местные разновидности: напарей, напалье (рязанск.). Для слова „горбыль"

(крайняя округлая часть бревна, остающаяся при распилке) мы находим у Даля синонимы: горбушка, краюха, окраек, окромок, отпилок, запиленок, обаколок (курск.), налобок (орловск.), болонок, оболонок, заболонка и др. Вероятно, эти синонимы старинного профессионального языка имеют, как и в Германии, определенные географические районы распространения. Выяснение точных границ синонимических терминов с помощью систематического анкетного опроса позволило бы установить те хозяйственные и политические районы, в пределах которых протекало языковое развитие в более раннюю историческую эпоху.

Архаический характер обнаруживает и семантика старого профессионального языка. Образные выражения, характерные для примитивного „наглядного“ мышления, имеют здесь самое широкое распространение вместо отвлеченных слов-терминов, характерных для новейшей стадии профессионально-технического языка: напр., „медведка“ или „горбач“ (виды рубанка), рубка „в лапу“, „прямой зуб“ и „косой зуб“ и т. д. Большой рубанок („фуганок“) называется в Бланкенезе Runks (прозвище неповоротливого грубого человека), в соседних диалектах— Bulle („бык“), Wulf („волк“); другой вид рубанка — Swienegel (Schweinigel „еж“); ручная пила—Fuchsschwanz („лисий хвост“); особая форма сращивания бревен — Swalm, Swalmblatt, Swalkenstert („ласточка“, „ласточкин хвост“); рубанок в языке немецкого плотника имеет „подошву“ (Sool), „нос“ (Nees), „грудь“ (Bost), „морду“ (Muul), „щеки“ (Backen).[15]

Конечно, всякая профессиональная терминология имеет наслоения различной древности: рубанок, напр., является относительно новым изобретением, и русская терминология, с ним связанная, основана, как уже было сказано, на культурном импорте из северной Германии, рядом с которым сравнительно

скромную роль играют прозвища местного происхождения и фольклорного характера („медведка", „горбач"). Так и по-немецки: разновидности рубанка в большинстве случаев обозначаются составными словами, т. е. как видовые понятия одного родового термина: напр., Schlichthubel (рубанок для „выравнивания" — schlichten), Putzhubel (рубанок для „чистки" — putzen), Schrubhubel (рубанок с „винтом" — Schrub) и т. п. Напротив, для топора существует несколько самостоятельных коренных слов, засвидетельствованных уже в древнегерманских языках: Axt (др.-нем ackus), Beil (др.-нем. bîhal), Deichsel (др.-нем. dêhsal), Barte (др.-нем. barta) и др.[16] Слова эти по-разному дифференцированы в профессиональной лексике, а различия между ними восходят к той стадии языкового мышления, когда отсутствовало общее родовое понятие и для каждой разновидности данного орудия существовало самостоятельное слово.

В процессе исторического развития языка словарь профессиональных групп не остается, конечно, замкнутым в своей специальной сфере, — как и отдельные профессии, при всей корпоративной замкнутости, характерной для цехового строя, не отгорожены своей трудовой деятельностью от остального общества. Неоднократно были отмечены случаи экспансии профессиональной терминологии за первоначальную сферу ее употребления; профессиональные слова в расширенном или переносном значении в известных конкретных условиях исторической жизни вступают в национальный язык. Напр., в немецком национальном языке — из терминологии охотничьего дела: spüren („чуять" — прежде „чуять след": от Spur „след"), naseweis („любопытный", „пронырливый" — первоначально о собаке с „тонким нюхом"), vorlaut („выскочка" — собака, которая лает раньше времени) и др.; из профессионального языка

рудокопов (Bergmannsprache): fördern (продвигать, помогать — первоначально „поднимать добычу из шахты“); Ausbeute („добыча“ — прежде о руде), Fundgrube („обильный источник“ — прежде о шахте) и др.; из области печатного дела: Abdruck („отпечаток“); из области техники: Einstellung („установка“ — первоначально о приборе) и мн. др.[17] Такая экспансия профессиональных слов в новом значении наблюдается в современном русском политическом языке: напр., смычка, нагрузка, зажим, звено и т. п. В условиях социалистической революции проникновение в национальный язык подобных профессионализмов из словаря индустриальных рабочих становится существенным фактором идеологической перестройки языка.

Кроме специальной терминологии данной области труда в состав некоторых профессиональных „языков“ могут входить слова, обозначающие более широкий круг явлений профессионального быта, которые имеют в общем языке другие, стандартные обозначения. Такие клички, понятные только в узком кругу посвященных, составляют основу профессиональных (корпоративных) жаргонов. Так, немецкие моряки называют капитана — de Olle „старик“ (нижненем. „der Alte“), старшего штурмана — de Grote „большой“ („der Grosse“), младшего — de Lütt „малый“, или Specksnider „салорез“ („Speckschneider“); повара — Doktor „доктор“, или Smeerdeef („Schmerdieb“ — „ворующий сало“), фельдшера — Lapper „лоскутник“ (от Lappen — „тряпка“); вся команда корабля называется „гостями“ (Gasten), капитан и штурман — „кормовые гости“ (Achtergasten), матросы — „носовые гости“ (Vordergasten), по месту расположения их коек; жаргонные слова употребляются матросами для пищи и питья и т. д.[18]

Жаргонная лексика создается из словарного материала общего языка или местного диалекта, с по-

мощью обычных в данном языке приемов словообразования, но в специфическом переносном значении, понятном лишь членам данной корпорации; стандартный термин общего языка заменяется кличкой, образным выражением, имеющим определенную эмоциональную окраску, насмешливым, ироническим, пародийным. Возникновение таких жаргонов возможно лишь в условиях корпоративной связанности и организованности, создающей прочные бытовые традиции и языковые навыки, которые сознательно поддерживаются старыми членами корпорации, которым обучают новичка, накладывая на него шуточные наказания за отступление от установленного обычая. Наиболее благоприятные предпосылки для развития профессиональных жаргонов заложены были в корпоративно-цеховом строе эпохи феодализма, частично сохранившемся в пережиточных формах и в капиталистическом обществе. Аналогичные явления наблюдаются и в корпоративно-замкнутых профессиональных группах непроизводственного характера, напр. среди солдат и матросов, среди учащихся (в особенности в закрытых учебных заведениях) и др.[19]

Характерным примером такого профессионального жаргона является „язык“ немецких студентов (Deutsche Studentensprache), известный в литературных свидетельствах с конца XVIII в., но по своему происхождению гораздо более древний. Немецкие студенты сохранили корпоративные традиции, восходящие, по крайней мере — частично, к бытовому укладу средневековых университетов. Жаргонная лексика студентов включает в свой состав явления широкого профессионально-бытового окружения учащегося. Студент называет себя „буршем“ (Bursch — от слова Burse „бурса“ — „общежитие“), „бакхантом“ (Bachant), „сыном муз“ (Musensohn), „братом-учащимся“ (Bruder Studio). Новичок иро-

нически обозначается как „фукс“ (Fuchs — „лисица“), „теленок“ (Mutterkalb), „домашний петух“ (Haushahn) и др. Бюргеры университетского города, с которыми студент воюет, как богатырь Самсон, получили библейское прозвище „филистеров“ (Philister — по-немецки „филистимлянин“); полицейские и городская стража — „усачи“ (Schnurrbärte), „трещотки“ (Schnurren); кредиторы — „манихеи“ (Manichäer); женщины — „метлы“ (Besen — с социальной дифференциацией: Florbesen и Kattunbesen); проститутки — „бабочки“, „мошки“, „кузнечики“ (Buttervögel, Nachtvögel, Grasmücken) или „приват-доцентки“ (Privat-Dozentin) и т. д. Рядом с национальным языковым материалом студенческий жаргон широко пользуется интернациональным — ученой средневековой латынью, как профессиональным признаком принадлежности к университетской корпорации; в особенности употребительны пародические словообразования с помощью латинских и псевдо-латинских суффиксов, в макаронических сочетаниях с немецкими корнями, напр. Grobität (грубость), Filzität (грязь) или Pfiffikus (жулик), Luftikus (вертопрах) или studentikos (по-студенчески), burschikos и т. д. Отдельные слова проникли из студенческого жаргона в национальный немецкий язык: напр., pumpen „занимать деньги“ (буквально: „выкачивать насосом“), Backfisch „молоденькая девушка“ (буквально: „печеная рыба“) и др. [20]

Одним из наиболее ярких примеров жаргонного творчества в наши дни являются жаргоны действующих армий эпохи империалистической войны. Обширные материалы по этой теме, собранные лингвистами-патриотами всех наций, свидетельствуют о совершенно аналогичных тенденциях развития в языках различных воюющих стран. [21] В специфических условиях позиционной войны, когда миллионы трудящихся, оторванные от повседневных трудовых и бытовых забот и интересов, в течение многих

месяцев населяли окопы, находясь в непрерывном общении друг с другом и в одинаковой необычной обстановке походной жизни, окопный жаргон развивается с необычайной быстротой, захватывая в своих лексических переосмыслениях широкое поле профессионально-бытового окружения воюющего. При этом, как показывает Шпербер,[22] развитие жаргонной лексики происходит по двум направлениям. С одной стороны, благодаря эмоциональному напряжению, вызванному доминирующим сознанием привычно грозящей смерти, особенно многочисленными метафорическими иносказаниями иронического и частью эвфемистического характера обрастают предметы боевой обстановки, окружающей окопника, и прежде всего — орудия войны. Напр., снаряды крупного калибра — фр. marmite („сковорода"), sac à charbon („угольный мешок"), gros noir („черный толстяк"), нем. Kohlenkasten („угольный ящик"), schwarze Sau („черная свинья"), Blindschleiche („уж"), русск. „чемодан"; ружейная пуля — фр. pruneau („чернослив"), нем. blaue Bohnen („синие бобы"), schwarze Erbsen („черный горох"), Fliegen („мухи"), Spatzen („воробьи"), Bienen („пчелы"), Singvögel („певчие птицы") и др.; штык — фр. cure-dent („зубочистка"), fourchette („вилка") и т. д.

Шпербер указывает на богатую синонимику, которая характеризует такие аффективно-окрашенные представления. Напр.: „пулемет" в немецком окопном жаргоне обозначается словами Stottertante („заикающаяся тетушка"), Totenorgel („заупокойный орган"), Steinklopfer („каменотес"), Mähmaschine („жнейка"), Drehorgel („шарманка"), Nähmaschine („швейная машина"), Dengelmaschine („машина для точения кос"), Kaffeemühle („кофейная мельница"), Fleischhackmaschine („мясорубка"), Tippmamsel („барышня, пишущая на машинке" — „машинистка"), Kettenhund („цепная собака"), Taktak и др.; по-фран-

цузски: machine à coudre („швейная машина“), moulin à café („кофейная мельница“), moulin à poivre, poivrière („перечница“), écrêmeuse („сепаратор“), tacot („пишущая машинка“), bécane („велосипед“) и др.

С другой стороны, аффективно-окрашенные представления, связанные с впечатлениями боя, становятся главным источником метафорических иносказаний для предметов мирной жизни, окружающей окопника; происходит распространение определенного круга значений за его нормальные границы (по терминологии Шпербера — „семантическая экспансия“). Напр., у немцев походная кухня получила название Gulaschkanone („гуляшная пушка“), горох — Schrapnellkugeln („шрапнельные пули“), гороховый суп — Schrapnellsuppe („суп из шрапнели“), картофель — Schrapnell („шрапнель“), Handgranate („ручная граната“), зеленый сыр („Handkäse“) — тоже Handgranate, шинкованная капуста — Drahtverhau („проволочное заграждение“), так же — небритая борода, зеленые бобы — Stacheldraht („колючая проволока“); у французов — горох также „шрапнель“ (Srapnells), походная кухня — tank („танк“), sousmarin („подводная лодка“), курить — gazer („пускать газ“) и т. п.

Несмотря на исключительность условий, в которых развивался окопный жаргон, он представляет поучительный исторический пример, указывающий на роль аффективно-окрашенных представлений, стержневых эмоционально-значимых комплексов данной социальной группы в развитии характерных для жаргонов и арго метафорических иносказаний. В особенности важное значение имеют эти явления в так. наз. „слэнге“.[23]

Особое место среди жаргонов профессий и корпораций занимает а р г о, так. наз. „воровской язык“: точнее и шире — профессиональный жаргон деклассированных (нищих, бродяг, воров) и некоторых

связанных с ними общественных групп (бродячих торговцев и ремесленников и др.). Специфическим отличием арго от других видов жаргона является его профессиональная функция: в то время как перечисленные выше корпоративные жаргоны являются своего рода общественной забавой, языковой игрой, подчиненной принципам эмоциональной экспрессивности, арго, которым пользуются нищие, воры, бродячие торговцы и ремесленники, служит орудием их профессиональной деятельности, самозащиты и борьбы против остального общества. Поэтому шутливые жаргонные прозвища явлений профессионального быта в словаре той или иной корпорации, даже строго ограниченные пределами корпоративного языка, не представляют с принципиальной точки зрения профессиональной тайны. Напротив, арго является тайным языком, конспиративным, засекреченным (по крайней мере — в период своего расцвета, покуда оно сохраняет свою основную социальную функцию). Арго — своего рода пароль, по которому узнают друг друга деклассированные, и мощное средство профессиональной организации в условиях острой социальной борьбы. Поэтому идеологические тенденции перестройки языка выступают в нем особенно отчетливо.

По сравнению с жаргонами „честных" профессий арго свободно от узкой профессиональной специализации: сама „профессиональная деятельность" деклассированных имеет более широкий и неопределенный характер и обнимает самые различные стороны быта и общественной жизни, притом — под своеобразным углом зрения людей, стоящих вне гражданского общества и закона и ведущих анархическую, партизанскую войну против существующего общественного строя. Благодаря этому словарь арго гораздо обширнее, чем словари других жаргонов: он обнимает все те разнообразные стороны

жизни, с которыми входит в соприкосновение деклассированный — нищий, бродяга, профессиональный вор (или странствующий торговец и ремесленник). Однако, при всей обширности арготического словаря, собственная сфера арго ограничивается только лексикой: арго, как и другие жаргоны, паразитирует на родном языке арготирующего, пользуясь его структурными формами (фонетикой и грамматикой). Таким образом, подобно жаргонам специальных профессий и корпораций, арго всегда является вторым языком говорящего, точнее — вторичной лексической системой, в которой явления окружающей жизни получают новые, „свои“ наименования, сосуществующие для самого арготирующего со стандартными основного языка.

Арго существуют в большинстве европейских языков и во многих внеевропейских и ведут свое происхождение от эпохи разложения феодализма. Французским терминам жаргон (jargon) и арго (argot) соответствуют немецкие Rotwelsch или Gaunersprache, английский — cant, итальянский gergo или furbescho, испанский — germania и более поздний calò, русский — „блатная музыка“ и др.[24] Кроме того, существует ряд других, более специальных терминов, ограниченных по своему употреблению определенной эпохой, местностью, организацией. Напр., фр. jobelin (язык шайки кокильяров в XV в.), blesquin (язык бродячих торговцев, 1596), belaud, terratchu, mormé и др. (языки бродячих ремесленников и сезонников в юго-восточной Франции в XIX в.); русск. ламанский или мазовский язык (у владимирских „офеней“), кантюжный (у тверских и рязанских нищих), шубейский, или кубрацкий (у дорогобужских мещан), любецкий лемент (у могилевских старцев), галивонские алеманы (у торговцев г. Галича) и др.[25]

В Германии древнейшее упоминание слова „rotwelsch“ в значении „тайного“ языка встречается в поэтическом памятнике 1250 г.[26] С начала XV в. появляется целый ряд бытовых материалов о деклассированных (нищих, бродягах, разбойниках) и их тайном языке. К этому же времени относится первый закон против нищих (Вена, 1443 г.).[26a] В 1510 г. появилась знаменитая „Книга бродяг“ („Liber vagatorum“), выдержавшая более 30 изданий, из которых одно (1528 г.) сделано Лютером; она заключает описание быта и нравов профессиональных нищих, основную часть которого составляет перечисление нищенских профессий и их жаргонных прозвищ (мнимые калеки, бесноватые, эпилептики, сборщики на храмы, погорельцы и т. д. — всего 28 названий): этот тип реестров чрезвычайно популярен в эту эпоху в арготической литературе как в Германии, так и в других западных странах. К книге приложен первый систематический словарь языка нищих (более 200 слов).[27] В дальнейшем памятники множатся. Среди них — бытовые наблюдения писателей, лингвистические замечания грамматиков, записи, сделанные судебными и полицейскими чиновниками в целях общественной безопасности, материалы судебных процессов и сенсационные публикации всякого рода. Все эти материалы собраны и опубликованы проф. Фр. Клуге („Rotwelsch“, 1901).

Во Франции первые упоминания слова „жаргон“ в значении языка преступников относятся к XIII — XIV вв. К XV в. принадлежит первый словарь воровского жаргона (jobelin), сохранившийся в актах судебного процесса обширной разбойничьей банды кокильяров в Дижоне (1455), членом которой был, между прочим, знаменитый французский поэт Франсуа Виллон (1431—1463?), оставивший несколько баллад на языке этой банды.[28] Существенно новую лексику дают бытовые памятники конца XVI и

начала XVII вв.: „Веселая жизнь бродячих торговцев, нищих и цыган“ („La vie généreuse des Mercelots, Gueuz et Bohémiens“, 1596) и „Жаргон реформированного арго“ („Le Jargon de l'Argot réformé“, 1628—2-е изд.). Из последующих публикаций богатый материал дает для начала XVIII в. словарь, приложенный к поэме о подвигах знаменитого разбойника Картуша („Le vice puni ou Cartouche“, 1725), для начала XIX в. — словарь, составленный Видоком, бывшим каторжником, позже — сыщиком и начальником парижской полиции („Les voleurs“, 1837). Все эти памятники старого арго собраны и переизданы Сенеаном (1912).[29] В течение XIX и начала XX века появилось множество новых публикаций лингвистического, юридического и бытового, научного и полунаучного характера, посвященных языку деклассированных. Среди французских писателей XIX в. арготической лексикой пользовались для речевой характеристики деклассированных Евгений Сю („Парижские тайны“, 1842), Бальзак („Последнее воплощение Вотрена“, 1847), Виктор Гюго („Отверженные“, 1862). Золя изображает арготирующих рабочих („Западня“, 1879). Жан Ришпен создает арготическую лирику, героем которой является босяк („Песни бродяг“, 1876).[30] Словарный материал французского арго непрерывно нарастает: по подсчету французского исследователя Эмиля Шотара (1931) в литературных памятниках 1457 г. (Виллон) насчитывается 120 арготических слов, в 1628 г. („Реформированное арго“) — 232, в 1725 г. (Картуш) — 500, в 1830 г. (Словарь Видока) — 1600, в многочисленных публикациях по современному арго (1872—1931) — не менее 4000 слов.[31] Конечно, частично новые записи полнее и всестороннее старых: старые ограничиваются отстоявшимися и более прочными словами-терминами, новые уделяют большое внимание фразеологии, образным выражениям и идиома-

тизмам, имеющим более текучий характер. Однако еще большее значение имела в этом отношении потеря французским арго второй половины XIX века прежней профессиональной замкнутости, констатируемая большинством исследователей, его смешение с парижским городским просторечием, при котором собственно арго растворяется в более широкой сфере жаргонизмов и образных выражений обиходного языка („слэнг").[32]

История других европейских арго менее разработана. Английский cant представлен памятниками середины XVI в. — „Братством бродяг" (John Awdeley „The Fraternitye of Vacabondes", 1560) и „Предостережением против бродяг" (Thomas Harman „A Caveat or Warening from commen Cursetors", 1567); оба памятника дают обычный каталог профессиональных нищих и бродяг и их жаргонных кличек, с приложением небольшого словаря. Возникновение их связано с законами против нищенства, и преследуют они обличительные цели. По свидетельству второго автора, язык этот „существует всего 30 лет, самое большее". Шекспир и современные ему драматурги неоднократно пользовались арготизмами для речевой характеристики соответствующих драматических персонажей. Байрон употребляет воровское арго в „Дон Жуане" (1823), давая портрет лондонского бандита; согласно его свидетельству, жаргон этот не был тайной для аристократической „золотой молодежи" его времени.[32a] В XIX в. то же делает Диккенс, изображая лондонских воров („Оливер Твист", 1837). Современное английское арго представлено несколькими словарями.[33]

Об итальянском gergo XV в. имеются указания в письме поэта Пульчи (Pulci, 1472), но только к XVI в. относится первое обширное лексикологическое собрание, сделанное в Венеции („Il Modo nuovo da intendere la lingua zerga", 1549).

К началу XVII в. принадлежит первый памятник старого испанского арго так. наз. „germania“ (Juan Hidalgo „Romances de germania“, 1609).[34]

Таким образом, учитывая в каждом отдельном случае возможность сравнительно поздней письменной фиксации тайных языков, мы все же можем с большой вероятностью отнести возникновение западноевропейских арго в основном к XIV—XVI вв., т. е. к эпохе разложения феодальных отношений и первоначального капиталистического накопления.

К самому позднему времени (XVIII—XIX вв.) относятся записи арго у славянских народов.[35] В частности, русские записи, сделанные преимущественно в XIX в. собирателями-этнографами на живом современном материале, интересны богатством социально-бытовых наблюдений, которые позволяют на основании пережитков, сохранившихся в условиях экономической и культурной отсталости старой России, реконструировать более полно особенности той общественной среды, в которой возникает и развивается арго. Этнографические записи такого рода покрывают большую часть средней России, западную половину Украины и Белоруссию.[36] В них представлены следующие соприкасающиеся друг с другом арготирующие профессии: 1) профессиональные нищие („старцы“, „деды“, „крестовники“, „лирники“)—из б. губерний Рязанской, Тверской, Орловской, Смоленской, Могилевской, Минской, Подольской и из зарубежной Украины (Восточной Галиции); 2) бродячие торговцы („офени“, „ходебщики“, „прасолы“ и др.) — из б. губерний Владимирской, Тверской, Костромской, Калужской, Тульской, Смоленской; 3) бродячие ремесленники и сезонники (портные, шерстобиты, шаповалы, глинотопы и др.) — из б. губерний Калужской, Тульской, Костромской, Черниговской, Могилевской. Старей-

шие из этих записей относятся к языку владимирских „офеней“ (в Словаре акад. Палласа 1789 г. — как „Susdaliensis dialectus“), о которых имеется очень богатая литература. Гораздо меньше внимания уделяли русские этнографы собственно воровскому арго. Довольно многочисленные арготизмы были отмечены исследователями в известной автобиографии „славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина“ (написана в 1764 г.).[37] Однако соображения теоретические заставляют думать, что уже „вольные люди“, гулявшие на Волге в XVII—XVIII вв., должны были иметь свой тайный язык, как все подобные массовые объединения деклассированных. Указаний в этом направлении следовало бы искать в судебных документах, напр. в делах, связанных с восстанием Разина и Пугачова. По мнению Даля, весьма правдоподобному, остатками этого языка является разбойничий клич „Сарынь на кичку“, и такого же происхождения выражение „дуван дуванить“, в переводе Даля: „делить добычу“ (в офенском языке „дуваном“ называется расчет приказчиков с хозяином по окончании торговли).[38] Первые словари русского воровского арго, так. наз. „блатной музыки“, появились только в XX веке.[39] Обширный рукописный материал по русскому арго различного типа собран в картотеке проф. . А. Ларина, которому принадлежит почин научной разработки вопроса об источниках русских арго.[40]

Развитие разработанных тайных языков профессионального назначения связано, с одной стороны, с массовой пауперизацией трудящихся, с другой стороны — с наличием корпоративной организации деклассированных элементов, профессиональных нищих, воровских шаек и разбойничьих банд. И то и другое явление характерно для эпохи разложения феодальных отношений, в особенности —

для XIV—XVI вв.: к этому времени относится, как уже было указано, возникновение и первоначальное развитие арго деклассированных. Аграрная революция в деревне, связанная с пауперизацией и экспроприацией широких масс крестьянского населения, беспрестанные разорительные войны, внешние и междоусобные, сопровождавшие образование национальных государств, растущая замкнутость цехов, ограничившая доступ к „честному ремеслу“ для свободных рабочих рук — все эти обстоятельства создали в эпоху первоначального накопления необычайный рост деклассированных элементов (люмпен-пролетариата), будущей резервной армии промышленного пролетариата. Касаясь вопроса об аграрной революции в Англии XVI в. и кровавом законодательстве против экспроприированных, Маркс говорит об этом следующее: „Люди, выгнанные вследствие распущения феодальных дружин и оторванные от земли насильственной экспроприацией, эти объявленные вне закона пролетарии поглощались развивающейся мануфактурой далеко не с такой быстротой, с какой они появлялись на свет. С другой стороны, люди, внезапно вырванные из обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной новой своей обстановки. Они массами превращались в нищих, разбойников, бродяг, — частью добровольно, в большинстве случаев под давлением необходимости“.[41] „...Это бродяжничество тесно связано с распадом феодализма. Уже в XIII веке были отдельные периоды подобного бродяжничества, но всеобщим и длительным явлением оно становится лишь в конце XV и в начале XVI века“.[41a] В то же время Энгельс свидетельствует о массовой пауперизации в Германии XVI в. накануне крестьянской войны. „Вообще люмпен-пролетариат представляет из себя явление, встречающееся в более или менее развитом виде

почти во всех бывших до сих пор фазах общественного развития. Как раз в то время, благодаря распадению феодализма в обществе, где каждая профессия, каждая сфера жизни была еще ограждена бесчисленными привилегиями, значительно увеличилась масса людей, лишенных определенной профессии и постоянного местожительства. Число бродяг во всех развитых странах никогда не было так велико, как в первой половине XVI века. Часть их в военные времена служила в войсках, другая бродила по деревням, занимаясь попрошайничеством, третья добывала свое скудное пропитание в городах поденной работой и другими занятиями, не требовавшими принадлежности к какому-либо цеху". [42]

Документы эпохи дополняют эту картину многочисленными конкретными подробностями. Так, Гаррисон, автор „Описания Англии", входящего в состав известной хроники Голлиншеда (1586), сообщает, что в те годы число нищих в Англии превышало 10 000 человек. Появились они в таком количестве лет 60 назад. [43] В другом месте, которое цитирует Маркс, Гаррисон утверждает, что за время правления Генриха VIII на основании законов о бродяжничестве „было казнено 72 000 больших и малых воров". [44] Среди нищих тот же Гаррисон выделяет категорию „нищенствующих по чужой вине" („by other men's occasion"): напр., „когда какой-нибудь корыстный человек—я разумею таких, кто способен изо дня в день доводить людей до нищеты, зачумляя страну,—усмотрит подходящий для себя товар в их общинных землях, арендных участках и наделах, и найдет способ согнать множество людей с занимаемой ими земли, чтобы попользоваться ею для своей частной выгоды". „Есть такие, что недовольны слишком большим размножением населения в наши дни, считая необходимый прирост скотины гораздо более полезным, чем излишнее увеличение

рода человеческого".[45] Гаррисон цитирует арготические документы своего времени—названную выше книгу Гармана о быте и языке профессиональных нищих (Harman „A Caveat", 1567), связывая, таким образом, непосредственно возникновение арго с аграрной революцией XVI в. Это свидетель, достойный особенного внимания, потому что на него ссылается Маркс в своей характеристике первоначального накопления в Англии.

Исследователь „опасных сообществ" („sociétés dangereuses") средневековой Франции Пьер Шампион[46] перечисляет последовательно целый ряд организованных банд разбойников, нищих, воров и др., о которых упоминают исторические свидетельства, особенно многочисленные в XV в.: эти банды нередко достигают нескольких сот и даже тысяч участников, в особенности—когда они пополняются распущенными при заключении мира военными отрядами; против них предпринимаются военные экспедиции и назначаются карательные суды: напр., банда кокильяров (1455—1464) состояла из тысячи человек, разбросанных по всей Франции, но собиравшихся вокруг Дижона (Бургундия).[47] По сообщению любекской хроники Корнера (1425) в Германии, в районе Шпейера и Страсбурга, в течение двадцати лет работала банда, рассеянная по многим городам, „и было в их сообществе более 2000 человек".[48] Отметим, что в экономически отсталой Германии XVIII в. большие разбойничьи банды продолжали оставаться бытовым явлением, в связи с обнищанием народных масс, вызванным постоянными войнами, феодальной эксплоатацией и низким уровнем развития производительных сил: по словам Клуге, Вюртемберг в эпоху Шиллера кишел разбойничьими бандами и арготирующими.[49]

В эпоху феодализма нищие, воры, проститутки и другие деклассированные имеют свои корпорации,

организованные по типу ремесленных цехов и купеческих гильдий. Во Франции, — пишет Маркс, — „в половине XVII века парижские бродяги основали так называемые „королевства бродяг" (royaume des truands)".[50] Подробную характеристику этого явления дает проф. И. М. Кулишер на основании обширного историко-бытового материала: „Нищие в Базеле, Ульме, Нюрнберге, Франкфурте и в других городах имели цеховых старейшин (Bettlermeister), запрещали пришлым нищим-конкурентам выпрашивать подаяние, за исключением двух дней в году, требовали от вновь вступающих знания наизусть „Отче наш" и других молитв, имели свой цеховой суд, который состоял (в Базеле) из семи нищих, „не носивших ни штанов, ни ножа"... Во Франции нищие собирались ежегодно под председательством своего „короля" в Бретани, на большой долине, где решались все вопросы и где „король" собирал „подать" со своих „подданных". В Германии в половине XV в. существовало специальное братство прокаженных, в состав которого входили прокаженные всех местностей по Рейну; годичное собрание его происходило 1 марта в Майнце. В братства и союзы объединялись и проститутки — „общие", „свободные", „странствующие" женщины, как их называли".[51]

Материалы по истории арго дополняют эту картину. „Нищие, — говорит французский писатель Монтэнь (XVI в.), — подобно богатым, имеют свои роскошества и наслаждения и, как рассказывают, свои звания и гражданские степени" („leurs dignités et ordres politiques").[52] Банда кокильяров, по данным процесса, имела короля.[53] Другая банда нищих (Caymands, 1448), выступавшая в окрестностях Парижа, — короля и королеву.[54] „Веселая жизнь" (1596), кроме короля нищих (grand Coesre), упоминает его наместников в каждой провинции (Cagouz)

и периодические собрания — „генеральные штаты“ (états généraux). Прием новичков сопровождается церемониями и обучением, новичок клянется „не выдавать тайны“; изменникам и мятежникам угрожают суд и наказания.[55] Еще подробнее об организации деклассированных сообщает „Реформированное арго“ (1628). Бродяги и нищие, по рассказам автора этой книги, составляют „королевство арго“. Во главе его стоит король (grand Coesre), которому подчинены провинциальные наместники (Cagouz) и цеховые старейшины (Archisuppots). У них бывают ежегодные собрания (états généraux), сопровождаемые разработанным церемониалом; собрания эти первоначально были связаны с ярмарками в провинции Пуату (Fontenay).[56] К XVII и XVIII вв. относятся различные свидетельства о существовании в Париже так. наз. „дворов чудес“ (cours des miracles), в которых собираются нищие после дневной работы. Эти учреждения, просуществовавшие почти до французской революции, имели свои обычаи и организацию.[57] В Германии XVIII в. такие центры нищенских организаций имеются во многих городах. „Список нищих“ 1742 г. (Bettlerliste) перечисляет ряд сборных пунктов в южной Германии, подозрительных харчевень и воровских притонов („gescheite Wirtshäuser“), где происходят постоянные или периодические встречи членов организации, деловые собрания и кутежи—напр., в Фюрте (около Нюрнберга) ежегодно в день св. Мартина. Здесь составляются также подложные документы для мнимых погорельцев, нищенствующих монахов, обращенных еретиков и др.: такие „канцелярии мошенников“ (Stapler-Cantzleyen) имеются, напр., в ряде мелких городов Баварии и Швейцарии, перечисляемых в „Списке“.[58]

С корпоративной организацией арготирующих связано и развитие самого арго. Уже в актах процесса кокильяров их язык характеризуется как

тайный и „непонятный для других людей, кроме тех, кому они его открыли и кого ему обучили“: „по этому языку они узнают тех, кто принадлежит к их обществу“.[59] „Реформированное арго“ указывает на старейшин (archisuppots) как на изобретателей и реформаторов арго, которые „обучают говорить на жаргоне, отнимают, сокращают и реформируют арго по своему желанию“. Их сознательному вмешательству приписывается коренное изменение арготической лексики, отличающее „реформированное арго“ (argot réformé) от старого: „заметив, что слишком многие понимают (их язык), они переменили следующие слова“: напр., „голова“ вм. старого „calle“ — „tronche“; „шапка“ вм. „plant“ — „comble“; „ноги“ вм. „trottins“ — „paturons“; „плащ“ вм. „volant“ — „tabar“ или „tabarin“ и др.[60] Весьма важное значение имеет указание автора на существование в рядах арготирующих своего рода деклассированной интеллигенции — „распутных школяров“ (escoliers desbauchez), „клириков“ (ratichons) и т. п. на высоких постах цеховых „старейшин“ (archisuppots): он сравнивает их с „греческими философами“, „латинскими мудрецами“ и т. д. и приписывает им главную роль в языковых реформах в области „арго“.[61] Таким „распутным школяром“ был, как мы знаем, знаменитый поэт Виллон, связанный с бандой кокильяров. О деклассированной интеллигенции в рядах средневековых нищих говорит и немецкая „Книга бродяг“ (1510). Это — „молодые школяры“ (jung scholares), „молодые студенты“ (jung studenten), которые не слушаются отца с матерью и не хотят быть послушными своим учителям, и становятся отступниками (apostasieren), и попадают в дурное общество людей, опытных в бродяжничестве, а те помогают им прокутить состояние, и когда у них уже ничего нет, они учатся нищенствовать и бродяжничать“.[62] В одном

памятнике XVII в. („Vaganten-Hospital“, 1668) описывается целая организация таких вагантов, состоящая частью из студентов, забросивших учение для кутежей, частью, повидимому, из других бродяг, выдающих себя за студентов. Они собирают подаяние под окнами, распевая песни, и прокучивают собранное в компании с товарищами. Их деятельность охватывает значительную часть северной Германии (Гольштинию, Мекленбург, Бремен, Ольденбург), но главный центр находится в университетском городе Киле (на языке вагантов — Lieck in Steinholz — Kiel in Holstein), в „Харчевне вагантов“ (Vagantenkrug), где происходят их сборища и кутежи. Они имеют организацию по образцу студенческих — „пивное государство“ (Bierstaat), во главе которого стоят „сеньоры“ и „фискалы“. Принимая нового сочлена, они приставляют к нему учителя („адъюнкта“), который должен помочь ему „освободиться от природной застенчивости“. По указанию своих сеньоров они отправляются целыми бандами в различные края и через определенный срок должны вернуться обратно с назначенной суммой денег.[63]

Так. наз. „ваганты“, „странствующие школяры“ („fahrende Schüler“), о которых неоднократно упоминают немецкие арготические источники XVI—XVII вв., хорошо известны нам уже в эпоху феодализма, между прочим — как создатели целого литературного жанра, заключающего в себе элементы анархического бунтарства против средневекового мировоззрения и общественного строя (так. наз. „песни голиардов“). Бебель (1501), также упоминающий о них в числе нищих и бродяг, свидетельствует между прочим о том, что они „говорят на своем особом языке (proprio sermone), который изобрели, чтобы чернь не могла их понять (ne plebs intelligat)“.[64]

Некоторые французские исследователи (Esnault, Dauzat) сомневаются в исторической достоверности свидетельств „Жаргона" и возражают против „искусственного" и „условного" характера арго.[65] По мнению Доза, тайные языки, как и все языки вообще (кроме искусственных языков типа эсперанто), создаются, следуя „темной и коллективной тенденции (une tendance obscure et collective), которая находит свое выражение бессознательными средствами (par des moyens inconscients)".[66] В противоположность этой точке зрения, мы отметили в свое время наличность сознательных принципов отбора в языковой политике борющихся общественных классов на примере строительства национального языка, регламентируемого грамматиками-нормализаторами. Развитие арго, как орудия самозащиты и нападения организованных коллективов деклассированных, как тайного языка специального назначения, протекает в особых общественных условиях, при которых элемент сознательной и даже организованной языковой стройки должен был играть относительно гораздо более значительную роль, чем в обычном языке: в частности об этом свидетельствуют такие общераспространенные искусственные приемы засекречивания, как перестановка или вставка слогов.

В подтверждение исторической достоверности французских свидетельств о „королевстве арго" можно привести вполне аналогичные немецкие материалы: сходные бытовые явления, порожденные сходными условиями общественной жизни. В 1745 г. в Гильдбургхаузене была ликвидирована разбойничья банда, состоявшая из 150 человек. По данным судебного процесса, эта шайка имела своего „короля", своих „знатных" и „советников", свою печать и свой устав, по которому судили за донос и измену („das Plattenrecht"). „При своих встречах,—сообщает один

из подсудимых на допросе,—они учили, изменяли и улучшали свой „блат" или воровской язык (Platten- oder Spitzbubensprache). Они поставили себе задачу изгнать из своего языка все немецкие слова, но это им не удалось. Он сам составил словарь этого языка, в пять пальцев толщиной". Другой подсудимый рассказал о том, как отец обучал его воровскому языку и бил, когда он не делал достаточных успехов, приговаривая: „Du Strick und Wildstock, willst du nicht platt werden!" („...когда ты, наконец, станешь нашим!").[67] Вообще „обучение" играет в распространении арго очень существенную роль. Поскольку арго служило средством опознания „своих", своего рода „паролем", и в то же время — важным профессиональным орудием, ему прежде всего обучают новичка, принимаемого в шайку, как и другим тонкостям „ремесла". Парижская банда „поджигателей" (chauffeurs), ликвидированная в эпоху консульства (1800), имела, напр., специального „воспитателя" („instituteur"), в обязанности которого входило „обучать подростков („mioches") говорить на арго".[68]

Многочисленные этнографические наблюдения над бытом профессиональных нищих в России, Украине и Белоруссии XIX в. подтверждают роль корпоративной организации и профессионального обучения в развитии тайных языков. Так, по свидетельству Е. Романова (1890), среди могилевских „старцев" (нищих певцов) существовали особые учителя („майстры"), за плату обучавшие пению „псальмов". Курс обучения длился год или два. Некоторые старецкие „школы" пользовались большой славой.[69] В Подолии, как сообщает Боржковский (1889), „желающий быть лириком обязан итти в науку к старому лирнику, у которого в продолжение 3 лет и 3 месяцев изучает лирницкий язык, молитву, игру на лире и пение религиозно-

нравственных, сатирических и иных песен". Пройдя курс учения, ученик подвергается экзамену в присутствии „дедов" и проходит обряд посвящения, сопровождаемый пирушкой за счет обряжаемого.[70] О школе лирников („дедовска школа") близ г. Тарнополя в Восточной Галиции сообщает Кирилл Студиньский (Викторин).[71] Такими „школами", менее организованными, могли являться те богадельни при церквах, куда, как указывает Романов, стекались начинающие нищие „с целью научиться пению псальмов" (напр., богадельня Чаусская в Могилевской губ.).[72] Наконец, многие нищие начинают приобщаться своей профессии еще в детском возрасте, в роли поводырей слепых; иногда такой поводырь ведет за собой несколько старцев, которые ходят „плетенкой", т. е. гуськом, положив руку на плечо идущему впереди (Романов):[73] постоянное общение поводыря со старцами создает условия, особенно благоприятные для обучения тайному языку и повседневного пользования им.

Как сообщает Романов, могилевские старцы еще в семидесятых годах XIX в. имели „старецкое самоуправление, шедшее из глубокой старины вместе с старецким языком". В 1890 г., несмотря на официальное упразднение этой организации, продолжали существовать выборные „старецкие старосты" — „по одному, по два на уезд", их помощники — „сотские" и, наконец, — „старецкие судьи", власть которых, „прежде почти безграничная", была в это время уже в полном упадке. Существование особого нищенского языка Романов хочет объяснить „потребностями вышеупомянутого самоуправления".[74]

О тайных организациях галицийских нищих („дедов") сообщают уже названный Кирилл Студиньский и его редактор И. Франко („Зоря", 1886); оба автора

выдвигают политическую роль этих организаций в крестьянском движении в Восточной Галиции в эпоху крепостного права. О происхождении „дедовского языка“ („жебрацка мова“) Студиньский рассказывает со слов крестьянина Павло Белецкого (род. в 1864 г.), служившего поводырем у слепцов: „Происходит этот язык, как говорит Павло, со времен крепостного права. Дедами, говорит он, бывали тогда не одни старцы, калеки, больные; дедами становились и здоровые крестьяне, которые убегали от панов, чтобы быть свободными. Много их тогда ходило по этому краю, не то, что теперь. Нередко, бывало, соберутся, да начнут сговариваться против своих панов, того и гляди — кому подпалят гумно, кому двор, а иного, как поймают в пустынном месте, так и самого прикончат“. Для целей тайного сообщения, по мнению Павло, была изобретена „жебрацка мова“. В дополнение к статье своего сотрудника И. Франко считает нужным выдвинуть „весьма важный и до сих пор мало исследованный вопрос о правильной организации нищих („всего жебручого люду“) по всей Галиции со времен крепостного права“. Франко рисует картину массовой пауперизации, сходную с тем, что наблюдалось в западной Европе в эпоху разложения феодальных отношений и первоначального капиталистического накопления, когда зарождаются западно-европейские арго. „Экономический и социальный строй польской Речи Посполитой, а позднее и Австрии до 1848 г., со стихийной силой толкал многих крестьян на покидание своих наделов; случалось, что, попав под недоброго пана, целые деревни и даже села разбегались; кто селился у других панов, а кто приставал к „жебракам“ и бродягам, которых тогда, при недостаточном полицейском надзоре, было гораздо больше, чем теперь, и которым, благодаря этому, жилось гораздо свободнее.

Их пристанищами были безлюдные пустыри или корчмы, стоявшие где-нибудь одиноко среди лесов, полей или болот; и до сих пор часто такие корчмы зовутся „дедовскими корчмами". То, что у них издавна существовала какая-то единая организация, подтверждается многочисленными устными рассказами, сохранившимися до наших дней... Кажется, что тот жаргон, который до сих пор сохранился среди „дедов" как ненужный остаток старины, также свидетельствует о существовании такой организации, для которой он служил ключом к взаимному пониманию". [75]

Участие деклассированных в революционных движениях эпохи первоначального накопления, как в городских революциях, так и в крестьянских восстаниях, неоднократно засвидетельствовано и западно-европейскими источниками. Так, документы по истории немецкого арго указывают, напр., на участие организованных нищенских банд в крестьянском восстании „союзного башмака" в Шварцвальде и на верхнем Рейне, под предводительством известного крестьянского вождя Иосса Фрица („Der Bundschuh von Lehen", 1513 г.).[76] Излагая содержание этих документов, Энгельс говорит: „Кроме более посвященных эмиссаров, бродивших по всей стране переодетыми в самые разнообразные одежды, для второстепенных поручений привлечены были бродяги и нищие. Иосс состоял в непосредственных сношениях с королями нищих и через их посредство имел в своем распоряжении весь многочисленный класс бродяг. Эти короли нищих играли в заговоре значительную роль. Они представляли из себя чрезвычайно своеобразные фигуры. Один из них странствовал в сопровождении девочки с будто бы больными ногами и собирал в пользу ее милостыню. У него на шляпе было более восьми эмблем („четырнадцать помощников в нужде",

св. Оттилия, св. дева и т. д.). Кроме того у него была длинная рыжая борода и толстая суковатая палка с кинжалом и колючкой. Другой просил во имя св. Валентина, продавая пряности и цитварное семя, носил длинный, стального цвета кафтан, красный берет с триентским младенцем, шпагу на боку, несколько ножей и кинжал за поясом; другие выставляли напоказ искусственно-растравляемые раны и носили соответственные причудливые костюмы. Их было, самое меньшее, десять человек: они должны были за вознаграждение в 2000 гульденов устроить поджоги одновременно в Эльзасе, маркграфстве Баденском и Брейсгау и явиться, по крайней мере, с 2000 своих людей в Розен в день храмового праздника в Цаберне, и, став там под начальство бывшего предводителя ландскнехтов Георга Шнейдера, захватить город". [77]

Впрочем, такие революционные выступления деклассированных элементов наблюдаются лишь в условиях особенного обострения социальной борьбы и редко достигают большой принципиальной высоты. Так, в эпоху крестьянской войны в Германии, по словам Энгельса, деклассированные участвуют не только в борьбе городских партий или в крестьянских заговорах и отрядах, „где каждую минуту выступало их деморализирующее влияние", они пополняют собою и ряды ландскнехтов „в победивших крестьян княжеских войсках". [78] Характерно, что немецкие ландскнехты, по свидетельству документов, также принадлежат к числу арготирующих профессий: по окончании войны, как сообщает Клейн (1598), они редко возвращаются „к какой-нибудь честной службе, ремеслу или работе", но, прожив полученное вознаграждение и добычу, становятся профессиональными нищими. [79] Все это имеет важное значение для понимания идеологии арго: социальная практика деклассированных, ве-

дущих партизанскую борьбу против классового общества с анархической точки зрения личных интересов, не может, конечно, подняться до принципиальных идеологических установок общественного класса, которому принадлежит историческое будущее.

Весьма важным фактором в развитии арго является смешанный состав больших воровских банд и чрезвычайная подвижность их сочленов, о которой свидетельствуют все источники. Среди кокильяров XV в., как показал Шампион, были, напр., выходцы из всех французских провинций, частично даже—из соседних государств (Испании, Савойи и др.): периодически они собирались в Дижоне, а затем уходили „на работу" в разные концы страны. [80] То же сообщается нам и о гильдбургхаузенской банде в XVIII в.: в ее состав входили элементы, „работавшие" в Швабии, Баварии, Саксонии, Ганновере и Гессене, и во всех этих местах у них были убежища. [81] Постоянные передвижения профессиональных нищих могут захватывать очень обширные районы: так, могилевские „старцы" ходят до Киева, бывают в Смоленской и в Минской губерниях, в монастырях Черниговской и даже Орловской губернии (Романов). [82] Центрами притяжения для деклассированных служат ярмарки и торговые города, являющиеся средоточием новой хозяйственной жизни в эпоху зарождения капиталистических отношений: во Франции, напр., Париж и Дижон, лежащий в центре Бургундии, одного из передовых участков капиталистического развития средней Европы в XV в., позже (в XVI—XVII вв.)— торговые города и приморские гавани Лангедока и Прованса; годовые собрания („генеральные штаты") французских арготирующих происходят на ярмарках в Пуату (Фонтенэ), как и, по наблюдению русских этнографов XIX в., какие-нибудь могилев-

ские „старцы" регулярно встречаются на ярмарках своего района. Таким образом, новые городские центры притягивают к себе не только растущую торговую и ремесленную буржуазию, но также и разнообразные пауперизованные и деклассированные элементы средневекового общества, будущую резервную армию пролетариата; однако, не будучи связаны имуществом и „честной" профессией, эти последние сохраняют гораздо большую подвижность, чем оседлые элементы городского общества.

Благодаря всем этим обстоятельствам арготическая лексика имеет в основном общенациональный (частично даже — интернациональный) характер: даже в Германии, классической стране языковой раздробленности, между воровскими арго Мюнхена и Гамбурга, Берлина и Вены (по записям XIX в.), несмотря на характерные местные различия, устанавливается довольно значительная общность лексического материала. Такое же сходство обнаруживается в записях русских этнографов между тайным языком „брянских старцев" (Орловской губ.) и „любецким лементом" могилевских нищих, который, в свою очередь, еще ближе совпадает, напр., с арго подольских или тарнопольских „лирников"; с другой стороны — тайный язык нищих обнаруживает не менее значительное сходство с арго бродячих ремесленников и торговцев (напр., черниговских шаповалов, владимирских „офеней", калужских „прасолов" и др.).

Таким образом, развитие арго представляет известное сходство с развитием национального языка, являясь как бы изнанкой того же социально-исторического процесса, приводящего, с одной стороны, к образованию городской буржуазии, господствующего класса будущего, с другой стороны—к массовой пауперизации трудящихся. В обоих случаях в результате разложения феодальных отношений

й поместно-территориальной замкнутости экономической и культурной жизни возникают „общие языки“, различные и даже враждебные друг другу по своей идеологии, причем их социальными носителями выступают новые общественные группы, порывающие с региональной связанностью и ограниченностью средневековья.

Кроме деклассированных в собственном смысле (нищих, бродяг, воров), в создании и распространении арго существенное участие принимали бродячие торговцы и ремесленники. Развитие этих крестьянских „отхожих промыслов“, сохранившихся, как пережиток и в капиталистическом обществе, тесно связано с той же эпохой разложения феодализма, ростом товарного производства и массовой пауперизацией обезземеленного крестьянства; подвижные среди прикрепленного к земле крестьянского населения, объединенные между собой профессиональными интересами и корпоративной организацией, эти бродяги, несмотря на „честную“ профессию, в бытовом отношении нередко самым тесным образом связаны с другими группами арготирующих, как полудеклассированные, и пользуются тайными языками, профессиональными жаргонами, в значительной степени совпадающими с лексикой воровских арго. Из французских арготических источников. „Веселая жизнь бродячих торговцев, нищих и цыган“ (1596) изображает такого коробейника (mercelot), странствующего по селам и ярмаркам, в самом интимном бытовом общении с бродягами и нищими и членом их тайной организации.[83] „Реформированное арго“ (1628) называет тех же бродячих торговцев изобретателями жаргона, которому от них выучились нищие, в свою очередь обучившие разорившихся торговцев искусству просить милостыню.[84] Немецкая „Книга бродяг“ („Liber vagatorum“, 1510) в числе опасных и по-

дозрительных бродяг всех родов называет и странствующих торговцев („Kremer"): „Берегись также торговцев, которые приходят к тебе в дом, ты не купишь у них ничего доброго, будь то серебро, мелочный товар („Krom"), пряности или другие вещи". [85] Среди бродяг („Lantfarer") названы также котельщики („Spengler"), т. е. бродячие ремесленники. [86] Интересно, что в старейших памятниках английского воровского арго (1560) это последнее носит также название „pedlar's french" („французский язык коробейников"): [87] „коробейники" отождествляются с другими бродягами, говорящими на тайном языке („cant").

Арго бродячих ремесленников и торговцев на Западе и у нас известно почти исключительно в поздних этнографических записях XIX в., сделанных в эпоху упадка и вымирания бродячих промыслов под натиском крупнокапиталистической промышленности и торговли. Немногочисленные записи, сделанные в Германии с середины 60-х гг., опубликованы Клуге в приложении к документам воровского арго („Rotwelsch", 1901). Тайным языком (так. наз. Kundensprache) пользуются странствующие подмастерья (Handwerksburschen), покидающие свою родину в поисках работы,—явление, имевшее здесь повсеместное распространение в эпоху цехового ремесла, но в настоящее время утратившее сколько-нибудь широкое значение. Кое-где удалось записать последние остатки арго бродячих торговцев (Krämersprachen)—там, где еще сохранилась отмирающая профессия мелочной деревенской торговли в разнос (Hausieren), в отдаленных сельских местностях Вестфалии (Зауерланд), Вюртемберга (Гогенцоллерн), Гессена и Пфальца и др. В целом ряде элементов эти арго совпадают с воровским языком (Rotwelsch). [88] Во Франции арго бродячих промыслов (argots des métiers) собрал и

исследовал Доза (1917).[89] В изданных им записях „франко-провансальских арго“ представлены бродячие торговцы-коробейники (colporteurs), сезонные сельскохозяйственные рабочие (жнецы, чесальщики льна и конопли) и представители других отхожих промыслов, также сезонных (каменщики, котельщики, трубочисты и др.). В гористых и малоплодородных областях юго-восточной Франции—в Юрских Альпах, Дофинэ, Савойе, Пьемонте — малоземельные и безземельные крестьяне в большом числе покидают родные деревни и в поисках заработка на определенное время года отправляются на отхожие промыслы в более отдаленные, богатые и хлебородные местности средней и южной Франции. Так, чесальщики льна из Юрских гор, по окончании жатвы, уходили на работу в Шампань, Лотарингию и Эльзас, артелями из трех человек, состоящими из хозяина, работника и мальчика, пользуясь своим арго только во время отлучек из деревни.[90] Жнецы из горного Дофинэ вместе с женами спускались на время жатвы в равнины Прованса и там говорили между собой на арго, „в особенности — чтобы жаловаться на своих хозяев“.[91] О савойских коробейниках, проводящих в отлучке весь зимний сезон, собиратель сообщает, что они „строго оберегали тайну своего языка“.[92] Все эти профессиональные арго имеют только местное распространение и заметные местные отличия, но вместе с тем они обладают значительным фондом общих слов, отчасти совпадающих со старым воровским арго.

Богатый материал по такого рода арго дают русские этнографические записи XIX в. Благодаря отсталости экономики старой России, средневековые формы торговли и ремесла сохранились здесь особенно поздно, и бытовые наблюдения над русскими арготирующими группами могут многое разъяснить

в аналогичных фактах возникновения и развития более старых и менее богато документированных западноевропейских профессиональных арго. По материалам, опубликованным собирателями-этнографами, тайными языками пользовались из бродячих торговцев („ходебщиков", „коробейников") владимирские „офени", калужские и одоевские „прасолы", кашинские „базарники", мелкие торговцы в городах Бежецке (Тверской губ.), Дорогобуже (Смоленской губ.), Галиче (Костромской губ.); из бродячих ремесленников—костромские шерстобиты, черниговские и могилевские шаповалы, калужские крестьянские портные и глинотопы, дорогобужские стекольщики и горшечники, тульские маляры и др.

Наиболее богатый материал, частично восходящий еще к XVIII в., существует о владимирских „офенях". Офенским промыслом в б. Владимирской губернии, в особенности в уездах Вязниковском и Ковровском, занимались целые деревни. В 50-х годах XIX в., в эпоху упадка офенской торговли, насчитывалось еще свыше 4000 ходебщиков в Ковровском и до 1000 в Вязниковском уезде; [93] по подсчетам другого исследователя, во Владимирской губернии офенским промыслом занималось 4 города, 40 сел и 99 деревень. [94] Причиной развития офенской торговли во Владимирской губернии явилось, с одной стороны, крайнее аграрное перенаселение соответствующих районов (напр., в Алексинской волости Ковровского уезда насчитывалось в 50-х гг. на 10 кв. верст до 4200 душ), [95] малоземелье и скудость почвы, благодаря которым крестьянское население не могло прокормиться одним земледелием. С другой стороны, крестьянской торговле способствовало развитие текстильной мануфактуры в соседнем Иванове, Шуе и Шуйском уезде, крестьянской кустарной промышленности в деревнях и круп-

ных ярмарочных центров в слободах Мстере и Холуе.[96]

„Действительно, чем не занимается владимирец!— пишет в 1866 г. Н. Трохимовский.—Здесь найдешь целые местности, занятые плотниками, кузнецами, скорняками, варежниками; целые деревни и села делают в огромном количестве горшки, дуги, повозки, деревянную посуду; другие занимаются портняжничеством, пишут иконы и т. д., и всем этим занимаются не отдельные личности, не десятки, а сотни людей, все это производится в количестве, далеко превосходящем местную потребность. Народные промыслы облегли офенский край со всех сторон: скорняки — вокруг Травина и Палеха и в Шуйском уезде; недалеко, в Шуйском уезде — делание сит; вокруг Малешина — делание повозок и деревянной посуды; в Гороховецком уезде в селе Пистяках и вокруг — варежники; к юго-западу от Вязников в Ковровском и Судогодском уездах — горшечники; среди самого офенского края в Холуе и Палехе (Вязниковский уезд) — иконописцы; в Ковровском — вокруг села Стекольного — портняжество; вокруг Красникова и Воскресенского — решетники и т. д. Все эти ремесла, развиваясь в народные промысла, требовали сбыта вне места производства, и офени доставили этот сбыт, развозя собственные произведения по губернии и далее за пределами ее. А неразвитость у нас промышленности и предприимчивости сделали офеней дорогими гостями от западного края до глубокой Сибири, от Владимира до Новороссии“. [97]

В середине XVIII в. владимирские „ходебщики“ из малоземельных крестьян становятся посредниками между центрами промышленного и кустарного производства в средней России и потребителями — крестьянами хлебородных губерний. В восьмидесятых годах XVIII в. составляются большие артели,

торговые компании с „паевым“ капиталом, выдвигаются отдельные крупные капиталисты (Дунаевы, Синельниковы, Юсовы), у которых мелкие ходебщики работают на положении приказчиков. Расцвет офенской торговли относят к первой половине XIX в. (до сороковых годов). С середины XIX в. развитие более современных форм капиталистической промышленности и торговли, проведение железных дорог и т. д. приводят к упадку архаической формы крестьянской торговли.[98]

Торговля „крестьянским товаром“ происходила в старой России в тех же примитивных формах, которые были характерны и для Запада на первых стадиях капиталистического развития. Офени уходили торговать на сезон, с осени (по окончании земледельческих работ) до раннего лета, и совершали за это время одну или несколько поездок, смотря по дальности расстояния. Покидали они деревню целыми партиями или артелями, товар несли за спиной в коробе или в двухколесной тележке (зимою — на салазках); те, кто богаче, имели телегу и при ней мальчика для присмотра. Свой товар они закупали на ярмарках в слободах Мстере и Холуе, в г. Вязниках, на Нижегородской ярмарке и даже в Москве. „В Холуйских ярмарках, — пишет И. Голышев (1874),— офени закупают более у приезжих на ярмарки торговцев, именно: красный панский товар (т. е. мануфактуру) у шуйских, ивановских и частью московских фабрикантов, деревенскую посуду, чашки, ложки, тарелки, блюда, ковши, веретена, деревенские прядильные и головные гребни у заводчиков села Пуреха и его окрестностей, стальные и железные изделия: замки, ножи, ножницы, вилки, топоры, ковши и т. п. из села Павлова Нижегородской губ., костяные гребешки и гребенки покупаются сотнями у торговцев с. Парского с окрестностями, галантерейный товар мелоч-

ной: пояски, шнурки, духи, помаду, мыло и пр. у вязниковских оптовых торговцев, металлические медные под названием нового золота и частью серебряные вещицы — крестики, кольца, серьги, перстеньки, ожерелья, брошки и т. п. — у торговцев и заводчиков с. Сидоровского, закупают тут же дубленые кожи, полушубки и овчины у торговцев с. Васильевского и Суздальцев". Кроме того, они торговали народными книгами и картинками и иконами местного производства.[99]

„Нет такого глухого селения, — пишет другой автор (1857), — которого не оживляли бы они своим появлением раза два в год и даже более. Надобно видеть офеней в селениях; тут они на просторе: торговля происходит под открытым небом, возы их окружаются бабами — та покупает медный крестик с гайтаном, другая поднизку, третья ситцу на ширинку или на рукава". Расчет за товары принимается не только наличными, но и продуктами крестьянского труда (холст, лен), ношенными вещами и т. д., которые перепродаются в следующих деревнях. Возвращаясь в родную деревню, офеня привозит дешевые местные товары — мед, пшено, горох, гречу, соленую рыбу, сальные свечи, сахар с заводов и т. д.[100] В условиях полунатурального и мелкого товарного хозяйства с слабо-развитым обменом такая торговля с рук носит местами почти меновой характер.

Но, как все примитивные торговцы, офени занимались не только торговлей. По свидетельству Голышева, „ходебщик" знает и другие промыслы: он — ворожея, гадальщик, знахарь, коновал. Он продает всевозможные снадобья — от зубной боли, корчи, для изгнания нечистого духа, от лихорадки-кумохи, окуривает скотину от домового, снабжает влюбленных „приворотными" и „отворотными" корешками. Как шутник и балагур, офеня имеет в запасе тысячи

анекдотов и рассказов, острот на всякий случай. Когда старший торгует, мальчуган, который помогает ему в работе, нередко просит милостыню под окнами.[101] Таким образом, в условиях неполной профессиональной специализации, характерных для примитивной торговли, создаются предпосылки для бытовой связи между странствующими торговцами и другими бродячими профессиями — с одной стороны, и собственно деклассированными — с другой, явление, неоднократно отмеченное в западноевропейских документах по истории старых арго.

Большинство офеней, выходцев из крестьянской бедноты, работало не самостоятельно, а в качестве приказчиков у крупных капиталистов-купцов, или кредитовалось у таких капиталистов, которым за предоставленную ссуду выпадала львиная доля барыша. Материально-бытовое положение мелких ходебщиков, по свидетельству Голышева,[102] было часто довольно тяжелое. Благодаря этому о профессиональной честности таких коробейников местное население было, повидимому, не очень высокого мнения.

Сходство с офенями представляли одоевские прасолы (Тульской губ.); однако торговля их носила еще более примитивный полуменовой характер. „В самом деле,—пишет в „Тульских губернских ведомостях“ один наблюдатель (1870),—изумляешься неистощимой оборотливости и жизненному терпению прасола, с товарною котомкою на плечах (у счастливцев найдется и лошаденка с упряжью) проходящего в сотый раз места своего уезда и предлагающего крестьянскому люду за горсть пеньки, несколько фунтов тряпок, десяток яиц и прочие вещи из сельской жизни — свои платочки, тесемочки, крючки, пуговки и другой товар; укажи надобность, прасол не откажется продать или променять на подходящий продукт свою телегу и лошадь, свои сапоги и какую-нибудь другую вещь из своего

скудного гардероба... Часто у оборотливого торговца, при возвращении из уезда в Одоев, увидишь на телеге и шкуру с лошади, и пеньку, и тряпку, и вощину, и щетину; всей этой композиции, купленной иногда на занятые деньги, прасол тотчас же находит место и — опять на промысел".[103]

Из бродячих ремесленников, описанные В. И. Чернышевым, крестьяне-портные Мещовского уезда (Калужской губ.) уходили на работы в губернии Калужскую, Орловскую и на юг до Харьковской.[104] Дрибинские шаповалы (Могилевской губ.) покидали свои деревни на зимний сезон: около Покрова-дня они отправлялись на намеченный заработок партиями в 8—10 человек; дойдя до известного пункта, партия разбивалась попарно и расходилась по различным волостям, распределенным по соглашению. Работали вдвоем на дому у крестьянина, заказчик давал стол и помещение и небольшую плату. Заработок шаповалов был очень невелик.[105] По свидетельству Николайчика (Новозыбковский уезд Черниговской губ.), „в местах своих странствований и на родине шаповалы приобрели репутацию довольно ловких воришек и обманщиков".[106] Кое-где еще в конце XIX в. среди ремесленников этого типа сохранились остатки корпоративной организованности, цеховых порядков.[107] Как причину возникновения отхожего промысла всюду называют малоземелье крестьянского населения.

Своим тайным языком эти разнообразные группы бродячих торговцев и ремесленников пользуются исключительно вне дома во время сезонных отлучек на работу и строго охраняют его тайну от непосвященных.[108] Совместные странствования артелью или парами (как у дрибинских шаповалов), в компании с мальчиком (как у владимирских офеней) — создают бытовые условия, в которых „свой" язык становится средством социальной самозащиты

среди чужих. „Наше дело такое,—говорил Срезневскому один владимирский ходебщик (1839),—ходим по чужим местам. Не ровен случай; под иной час надо товарищу что-ни есть сказать такое, чтобы свой брат только и понял".[109] Начиная свои странствования с детского возраста, в качестве „мальчиков", сопровождающих отца или работающих у хозяина, офени усваивают профессиональное арго вместе с бытовой практикой своей профессии. Характерно, что хозяйки, остающиеся в деревне за крестьянской работой, нередко не знают „офенского языка" своего мужа. „Женам на что? Дома сидят"— отвечал Срезневскому тот же офеня.[110]

С упадком бродячей торговли и ремесла, вытесняемых развитием капиталистического хозяйства, арго утрачивает свое профессиональное назначение, теряет прежнюю профессиональную замкнутость, перестает быть тайной. „Пока базарная торговля процветала, — пишет И. Смирнов, изучавший язык кашинских торговцев, — мазовский язык составлял тайну, вполне известную лишь завзятым базарникам. Но с упадком торговли этот язык постепенно стал выходить из употребления у базарников (особенно молодых) и, потерявши значение секрета, сделался известен многим и другим „горожанам" (вовсе не занимающимся базарной торговлей), хотя последние „переняли" из этого языка далеко не все, что знали старинные базарники и знают теперь немногие старые мазы".[111]

Профессиональные арго офеней, прасолов, портных, шерстобитов и других бродячих торговцев и ремесленников, записанные этнографами XIX в., по всей вероятности, являются лишь пережитком гораздо более распространенного и значительного социального явления, характерного для ранних стадий разложения феодальных отношений. Несмотря на большую территориальную разбросанность, слу-

чайный и неполный характер самих записей, эти арго по своему лексическому составу имеют много общих элементов как между собой, так и с тайными языками нищих старцев, лирников и других деклассированных; в то же время каждое из названных арго обнаруживает также специфические отличия, являясь как бы одним из вариантов общего языка (или точнее — общего лексического фонда). Бытовая близость всех бродячих профессий между собой, их тесное соприкосновение с деклассированными, о котором упоминалось неоднократно, их большая подвижность в очень широких географических границах определила те тенденции к лексическому сближению и обобщению, которые наблюдаются во всех арго, как и в аналогичном процессе образования национальных языков на основе замкнутых поместно-территориальных диалектов средневековья; однако корпоративная замкнутость отдельных профессиональных групп, характерная для эпохи мелкого товарного производства, поддерживает противоборствующую тенденцию к сохранению частичного своеобразия отдельных профессиональных жаргонов.

Этнографические записи профессиональных арго, сделанные почти исключительно в XIX в., застают эти тайные языки уже в условиях отмирания и вырождения, обусловленных постепенным вымиранием, под натиском крупной капиталистической промышленности и торговли, тех архаических профессий, которые пользовались этими тайными языками. Вместе с тем при развитии капитализма окончательно исчезает характерная для мелкого товарного производства корпоративная замкнутость профессий. Деклассированные также перестают быть профессионально организованной корпорацией и растворяются в демократических „низах" городского населения. В связи с этим арго теряет свою преж-

нюю замкнутость и тайный профессиональный характер. Исследователи современного парижского арго констатируют, что в настоящее время арго перестало быть тайным языком и растворилось в городском просторечии, окрашивая жаргонными элементами обиходный язык широких демократических „низов" парижского населения. Сенеан пишет об этом следующее: „Такое все более энергичное проникновение жаргонных элементов в парижский народный язык, существовавший уже целые столетия, является лингвистическим фактом огромной важности. Медленное и почти незаметное в первой половине XIX в., оно становится всеобъемлющим во второй его половине, изменяя общий характер народной лексики". „Современное арго стало другим названием для парижского просторечия".[112]

Наблюдения над языком Берлина[113] и Лондона подтверждают положения Сенеана: для английского городского жаргона существует даже специальный термин — slang (слэнг).[114] Однако наблюдения над судьбами современного арго, сделанные буржуазными лингвистами, не дают достаточно четкой и дифференцированной социальной картины: несомненно, как по количеству арготизмов, так и по их лексическому отбору, существуют значительные различия между разговорным языком парижского апаша, остающегося попрежнему арготирующим по преимуществу, индустриального или ремесленного рабочего, мелкого лавочника, клерка или студента и художника. Эти различия прикрываются таким общим и неточным выражением, как „городское просторечие". Чтобы внести ясность в этот вопрос, нужны новые материалы и прежде всего — более четкие и правильные методологические установки.

Превращение арго в „слэнг" означает, в сущности, конец старого арго, как профессионального языка деклассированных и близких к ним общест-

венных групп, возникшего в определенных условиях исторического развития, в эпоху разложения феодальных отношений и первоначального капиталистического накопления. Новое арго приближается к типу жаргона, но имеет более широкую социальную базу, чем старые профессионально-корпоративные жаргоны. Арготическая лексика, утратив свой профессиональный и секретный характер, служит средством эмоциональной экспрессии, образного, эвфемистического, иронического словоупотребления в сфере повседневного бытового общения. Теряя свою специфику, она приобретает более зыбкий и неопределенный характер, причем главенствующую роль играют в ней на этой новейшей стадии метафорические иносказания, как способ экспрессивного переосмысления стандартов национального языка.

Отдельные арготизмы издавна проникали в состав национальных языков. В большинстве случаев из языка деклассированных заимствуются названия предметов и понятий, специфических для быта этой социальной среды; однако с течением времени такие заимствования, утрачивая свой профессиональный характер, могут приобретать более широкий смысл. К словам арготического происхождения относятся, напр.: нем. Schwindler „обманщик", foppen „обманывать", stibitzen „красть" (stitzen — со вставкой слога -bi-), Ranzen „ранец" (первоначально — „нищенская сума") и др.; франц. polisson „шалун" (< аргот. „вор" — от polire аргот. „красть"), dupe „жертва обмана", abasourdir „ошеломлять" (< аргот. „оглушать ударом"), narquois „хитрый", „лукавый" (первоначально одно из названий воровского арго), fourbe „плут" (аргот. „вор") и др.; русск. жулик (аргот. „мелкий вор"), мазурик (старое аргот. прозвище петербургских воров), шустрый („острый", с аргот. приставкой шу-), двурушник (аргот. „нищий, собирающий милостыню двумя руками") и др. В кон-

це XIX в., в связи с изменением общего характера арго, наблюдается, как уже было указано, широкое проникновение арготизмов в разговорный язык всех слоев западно-европейского общества: в языке господствующего класса это щеголяние арготизмами, введенное в моду артистической богемой, является одним из признаков бытового разложения, характерного для империалистической буржуазии.[115] В русском языке широкий разлив арготизмов наблюдался в первые годы революции, в особенности — в речи учащейся молодежи. В эту эпоху получили распространение слова: шамать, шпана, буза, шкет, засыпаться, подначивать, заначить, липовый и мн. др. Однако организованный отпор, который встретило это явление в советской общественности, положил предел дальнейшему распространению арготизмов; и лишь немногие из названных слов более или менее удержались в обиходном языке.[116]

Развитие арготической лексики в разных европейских языках обнаруживает в основном одинаковые тенденции, обусловленные сходством общественных условий, в которых находятся арготирующие, и тем самым — общими чертами психологии и идеологии отдельных национальных арго. Как тайный язык специального, профессионального назначения, арго пользуется тремя основными принципами засекречивания: 1) условным искажением слов; 2) иноязычными заимствованиями; 3) переосмыслением лексического материала родного языка (с помощью семантических сдвигов и соответствующих приемов словообразования).

Условные искажения слов, до сих пор широко распространенные среди школьников всех стран, как своеобразная языковая игра, не оказали особенно глубокого влияния на арготическую лексику Запада. Немецкие авторы XVI—XVII вв., писавшие о тайных языках (Турнейсер, 1583 г., Швентер, 1620 г.,

известный грамматик Шоттель, 1663 г.), упоминают о целом ряде приемов такого рода под рубрикой арго (Rotwelsch).[117] Среди перечисленных приемов встречаются перестановки звуков: напр., Teper вм. Peter, feiren вм. reifen или chi sum muz schit вм. ich muss zum Tisch;[118] встречаются также добавления или вставки определенных слогов: напр., dupu вм. du, gehpeh вм. geh или gipib вм. gib, dipir вм. dir и т. д.[119] Последний прием до сих пор встречается у немецких школьников под названием Bi-Sprache („Язык би");[120] ср. аналогичную систему в языке русских школьников: прики беке жака лики (= „прибежали"). Однако в немецком воровском арго насчитывается всего несколько слов, построенных по принципу искажения, притом — в сравнительно поздних памятниках (XVIII в.): напр., tulerisch вм. lutherisch, ückbre вм. Brücke, appeke вм. Kappe и немногие другие.[121] Точно так же незначительную роль играют подобные приемы и в старом французском арго: ср. linspré вм. prince (Видок, 1837 г.).[122] На этом принципе, однако, был построен жаргон корпорации парижских мясников, так наз. loucherbème (искажение слова „boucher" — „мясник"), из которого в современное парижское арго проникло несколько слов.[123] Гораздо большее применение находит у французов искажение слов с помощью произвольных словообразовательных суффиксов, напр., icigo, icicaille вм. ici („здесь"), nouzailles вм. nous („мы"), vouzailles вм. vous („вы"), boutanche вм. boutique („лавка"), portanche вм. portier („дворник"), dorancher вм. dorer („золотить"), jarnaffe вм. jarretière („подвязка") и др.[124] Особенно широкое распространение этот принцип имеет в некоторых профессиональных жаргонах, напр. у лотарингских литейщиков, исследованных Доза. Ср. aidancher вм. aider („помогать"), entrancher вм. entrer („входить"), jeudanche вм. jeudi („четверг"), dedaniche вм. dedans („внутри"), boiso

вм. bois („лес“), mateau вм. matin („утро“) и мн. др.[125] В русских арго бродячих торговцев, ремесленников и нищих, судя по записям, сделанным в XIX в., приемы такого рода получили большое распространение. Важнейшие типы искажения зарегистрированы Ягичем.[126] Напр., с приставкой звука или слога: шутро (утро), шурман (карман), шусто (место), шиблоко (яблоко), шилго (долго); или кучар (вечер), кулото (золото), курнуться (вернуться), кудро (ведро); или бе-ён (он), бехто (кто), бетак (так); со вставным слогом: труймудзюбка (трубка), лиймудзист (лист), пеймудзешком (пешком); с искажающими суффиксами: водмать (водить), стрегомить (стеречь), костожка (кость); страхомный (страшный), зворить (звать), учорить (учить) и мн. др. Впрочем, есть основание думать, что и здесь это — сравнительно новое явление. По крайней мере, Романов, исследователь языка белорусских нищих, сообщает о факте вытеснения более старого арго новой системой условных искажений. „Любецкий лемент“, т. е. старое арго могилевских нищих, по наблюдениям Романова (1890), вымирает. „Нищенская молодежь изучает его неохотно и, повидимому, обрекла его на забвение, употребляя по преимуществу „отверницкую говорку“, т. е. обыкновенный белорусский язык, но с прибавлениями и вставками в слова особых частиц (хер, ку, шу, ша — це, уймуд)“. В Минской губернии эта говорка „вошла во всеобщее употребление и, по словам любков (т. е. нищих), почти вытеснила оттуда любецкий лемезень, бывший в употреблении еще лет десять назад“.[127] Такую же борьбу наблюдал В. Добровольский в Перемышльском уезде Калужской губернии между старым арго и говором „по щам“ (шов-роц — „ров“, шечь-пец — „печь“, го-ша-рац — „гора“ и т. д.).[128] Сравнительно слабое распространение этих приемов в собственно „воровских“ арго, особенно — в старых,

объясняется легкой доступностью для постороннего такого „шифра".

Иноязычные элементы попадают в арго благодаря пестрому составу воровских и нищенских шаек, их подвижности в пределах и за пределами национальной территории и наличию особенно благоприятных условий для их распространения и деятельности в пограничных районах (Бургундии, Савойе, Пиренеях, Литве, Галиции и т. п.). Функция иноязычных элементов в арго — иная, чем в национальном языке. В последнем иноязычные слова заимствуются для обозначения новых предметов и понятий, проникших в данную национальную среду в результате культурного обмена и потому не имеющих своего, национального названия. В арго иноязычные слова употребляются для самых обычных бытовых и профессиональных понятий, имеющих в общем языке свои стандартные обозначения, и служат приемом засекречивания с помощью непонятных слов.

В немецком арго эту функцию выполняют слова древнееврейского происхождения, заимствованные из новоеврейского языка (идиш). В условиях экономического гнета и социального бесправия старого гетто евреи иногда выступали в Германии и Польше в социальных ролях, сближавших их с деклассированными. Новоеврейский язык, возникший на основе немецких диалектов, был непосредственно понятен каждому немцу, а входящие в его состав лексические гебраизмы могли служить удобным приемом засекречивания.

К числу наиболее обычных слов еврейского происхождения, засвидетельствованных в немецком арго уже с XVI в., относятся, напр.: acheln „кушать", lehem или lehm „хлеб", johem „вино", genfen „красть", galach „поп" (первоначально — „бритый", „тонзурованный"), mackum „город", schmiere „стража",

„охрана“, kies „деньги“ и мн. др.[129] Другие иноязычные элементы в немецком арго не играют сколько-нибудь существенной роли: несколько французских заимствований, напр. barlen „говорить“ (фр. parler), grandig „большой“ (фр. grand); несколько латинизмов или псевдолатинских искажений, напр. patris и matris („отец“ и „мать“, конец XVIII в.), nobis „нет“ (нем. nein), tribis „три (нем.“ drei), свидетельствующих о роли арготирующей „интеллигенции“, бродячих клириков, отбившихся от науки студентов или нищенствующих монахов.[130] Цыганские элементы в немецком арго появляются сравнительно поздно (XVIII—XIX вв.) и также не очень многочисленны: напр., marro „хлеб“, manger „нищий“, schückel „собака“, schorren „красть“ (цыг. tšor), откуда Schurrersprache „воровской язык“.[131] Зато они играют существенную роль в английском воровском жаргоне и в особенности в новой форме испанского и португальского арго (так наз. calò и calao).[132]

Исследователи русского воровского языка и родственных типов русских арго установили в них также наличность большого числа иноязычных элементов, немецких, древнееврейских, турецко-татарских, цыганских, новогреческих и др. К сожалению, географические районы распространения этих заимствований установлены недостаточно точно, как и социальные условия их проникновения в русское арго. Вероятно, кроме непосредственного территориального соприкосновения в этом процессе сыграли известную роль бродячие ремесленники и торговцы соответствующих национальностей, напр. татары — старьевщики, цыгане — барышники и кузнецы, греки — торговцы в Причерноморьи; о евреях уже было сказано выше.

Немецко-еврейские элементы проникли в русское воровское арго с западных границ, из Литвы, Белоруссии и Украины, непосредственно из новоеврей-

ского языка (идиш) или через посредство немецкого, польского и украинского арго, пропитанных в свою очередь идишизмами: напр., блат (нем. аргот. platt „свой“, „заслуживающий доверия“: собственно — „говорящий на своем языке“); шмира „охрана“, „стража“ (нем. аргот. Schmiere из др.-евр.); галах „босяк“ (нем. аргот. „поп“ из др.-евр. „бритый“); зухер „сыщик“ (нем.-евр. Sucher); шварц-вейс „паспорт на чужое имя“ (нем. „черное-белое“) и мн. др.[133]

Турецкие заимствования распространялись по преимуществу с Поволжья и Приуралья, где еще в XVIII в. собиралась бежавшая из крепостной России „вольница“, отчасти, может быть, из Крыма: напр., акча „деньги“, калым „барыш“, басать „резать“, бика „женщина“, счетные слова вроде беж „5“, жармасс „20 руб.“, или с „50“ и мн. др.[134]

Греческие слова шли с юга, из Новороссии, где греки издавна вели обширную торговлю, напр. ёрый „старый“, микрый „малый“, петрусовый „каменный“, кресо „мясо“, декон „десять“ и т. д.[135]

Цыгане, кочевавшие по всей России и всюду находившиеся на положении деклассированных, могли вступать повсюду в соприкосновение с арготирующими. Русское арго очень богато цыганизмами: напр., ракло „вор“, гра или грас „лошадь“, мандра „хлеб“, рай „полиция“, ларва „проститутка“ [136] и мн. др.

Наиболее обширная группа лексических арготизмов состоит из слов общего языка, употребляемых в переносном значении: при этом семантические сдвиги могут сопровождаться словообразовательными изменениями. С точки зрения семантической структуры в составе национальных элементов арго мы различаем эпитеты и метафоры. В эпитетах название предмета замещается его признаком (свой-

ством или действием); напр., корова называется в русском арго рогаткой, во французском — cornante, в итальянском — cornuta, в испанском — cornante, в немецком — Hornickel. В языке русских нищих „солнце“ получает прозвище сиянка, „снег“ — белюс или сиворец, „яблоко“ — вислятка, „ворота“ — скрипцы, „вожжи“ — крутни и т. д. Французское арго называет ночь — brune („темная“, „брюнетка“), немецкое — die Schwärze („чернота“). Ср. еще фр. battant, palpitant — „сердце“ (= „бьющееся“), dure — „камень“ (= „твердый“), trottin — „нога“ (= „ходун“); нем. Schreiling — „ребенок“ (= „крикун“), Rauschert — „солома“ (= „шуршанка“).[137]

В метафорах название предмета или действия заменяется образным выражением, иносказанием. напр., нем. Wetterhahn „шляпа“ (собственно — „флюгер“), Reenwurm „колбаса“ („дождевой червь“), pfeifen „доносить“ (= „свистеть“); фр. balai „жандарм“ (= „метла“), cuiller „рука“ (= „ложка“), flûtes „ноги“ (= „флейты“), casser sa pipe „умереть“ (= „разбить трубку“) и др.[138] Метафорические иносказания являются основным методом языкового новотворчества в арго. В соответствии с этим даже иноязычные заимствования часто подвергаются метафорическому переосмыслению („народной этимологии“) по принципам арготической семантики. Напр., в немецком арго Kies „деньги“ (< др.-евр. kis „кошелек“) переосмысляется как „щебень“ (нем. Kies); Moos „деньги“ (< др.-евр. mâ'oth > нов.-евр. môs „мелкая монета“) входит в систему арготической семантики как мох (нем. Moos), а в студенческом жаргоне порождает выражение „Moses und die Propheten“ („Моисей и пророки“ — намек на еврейских ростовщиков); Schmiere „стража“, „охрана“ (< др.-евр. schemirâh „охрана“) приобретает значение „смазка“ (от нем. schmieren „мазать“), вследствие чего профессиональный термин воровского языка schmiere stehen

„сторожить“ (во время воровства) заменяется семантически тождественным „Butter stehen“ (Butter — нем. „масло“). Точно так же цыганское rat („ночь“) становится в новом немецком арго Ratte (нем. „крыса“), а цыганское štilepen „тюрьма“ — в жаргоне бродячих ремесленников stille Penne („тихое убежище“).[139] Во французском арго наблюдаются аналогичные случаи метафорического переосмысления устаревших арготических слов, связанных с искажающим словообразованием: marque „проститутка“ становится marquise („маркиза“), cogne „жандарм“ („стукалка“ — от cogner „стучать“) превращается в cognac („коньяк“), cigue „золотая монета“ (= „диск“, лат. ciclus) преобразуется в cigale „кузнечик“. Каламбурный характер обнаруживают арготические словообразования типа cauchemar („кошмар“) в значении cocher („кучер“), philantrope („филантроп“) вместо filou („жулик“), orphelin („сирота“) в смысле orfèvre („ювелир“) и т. п.[140]

Метафорическая семантика арго развивается обычно синонимическими рядами, так что в различных языках направление развития в целом ряде случаев оказывается одинаковым („dérivation synonimique“ — „синонимическое словопроизводство“).[141] Такой семантический параллелизм объясняется общностью социальной психики в аналогичных условиях общественного развития. Особенно богаты метафорами современные арго (типа „слэнг“), в которых жаргонные иносказания теряют тайный характер и служат средством эмоциональной экспрессии. Напр., для слова „голова“ современное французское арго пользуется следующими рядами синонимических метафор: I. названия плодов — poire („груша“), pomme („яблоко“), pêche („персик“), citron („лимон“), noisette („орех“), citrouille („тыква“), ciboulot („луковица“); II. круглые сосуды — cafetière („кофейник“), bouillotte („котелок“), burette („маслянка“), carafe („графин“),

fiole („флакон“) и др.; III. другие круглые предметы — boule („шар“), bille („бильярдный шар“), balle („мяч“), bobine („катушка“) и др.[142] Аналогичные арготические метафоры встречаются и в других европейских языках, напр. англ. nut („орех“), cocoanut („кокосовый орех“), onion („луковица“), turnip („свекла“), calabasch („тыква“); нем. kürbis („тыква“); датск. paere („груша“), krukke („кувшин“) и др. [143] Современное французское tête и немецкое Kopf являются такими же народно-латинскими жаргонными выражениями (testa — „черепок“, coppa — „чашка“), заменившими исконное латинское caput (старофранц. chief) и германское haubid (нем. Haupt).

Такими метафорами, иногда чрезвычайно многочисленными, обрастают в арго в особенности те основные понятия, вокруг которых вертится жизнь деклассированного и которые являются стержнем его идеологии — кража, убийство, полиция и суд, деньги, женщина и половая любовь. Эмоциональная значимость для арготирующего таких центральных понятий вызывает нагромождение синонимических иносказаний экспрессивного характера, постоянно обновляемых в процессе словотворчества: явление, которое так ярко сказалось в окопном жаргоне эпохи мировой войны. В самом характере метафорического переосмысления этих понятий обнаруживается своеобразная идеологическая направленность; язык становится орудием социальной борьбы, идеологической переоценки общественных отношений, которая осуществляется заменой традиционных и общепринятых слов-понятий национального языка новой арготической лексикой.

Мировоззрение деклассированного представляет более или менее осознанную критику определенных сторон существующих общественных отношений. Правда, эта критика носит партизанский, анархический характер, она не продиктована складывающейся

революционной идеологией подымающегося общественного класса, которому принадлежит будущее. Ирония и юмор, насмешка и презрение к существующему порождаются не столько положительным социальным идеалом, сколько нигилистическим отрицанием всех общезначимых социальных ценностей, анархическим бунтарством и циническим аморализмом. Тем не менее метафорические сдвиги и переосмысления, характерные для семантики арго, раскрывают своеобразную идеологию, основанную на враждебности к социальным идеалам и общественной морали господствующего класса, закрепленным в национальном языке.

Так, „убийство" — это официальное, стандартное наименование преступления, осуждаемого государственным законом, церковным мировоззрением и общественной моралью. Напротив, для арготирующего убийство — только „мокрое дело", убить — значит „успокоить", „уговорить", „записать", „пришить", „приткнуть", „сложить", застрелить это — „шлепнуть", „плюнуть", кровь это — „клюквенный сок"; в немецком арго убить — „отправить восвояси" (heimschicken); во французском — „остудить" (refroidir), „усыпить" (endormir), „успокоить" (apaiser), „пустить кровь" (saigner), „надрезать пилой" (sionner), „снять" (descendre, degringoler) и т. п. Точно так же „кража" в мировоззрении и языке господствующих классов расценивается как преступное покушение на частную собственность, окруженную в буржуазном мировоззрении определенными правовыми и моральнообщественными санкциями. Иронические иносказания арго, носящие характер эвфемизмов, ставят эти санкции под сомнение и тем самым колеблют установленные оценки. Украсть значит „очистить" (nettoyer), „полировать" (polire, fourbire), „полоскать" (rincer) и т. п.; или „зацепить когтями" — фр. griffer, нем. klauen, „ущипнуть" — фр. pincer. В других случаях

для кражи употребляются профессиональные эвфемизмы, напр. дело" (affaire) или „работа" (ouvrage), вместо „красть" говорят „работать" („обработать") — фр. travailler, исп. trabajar, или „собирать жатву" — фр. vendanger. Напротив, „честная" работа, т. е. в условиях капиталистического общества — работа на хозяина, осмысляется как подневольный, каторжный труд: ср. фр. piocher „копать землю", abattre, bûcher „рубить лес" (ср. в языке немецких рабочих schuften — „возить тачку").

С точки зрения миросозерцания арготирующих заслуживает внимания семантика слов, обозначающих „деньги". Деклассированный демонстрирует в них некоторое напускное презрение к основному двигателю общественной и частной жизни в буржуазном обществе. В немецком арго деньги обозначаются как „солома" (Heu), „пыль" (Staub), „пепел" (Asche), „порох" (Pulver), „дым" (Qualm), „щебень" (Schiefer, Schutt) и т. п.;[144] в эту же категорию попадают переосмысленные гебраизмы Kies („щебень") и Moos („мох"); ср. также англ. muck („навоз"), фр. plâtre („штукатурка"). Немецкому Blech („жесть") соответствует фр. zinc („цинк"); немецкому Linsen („чечевица") — англ. beans („бобы"), фр. radis („редиска"); французскому grain („зерно") — исп. grano. В то же время в современном французском арго деньги обозначаются как „масло" или „смазка" (beurre, graisse, huile, onguent), как „каша", „похлебка", „жаркое" (gruau, fricot) и пр.; ср. ит. polenta („каша").

Государство борется с деклассированными с помощью полиции и тюрем. С точки зрения буржуазного общества, „полицейский" заслуживает уважения как вооруженный хранитель закона, господствующего в классовом государстве. Напротив, арготирующие в своей партизанской борьбе с этим государством чаще всего сталкиваются именно

с полицией, и эта постоянная борьба находит себе выражение в семантике арго.[145] В старом немецком арго XVI в. „стражник“ носит прозвище „хорька“ (Iltis); современный полицейский носит каламбурную кличку „полип“ (Polyp), „пугало“ (Butz) и т. д.; ср. в польском арго — паук (pajok). Остроконечная каска немецких полицейских подала повод для целого ряда иронических прозвищ: напр., Spitzkopp („остроголовый“), Blechkopp („жестяная голова“), Blitzableiter („громоотвод“) и т. д. Французские жандармы называются „ищейками“ (renifle) — ср. русск. „борзой“, „лягавый“; „стуколками“ (cogne, cognard, cognac), „метлами“ (balai), „козлами“ (bouc), „коровами“ (vache) и др.; они хватают „невинных“ (grippe-Jésus), „торгуют наручниками“ (marchands de lacets); целая семантическая серия приписывает им свойства „освещать“ городские трущобы (lampion, bec de gaz, chandelle, cierge и др.). Характерно для бытовых отношений эпохи законов против нищих французское прозвище мирового судьи — bâton („палка“).

Тюрьма на всех языках называется „ящиком“, „сундуком“ — ср. фр. coffre, malle, boite, caisse; нем. Kasten, Kiste, Döse, Käfig („клетка“); русск. мешок, конверт; сходное значение имеют ит. cavagna и исп. banasto („корзина“). Горести тюремной жизни напоминают образные выражения немецкого воровского языка: напр., Laushütte („вшивая хижина“) — ср. русск. „клоповник“, Hungerturm („голодная башня“), Knochenmühle („костяная мельница“), das graue Elend („серое горе“ — с каламбурным переосмыслением названия тюрьмы Graudenz). Иронически тюрьма — „исправительное заведение“ официального языка — называется „школой“: ср. нем. Schule (школа), Seminar („семинария“), höhere Töchterschule („женское училище“); фр. école préparatoire („приготовительная“, собственно „низшая“ школа), collège, lycée (гимназия); англ. boarding school („пан-

сионат" — „закрытое учебное заведение"), college (колледж); итал. studi („школа"); русск. „мазовская академия". Тюрьма — это „гостиница" (нем. Kurhotel, Gasthof zur akademischen Freiheit); ср. русск. „гостиница", „дядин дом", „царева дача", „романовский хутор"; или тюрьма—„больница" (фр. hôpital), заключенный — „больной" (malade), судебное дело — „лихорадка" (fièvre, при дурном исходе — „воспаление мозга", fièvre cérebrale), судебный защитник (адвокат) — „доктор" (médecin) или „мойщик белья" (blanchisseur) — ср. русск. „прачка". Орудия казни и самую казнь окружает своеобразный „висельный юмор", порожденный страхом и отвращением и окружающий предмет страха эвфемистическими выражениями. В старом немецком арго „виселица" — Feldglocke („полевой колокол"), во французском — Abbaye de Monte à Regret (каламбур: „аббатство влезай неохотно"). Гильотину называют „костылем" (béquille), „скамейкой" (banc), „вдовой" (veuve); повешение — „женитьба" (mariage); „быть повешенным" (позже — „гильотинированным") — „жениться на вдове" (épouser la veuve). Эпоха французской революции вызвала необычайное эмоциональное возбуждение комплекса представлений, связанных со смертной казнью: массовые публичные казни эпохи террора окружили гильотинирование необыкновенно богатой арготической лексикой—напр., „укоротить" (raccourcir), „просунуть голову в окно" (mettre la tête à la fenêtre), „плевать в мешок" (cracher dans le sac), „играть в шар" (jouer à la boule) и мн. др. [146] Это — явление вполне аналогичное отмеченному в солдатском жаргоне эпохи мировой войны.

Таким образом семантика арго обнаруживает тенденцию к идеологической перестройке национального языка и к соответствующей переоценке языковыми средствами господствующей идеологии классового общества. Но языковой бунт арготирующих

носит разрозненный и случайный характер, в соответствии с социальной практикой деклассированных. За ним не стоит никакого положительного мировоззрения, и в этом его отличие от языковой идеологии революционного класса, которому принадлежит будущее.

## Глава шестая

# ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЯЗЫКЕ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА

Эпоха капитализма, создавая национальные языки, вместе с тем обнаруживает растущую тенденцию к преодолению их национальной замкнутости и обособленности. В этом смысле национальные языки следуют общему закону, управляющему национальным развитием в буржуазном обществе.

„Развивающийся капитализм, — говорит по этому поводу Ленин, — знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.

„Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм". [1]

Тенденция к ломке национальных перегородок в языках капиталистической эпохи выражается в мощном росте интернациональной лексики. При развитом капитализме интернациональные элементы завоевывают в словарях отдельных национальных языков едва ли не господствующее положение. Все стороны культурной жизни — наука и техника, политика и искусство — обслуживаются интернациональной лексикой, так что на долю коренных, национальных слов в конце концов остается сравнительно узкая область интимного бытового общения, так наз. обиходного языка. В количественном отношении словари иностранных слов, более или менее полные, включающие специальную терминологию отдельных наук, насчитывают до 80 000—100 000 интернациональных слов; в сравнительно кратком „Словаре иностранных слов, вошедших в русский язык" (Из-во „Советская энциклопедия", 1933) содержится 25 000 слов. Однако в условиях капиталистического развития с неизбежностью возникают и противоборствующие националистические тенденции, отстаивающие национальную замкнутость, „чистоту" национального языка (так наз. „пуризм").

Проблема международных заимствований в языке, как и в литературе и в других областях идеологического творчества, связана с неравномерностями и отставаниями, характеризующими развитие всякого классового общества, в особенности — общества капиталистического. Маркс говорит: „Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего". Отсюда Маркс делает вывод: „Всякая нация может и должна учиться у других".[2] Но экономическое и культурное влияние народа более передового на более отсталый неизбежно связано с влиянием языковым: вместе с новыми явлениями и идеями усваиваются их словесные обозначения, обогащающие идеологический

инвентарь „учащихся“, помогающие перестройке их идеологии на основе изменившейся социальной практики.

Так, древние германцы, войдя с I в. до нашей эры в длительное соприкосновение с римлянами, испытывают на протяжении нескольких столетий влияние более высокой культуры своих соседей. Скованные в своих передвижениях стеною римских крепостей и военно-торговых колоний, они вынуждены перейти к оседлой жизни, к разделу земли между домохозяевами и к более интенсивным формам земледелия по римскому образцу. Римские купцы проникают в область поселения германцев; пограничная полоса заселяется римскими ветеранами; в свою очередь германские дружинники служат наемниками в римских легионах. В условиях разложения родового быта германцы вместе с более высокой земледельческой культурой перенимают у римлян названия новых для них земледельческих орудий — напр., flagellum>flegel (цеп), secula>sichel (серп); термины виноделия, занесенного в долину Рейна римскими ветеранами, — напр., vinum>wîn „Wein“ (вино), vinitor>winzer (виноградарь), acetum>essig (уксус), mustum>most (сусло), copa>kufe (чан), bicarium>becher (кубок) и др.; названия культурных растений, связанные с развитием овощного хозяйства и плодоводства, — напр., caulis>chôl „Kohl“ (капуста), cucurbita>kürbis (тыква), cerasus>kirsa „Kirsche“ (вишня), prunum > pfrûma „Pflaume“ (слива) и мн. др. Вместе с каменными постройками римского типа, заменяющими прежние плетеные шалаши (вначале, вероятно, у дружинной аристократии, будущего класса феодалов), появляется соответствующая терминология строительного дела — напр., murus>mûra „Mauer“ (каменная стена — вместо прежней плетеной стены: Wand, от слова winden — „вить“), tegula>ziegel (кирпич), pilarium>pfîlâri „Pfeiler“ (каменный столб),

porta > pforte (ворота), calcem > kalk (известь) и др. Развитие римской колониальной торговли с германцами отражается в словах: caupones (торговцы вином) > готск. kaupôn (покупать), нем. kaufen; moneta > munizza „Münze“ (монета), pondo (весом) > pfund (фунт) и др. Военные столкновения германцев с римлянами, в особенности — знакомство с оборонительными сооружениями на германской границе засвидетельствованы словами: vallum > wall (вал), palus > pfal „Pfahl“ (деревянный столб в частоколе), strata (via) (военное шоссе, „выстланная“ дорога) > strâzza „Strasse“ (дорога, улица) и др. Наконец, вместе с христианством, к германцам проникает словарь римской церкви, напр. monasterium > münster (собор), claustrum > kloster (монастырь), crucem > krûzi (крест), presbyter > priester (священник) и мн. др. Эти древние заимствования, проникшие в западногерманские наречия в эпохи, предшествующие великому переселению народов, в большинстве случаев подверглись столь значительным языковым изменениям, что давно уже утратили свой иноязычный характер. [3]

В эпоху развитого феодализма (XII—XIII вв.) Германия заимствует из Франции, передовой страны феодальной культуры Запада, предметы и понятия нового рыцарского быта и идеологии и соответствующие словарные термины. Мы уже видели, что заимствованиями и переводами с французского в значительной степени определяется основное идеологическое содержание сословно-классового языка немецкой феодальной аристократии, а также рыцарской поэзии эпохи расцвета феодализма. [4]

В редких случаях можно констатировать обратное движение. Феодальная Германия столкнулась с славянами на восточных границах средневековой германской империи (X—XIV вв.): однако длительные военные столкновения, захват и колонизация населенных славянами заэльбских земель, торговые

сношения с западнославянскими народами, сохранившими государственную самостоятельность (Чехией, Польшей), — все эти исторические события отразились в средневековом немецком языке лишь малочисленной группой заимствованных слов, относящихся преимущественно к области сельского хозяйства. Ср. творог — twarc „Quark“; сметана — smant „Schmant“ или smetten „Schmetten“; крупа — grûpe „Graupe“; огурец (польский ogurek)>gurke; хомут — kummet; бич—pîtsche „Peitsche“, работа robott „барщина“ и др.[5] Все эти слова проникли в литературный немецкий язык из восточной Германии и частично до сих пор имеют территориально-ограниченное распространение; характерно, что современные крестьянские говоры этой области содержат еще ряд слов такого же рода, не проникших в литературный язык. Таким образом, проникновение славянизмов в средневековый немецкий язык шло „снизу“ (частично, вероятно — от эксплоатируемых захватчиками крепостных-славян) и ограничилось немногочисленными провинциальными словами для обозначения сельскохозяйственных продуктов и предметов крестьянского инвентаря, имеющих местный характер. Напротив, число немецких заимствований в языках западных славян (чехов, поляков) и народов Прибалтики (латышей, эстов) значительно и состоит по преимуществу из „культурных“ слов.

Явления такого рода наблюдаются и в эпоху капитализма по отношению к языкам культурно-отсталых народов. Из этих языков проникли в европейские языки главным образом названия местных продуктов, экспортируемых в Европу: напр., через испанский — маис (Гаити), банан (африк.), батат „картофель“ (мексик.), через французский—каучук (южноафрик.) и др. Кроме того, в литературном языке встречаются названия некоторых экзотических жи-

вотных и растений и этнографических особенностей туземного быта, поразивших внимание колонизаторов: напр., через французский — шимпанзе (Конго), орангутанг (малайск.), табу (полинез.); через английский язык и англо-американскую литературу (романы Купера) — вигвам, мокасин, томагавк (из языка американских индейцев) и др.[6] Напротив, туземные языки восприняли из европейских значительное число „культурных“ слов.

Языковые взаимодействия докапиталистической эпохи носят местный, исторически ограниченный характер. В эпоху капитализма, с развитием экономических и культурных связей в международном масштабе, эти взаимодействия приобретают характер интернациональный. „Своей эксплоатацией всемирного рынка буржуазия преобразовала в космополитическом духе производство и потребление всех стран. К великому огорчению реакционеров, она лишила промышленность национальной почвы... Прежние потребности, удовлетворявшиеся с помощью местных продуктов, заменились новыми, для удовлетворения которых необходимы произведения отдаленнейших стран и разнообразнейших климатов. Прежняя местная и национальная замкнутость и самодовление уступают место всестороннему обмену и всесторонней взаимной зависимости народов как в области материального, так и в области духовного производства. Плоды умственной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и более невозможными, и из многих национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература“ („Манифест Коммунистической партии“[6a]). Эта „...всемирно-историческая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок, к стиранию национальных различий“ (Ленин)[7] — проявляется в истории националь-

ных языков интенсивным ростом международного лексического фонда, благодаря широкому обмену между отдельными национальными языками (так наз. „странствующие слова") и одновременному развитию особой категории интернациональных „культурных" слов латинско-греческого происхождения.

Направление языковых взаимодействий капиталистической эпохи определяется неравномерностями развития капитализма: ведущая роль в процессе языкового обмена переходит от одной страны к другой, в соответствии с общим ходом экономического и культурного развития. Так возникает особая категория „странствующих слов" (Wanderwörter — термин Элизы Рихтер):[8] слова эти обходят все европейские страны, из стран передовых передвигаются в более отсталые, обозначая, как вехи, пути культурного развития.

В XV в. и первой половине XVI в. очагом распространения таких странствующих слов является Италия, передовая страна раннего капитализма. В эпоху итальянских войн при дворе французских королей царят итальянские моды, литература и искусство итальянского Возрождения служат образцами для подражания, язык аристократии окрашен „итальянизмами", вызывающими негодование идеологов-националистов из буржуазных кругов (напр., Henri Estienne).[9] Итальянизмы XV—XVI вв., осевшие во французском языке, в разное время были переданы дальше языковым вассалам Франции и вошли в состав интернациональных элементов большинства европейских языков, как обозначения для возникших в Италии того времени предметов и понятий новой культуры. Они относятся к тем сферам общественной жизни, в которых в эту эпоху влияние Италии особенно заметно — к области военного дела, мореплавания, финансов, искусства (архитек-

туры, живописи, несколько позже — музыки), придворного этикета и др. Терминология военного дела свидетельствует о роли Италии XV в. в развитии военного искусства и организации регулярной наемной армии взамен старого феодального ополчения: ср. солдат — ит. soldato (=„наемник“)>фр. soldat нем.; батальон — ит. battaglione > фр. bataillon нем.; бригада — ит. brigada > фр. brigade нем.; ит. colonello (=„начальник колонны“, полковник) > фр. colonel англ.; капрал — ит. caporale>фр. caporal нем.; атака — ит. attaca > фр. attaque нем. англ.; кавалькада — ит. cavalcata > фр. cavalcade нем. англ. и др. С развитием денежного хозяйства и кредита связаны термины из области финансов: банк — ит. banca (= скамейка менялы)>фр. banque нем. англ.; кредит — ит. credito>фр. credit нем. англ.; баланс — ит. bilancia (= „весы“, „равновесие“)>фр. bilan>нем. Bilanz; миллион — ит. millione (= „большая тысяча“)>фр. million нем. англ. и др. В связи с постройками нового типа, вытеснившими средневековую архитектуру, входят в употребление: балкон — ит. balcone>фр. balcon нем.>англ. balcony; галерея — ит. galleria>фр. gallérie нем.; фасад — ит. facciata>фр. façade>нем. fassade; салон — ит. salone>фр. salon нем. и мн. др.[10]

В эпоху абсолютизма XVII—XVIII вв. передовой страной становится Франция. Германия, благодаря своей экономической отсталости и политической раздробленности, находится в отношении культурного развития на положении провинции Франции. При немецких дворах говорят и пишут по-французски, немецкий язык „эпохи модников“ (à la mode-Zeit) пересыпан французскими словечками, за французскими модами и вкусами, царящими среди дворянства, тянется верхушка городского патрициата. В разной степени влияние французского придворно-аристократического языка эпохи абсолютизма на

дворянское общество ощущается и в других странах Европы (в частности — в России во второй половине XVIII и начале XIX в.): французский язык на некоторое время становится международным языком „светского общества“. „Эта великая честь,—пишет Лафарг,—досталась аристократическому языку только потому, что в Европе Франция была единственной страной, где дворянство, сосредоточившись вокруг своего феодального повелителя, создало обширный двор и достигло галантности и изящества, которыми восхищалась и которым подражала аристократия остальных европейских стран“.[11] Впрочем, уже в XVII в. в Германии против наплыва иностранных слов выступают языковые академии (Sprachgesellschaften), руководимые учеными поэтами и грамматиками из бюргерства, защитниками национальной чистоты языка. Но только в XVIII в., с начала нового подъема буржуазного развития Германии, вместе с возникновением национальной буржуазной литературы, намечается эмансипация от гегемонии более развитой и сильной соседней культуры.

Французские элементы в международной лексике очень разнообразны по своему составу; но для придворно-аристократической культуры эпохи абсолютизма особенно характерны заимствования из области моды, светской жизни, развлечений и этикета, костюма, домашней обстановки, предметов роскоши, кулинарии и т. д. Ср. напр.: мода — фр. mode нем.; туалет—фр. toilet нем.; мебель — фр. meuble>нем. Möbel; будуар — фр. boudoire нем.; комод — фр. commode нем.; корсет — фр. corset нем.; пальто — фр. paletot нем.; ассамблея — фр. assemblée нем.; иллюминация — фр. illumination нем.; отель — фр. hôtel нем.; элегантный — фр. élégant нем.; галантный — фр. galant нем.; этикет — фр. étiquette нем.; комплимент — фр. compliment нем.; дама (мадам) — фр. dame (ma-

dame) нем.; бульон — фр. bouillon нем.; омлет — фр. omelette нем. и мн. др.

Очень характерно для этой эпохи развитие утонченной психологической терминологии, ориентированной на специфические черты бытовой психологии привилегированного класса. Напр., деликатный — фр. délicat нем.; экстравагантный — фр. extravagant нем.; фривольный — фр. frivol нем.; аффектированный — фр. affecté > нем. affektiert; фр. prude нем. („преувеличенно стыдливый"); фр. pervers нем. („извращенный"); фр. perfide нем. („коварный") и мн. др.[12] Сословно-классовый характер этого языка, как и лежащей в его основе социально-бытовой психологии людей „старого режима", выступает здесь особенно отчетливо. Борьба буржуазного пуризма против иностранщины в таких случаях приобретает характер неосознанного или сознательного протеста против классово-чуждых языковых влияний. Гете влагает в уста своей героини Аврелии (в „Вильгельме Мейстере") такую характеристику французского слова „perfide": „Слава богу, я не нахожу подходящего немецкого слова, чтобы выразить понятие perfide во всем его охвате. Наше бедное „treulos" (неверный) кажется по сравнению с ним невинным младенцем. Perfide означает неверность с упоением, с задором и злорадством. Можно завидовать развитию нации, умеющей в одном слове выразить столько оттенков".[13]

Рядом с французским дворянским языком, начиная с XVIII в., широкое влияние приобретает язык буржуазной литературы эпохи Просвещения, в особенности — в области общественно-политической. Но решающее значение в этом смысле принадлежит эпохе революции, когда Франция вводит в международный оборот множество новых слов, относящихся к новым явлениям и понятиям политической жизни буржуазного общества.[14] От прежних

французских заимствований эти слова отличаются своим интернациональным, латинско-греческим происхождением. Идеологи восходящей буржуазии учились ставить политические проблемы современности на исторических „уроках“ Греции и Рима: поэтому политическая лексика революционной буржуазии создается в основном на латинско-греческом материале. Значительная часть политического словаря французской революции встречается уже в ученых трактатах XVI — XVII вв., посвященных античной истории, и приобретает современное значение у теоретиков буржуазного Просвещения XVIII в.: напр., аристократия (aristocratie), демократия (démocratie), монархия (monarchie), анархия (anarchie), республика (république), пролетарий (prolétaire) и др. Слова революция (révolution), конституция (constitution), социальный (social), патриотизм (patriotisme), (общественный) класс (classe) встречаются уже в предреволюционную эпоху. Революция, однако, активизировала эти слова в сознании современников, наполнив их новым актуальным содержанием и придав им характер политических лозунгов (Schlagwörter), связанных с интересами дня. „Я хотел бы подсчитать,— пишет в 1801 г. немецкий писатель Лихтенберг,— сколько раз слово революция произносилось и печаталось в Европе за восьмилетия с 1781 по 1789 и с 1789 по 1797. Отношение вряд ли было больше, чем 1 : 1 000 000“.[15] Поэтому словари неологизмов, подводящие итоги революционным сдвигам во французском языке, регистрируют такие слова, как новые. Об этом свидетельствуют и субъективные показания современников, в особенности — политических врагов. Напр., Людовик XVI пишет 17 июня 1789 г. в своем обращении к представителям третьего сословия: „Я не одобряю повторяющегося выражения „привилегированные классы“ („classes privilégiées“), которое третье сословие употребляет для обозначе-

ния двух первых (les deux premiers ordres): эти необычные выражения служат только поддержанию духа раздора".[16]

Активизация политического словаря революционной буржуазии проявляется, между прочим, в массовых новообразованиях от особенно активных слов: напр., революция — революционный, революционер (révolutionaire), контрреволюция (contre-révolution), социальная революция (révolution sociale); также демократия — демократ (démocrate), монархия — монархист (monarchiste), анархия — анархист (anarchiste) и др. Новый политический смысл приобретают слова коалиция (coalition), реакция (réaction), организация (organisation), употреблявшиеся прежде исключительно в естественных науках; ср. также организовать (organiser), дезорганизация (désorganisation), дезорганизовать (désorganiser). Различные стороны революционной практики отражают, напр., террор (terreur), террорист (terroriste), пропаганда (propagande — из обихода католической церкви), централизация (centralisation), сепаратизм (séparatisme), административный (administratif), идеолог (idéologue), либеральный (libéral) и мн. др. Поскольку в эпоху борьбы буржуазии за политическое господство опыт французской революции приобретает международное значение, политический словарь революционной Франции и весь активизованный революцией запас слов буржуазной публицистики эпохи Просвещения в кратчайший срок становится международным достоянием. Конечно, это не относится к той части революционного словаря, которая имела лишь местное и временное значение, напр. civisme („гражданственность", „политическая благонадежность"), déprétriser („расстричь священника", буквально „распопить"), mitraillade („расстрел картечью"), septembriseur („участник сентябрьской расправы с контрреволюционерами") и мн. др.

До революции 1848 г. Франция сохраняет ведущую роль в вопросах политической идеологии. На ранних стадиях рабочего движения, в связи с развитием утопического социализма, возникают и получают из Франции международное распространение такие слова, как социализм (socialisme), коммунизм (communisme), капитализм (capitalisme), пролетариат (prolétariat) и некоторые другие.[17]

С XVIII в. начинает выступать языковое влияние Англии как передовой страны капитализма, отставая, однако, довольно заметно от соответствующего влияния английских политических учреждений, английской философии и литературы, английских нравов. Лишь начиная с промышленной революции, в особенности же — в эпоху расцвета капитализма и довоенного империализма, экономическая и политическая гегемония английского капитала прокладывают путь для заметных языковых влияний международного характера. Английские слова в составе интернациональной лексики относятся к области общественно-политической жизни, торговли, промышленности и финансов, железнодорожного дела и мореплавания; они охватывают также бытовую сферу „светской жизни“ буржуазного общества, салонного общения, развлечений и спорта, в которых английские моды сменили итальянские XV—XVI вв. и французские XVII—XVIII вв., как знак социального авторитета и культурной гегемонии. Напр., общественная и политическая жизнь: парламент (parliament), биль (bill), бюджет (budjet), митинг (meeting), лидер (leader), интервью (interview), репортер (reporter). Мореплавание: кабина (cabine), яхта (yacht), док (dock), балласт (ballast) и др. Железнодорожное дело: вагон (waggon), рельсы (rails), локомотив (locomotive), тендер (tender), туннель (tunnel), трамвай (tramway), и др. Экономическая жизнь: импорт (import), экспорт (export), банкноты (bank-notes), чек (cheque), облига-

ция (obligation), трест (trust) и др. Промышленность (в особенности текстильная): фланель (flanel), шевиот (cheviot), плед (plaid), шаль (shawl) и мн. др. Спорт: спорт (sport), бокс (box), жокей (jokey), матч (match), рекорд (reckord), гэйм (game), тренироваться (train), тенис (lawn-tennis), турист (tourist) и мн. др. „Светская" жизнь: дэнди (dandy), сноб (snob), флирт (flirt), клуб (club), комфорт (comfort), тост (toast) и т. д.[18] Многие английские слова, ставшие интернациональными, образованы от французских или латинских, как и вообще значительная часть английского словаря, не только международного; но именно в английском языке они получили то специальное значение, с которым вошли в состав интернациональной лексики (ср., напр., парламент, импорт, репортер, комфорт, рекорд и др.).

Немецкие элементы в международном словаре весьма незначительны. Экономическая и культурная отсталость Германии XVII—XVIII вв. ставила ее в культурно-подчиненное положение по отношению к передовым странам капиталистического Запада. В XIX в., в особенности — во второй его половине, это положение изменяется, однако — не настолько, чтобы можно было говорить о сколько-нибудь существенном вкладе Германии в языки старых культурных наций. До последнего времени знание немецкого языка в Англии и Франции было редкостью, даже среди буржуазной интеллигенции; к тому же немецкий язык, по сравнению с языками романскими и даже английским, находился в невыгодной изоляции, будучи лишен опоры в латыни, служившей для всех народов Запада главной сокровищницей интернациональной лексики. Поэтому те немногие слова, которые проникли в международный оборот из немецкой науки и техники, либо являются интернациональными учеными терминами греко-латинского происхождения, не имеющими национальных

языковых признаков (напр., телеология — термин Х. Вольфа, социал-демократ — 1848), либо переведены с немецкого на соответствующие национальные языки. В последней группе отметим ряд философских терминов — напр., Weltanschauung — мировоззрение, Ding an sich — вещь в себе и др.[19] и политическую лексику немецкого рабочего движения и научного социализма Маркса и Энгельса: напр., Klassenkampf — классовая борьба (фр. lutte de classes); Diktatur des Proletariats — диктатура пролетариата (фр. dictature prolétarienne); Mehrwert — прибавочная стоимость (фр. plus-value), Weltmarkt — мировой рынок и мн. др.

Напротив, для более отсталых в культурном отношении народов восточной и северной Европы, Германия, как уже сказано, была одним из очагов влияний западной культуры, проводником которых служил немецкий язык. Немецкие заимствования и международные слова в немецком оформлении изобилуют в языках славянских, напр. в русском, польском, чешском; из языков Прибалтики — в эстонском и латышском; из скандинавских — особенно в датском. Относительно последнего Маркс и Энгельс писали в 1848 г.: „Как ни бессильна была издавна Германия, но она может чувствовать удовлетворение, что скандинавские нации и, в частности Дания, попали под ее влияние, что по сравнению с ними она была даже революционною и прогрессивною страною".[20]

В русском языке массовое проникновение немецких „культурных слов" начинается в эпоху Петра I, свидетельствуя о том, что включение петровской России в экономические, политические и культурные отношения с Западом совершается в значительной мере через посредство Германии. Немецкие заимствования в языке петровской эпохи относятся по преимуществу к области администрации, военного дела, горного дела, математических и есте-

ственных наук; в мореплавании гегемония принадлежала Голландии и Англии; в области мод и светской жизни первое место занимала Франция, влияние Германии имело более скромные размеры. Например: ратман, камергер, полицмейстер, бухгалтер, штраф; фельдфебель, унтер, юнкер, фельдмаршал, штаб, пакгауз, гауптвахта, лагерь, шанцы; штейгер, шахта; фельдшер, шприц; галстук, локоны и мн. др. Из Германии (частью — через посредство Польши) проникают в ту же эпоху еще более многочисленные интернациональные слова латинского и греческого происхождения: напр., контора, инспектор, президент, документ, патент, нумер, рекрут, факультет, фабрикант и мн. др. Признаком немецкого происхождения служит национальное оформление этих интернациональных слов: ср. контора (нем. Kontor, польск. kantor — фр. contoire), нумер (нем. Nummer, польск. numer — фр. numéro), проект (нем. Projekt — фр. projet) и др.[21] Аналогичные явления наблюдаются в большинстве языков восточной и северной Европы: в истории этих языков немецкий выступает проводником интернациональных культурных тенденций, подобно французскому в западной и южной Европе.

Наконец, в эпоху всеобщего кризиса капитализма и пролетарских революций наиболее активным очагом международных языковых влияний становится Советский Союз. Русский язык — как язык передового отряда мировой социалистической революции и ее вождей, Ленина и Сталина, становится для капиталистического Запада, в условиях назревающей революционной ситуации, носителем идеологических влияний социалистической революции. Интернациональную значимость приобрели, напр., слова „совет“, „большевик“, „колхоз“, „кулак“ и некоторые другие. Ленин говорил еще в 1919 г.: „Мы достигли того, что слово „Совет“ стало понятным на всех языках“.[22]

„...Везде в мире слово „Совет“ стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся“.[23] „В самых глухих углах, в каком-нибудь итальянском Пошехонье, собираются батраки и рабочие и заявляют: мы приветствуем германских спартаковцев и русских „советистов“ и требуем, чтобы их программа стала программой рабочих всего мира“.[24] Но кроме таких „советизмов“, заимствованных непосредственно в русской языковой форме, для обозначения новых предметов и понятий, созданных социалистической революцией, существуют гораздо более многочисленные переводные „советизмы“. Ср., напр., пятилетка — нем. Fünfjahrplan, англ. five year plan, фр. plan quinquennel; ударник — нем. Stossarbeiter, англ. shoc-worker, фр. ouvrier de choc; социалистическое соревнование — нем. sozialistischer Wettbewerb, англ. socialist competition, фр. émulation socialiste; самокритика — нем. Selbstkritik, англ. selfcriticism, фр. autocritique и мн. др. [24a]

Главным проводником этих новых интернациональных понятий и слов является пролетарская, коммунистическая печать всего мира, но они проникают широкой струей и в буржуазную печать, подготовляя идеологическую перестройку национальных языков Европы. В немецком языке до фашистского переворота эти влияния были наиболее заметны; с одной стороны, благодаря экономическим и культурным связям Германии и СССР, с другой — вследствие интенсивного роста коммунистического движения, широкого развития партийной прессы и пролетарской литературы. Но особенно важное место занимают такие интернациональные „советизмы“ в языках народов СССР, непосредственно участвующих в социалистическом строительстве: будучи результатом коллективного опыта революционной перестройки общественных отношений и сознания

людей, они отражают в национальной языковой форме интернациональное содержание новой социалистической культуры.[25]

Рядом с „странствующими словами“, принадлежащими отдельным национальным языкам, основным источником международной лексики в эпоху капитализма являются слова в собственном смысле интернациональные, заимствованные из древних языков, латинского и греческого, или вновь образованные из лексических и грамматических элементов этих языков. В эпоху феодализма, как уже было сказано, латинский язык служил для народов католического Запада интернациональным языком клерикальной письменности — науки и просвещения, развивающихся в рамках церковного мировоззрения. В эпоху разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений мощный подъем национального сознания ведет к созданию богатой светской литературы на национальных языках, но образцы для этой литературы заимствуются из классической древности, на которую молодая буржуазия опирается в борьбе против феодально-клерикального мировоззрения средних веков (эпоха Возрождения, XV—XVI вв.). С развитием буржуазных отношений происходит секуляризация научной мысли, развиваются математика и естествознание, расширяется географический и исторический кругозор, возникает светская философия, основанная на „опыте“ или на „разуме“ (эмпиризм и рационализм). Но и светская наука опирается на античную традицию в борьбе против средневекового мировоззрения, и латынь остается на долгое время языком науки и университетов и занимает первое место в школьном преподавании.

В различных странах Европы, в зависимости от интенсивности буржуазного развития, процесс национализации науки совершается с различной быст-

ротой. Во Франции борьба за науку и университетское преподавание на национальном языке разыгрывается уже в XVI в. К этому времени относятся первые, правда — единичные, попытки чтения лекций на французском языке, по примеру Италии, передовой страны эпохи раннего капитализма (грамматик Рамюс, математик Форкадель). В конце XVI в. уже существуют многочисленные французские книги по вопросам математики, астрономии, физики, медицины, юриспруденции, истории, лингвистики, богословия и философии.[26] Декарт в послесловии к „Рассуждению о методе" (1637) мотивирует употребление национального языка в философском сочинении разрывом со схоластическими традициями старой науки. „Если я пишу по-французски, на языке моей страны, вместо латыни, языка моих учителей, это потому, что я надеюсь, что о мнениях моих будут правильнее судить те, кто пользуется только своим чистым природным разумом, чем те, кто верит исключительно древним книгам".[27]

В отсталой Германии этот переворот совершается в основном только в XVIII в. Первые университетские лекции на немецком языке читает Томазиус (1687). Лейбниц (1646—1716) пишет свои философские и научные трактаты по-латыни и по-французски; только ученик его Вольф выступает с серией немецких учебников по всем отраслям университетского преподавания, которые, благодаря своей широкой популярности, сыграли существенную роль в создании научной терминологии на национальном языке.[28] Однако до конца XVIII в. латинский язык продолжает оставаться международным языком научного общения и играть ведущую роль в среднем и высшем образовании. Во Франции, напр., полная национализация просвещения является завоеванием эпохи революции.

Но этим не исчерпывается роль античных языков в развитии национальной культуры буржуазного общества. Именно пример французского языка XVI в. показывает, что национализация науки теснейшим образом связана с латинизацией национальных языков, с проникновением в лексический состав этих языков многочисленных латинских и греческих терминов, заимствуемых для обозначения предметов и понятий науки, которые до того времени имели исключительно классические названия. Уже французский гуманист Oresme (1380), первый переводчик Аристотеля, вынужден признать, что он заимствовал из своего оригинала такие „иностранные слова“ как анархия (anarchie), аристократия (aristocratie), демократия (démocratie), монархия (monarchie), политика (politique), экономия (économie), период (période), поэма (poême), мелодия (mélodie) и др.[29] В произведениях Раблэ насчитывается 952 латинских и 517 греческих слов. К числу тех слов, которые сам Раблэ считает нужным объяснить как новые для французского читателя, относятся, напр., катастрофа (catastrophe), мифология (mythologie), сарказм (sarcasme), период (période) и др.[30] Против „латинских пенкоснимателей“ (escumeurs de latin) выступают буржуазные пуристы, защитники национальной чистоты языка (уже в 1529 г. — Geoffroy Tory, автор „Champ fleury“).[31] Однако стихийный процесс наводнения национальных языков латинско-греческими словами продолжается с растущей интенсивностью во всех странах Европы от эпохи Возрождения до наших дней. При этом „учеными“ латинизмами пользуются не только такие науки, как медицина и фармакология, химия, ботаника и зоология, геология и палеонтология, нуждающиеся в узко-специальной терминологии для обозначения болезней и лекарств, химических соединений, растительных и животных видов, напластований и

ископаемых. Математика, физика, биология, науки общественно-исторические, философия, политика, искусства, а с XIX в. и техника, широко применяют слова „ученого“ происхождения для обозначения предметов и понятий, которые прочно вошли в общественный обиход и мировоззрение господствующих классов буржуазного общества, как основное содержание его материальной и духовной культуры.

Таким образом, рядом с обиходной бытовой лексикой на национальных языках создается интернациональная лексика науки и культуры, в основном — одинаковая у всех европейских народов и примыкающая к латино-греческой культурной и языковой традиции.

Крестьянские диалекты, однако, остаются незатронутыми этим движением, характерным для языка буржуазного общества, культура которого всегда остается классовой привилегией. Это обстоятельство кладет еще новую социальную грань между диалектами и национальным языком. „Франция, — пишет по этому поводу Дармстетер, — разделена в настоящее время на два класса: огромное большинство, народ, говорит по-французски; незначительное меньшинство, просвещенное и всемогущее, говорит на языке, смешанном из французского и латыни...“[32]

Лингвистический материал различных европейских языков оказался в различной степени восприимчивым к интернациональным тенденциям буржуазной эпохи. Языки неолатинские (романские) — итальянский, французский и др. — легче всего могли ассимилировать латинизмы, являющиеся лишь архаическими разновидностями национальных слов. Французский язык знает многочисленные примеры „народных“ и „ученых“ дублетов (mots populaires — mots savants), более или менее близких или диффе-

ренцированных по своему значению: напр., фр. frêle— лат. fragile (хрупкий), фр. loyauté (лояльность) — лат. légalité (легальность), фр. sévrer — лат. séparer (разделять), фр. poison (яд) — лат. potíon (питье) и мн. др. В XVI в. многие исконно-французские слова даже подверглись частичной латинизации: фонетической — напр., avare вм. avere (скупой), instrument вм. estrument (инструмент), septembre вм. settembre (сентябрь); или чисто-орфографической — напр., nid вм. ni (гнездо), doigt вм. doit (палец) и др. С другой стороны, латинское происхождение и внешний облик французских и итальянских слов придали им, так сказать, более интернациональный характер и облегчили их проникновение в другие европейские языки под видом латинизмов, интернациональных культурных слов.

К романским языкам частично приближается и английский. Языковое смешение, вызванное норманским завоеванием, привело к проникновению в англо-саксонский язык столь значительного числа старофранцузских (норманских) слов, что английский язык на исходе средневековья становится, по своей лексике, языком наполовину романским. Начиная с эпохи Возрождения, происходит массовое проникновение в английский язык латинских и французских слов, облегченное частичной романизацией английской лексики в предшествующий исторический период. Эти слова легко ассимилировались, примыкая к старофранцузской лексике; ср. в современном английском такие дублеты: ст.-фр. estate (англ. поместье) — лат. state (государство); ст.-фр. colour (цвет) – лат. discoloration (обесцвечивание); ст.-фр. leal (верный) — лат. legal (законный) и мн. др. В настоящее время каждое четвертое или пятое слово латинского словаря, по подсчетам Иесперсена, в той или иной форме встречается в английском языке.[33] „Постепенно сложилось сознание,—утверждает проф. Брэдлей,—

что весь латинский словарь, или по крайней мере та часть его, которая встречается в наиболее популярных классических текстах, потенциально принадлежит английскому языку; если требуется новое слово, то гораздо легче и привычнее, с точки зрения наших литературных навыков, заимствовать слово латинское, придав ему английский вид, или построить новое слово из латинских элементов, чем образовать производное или сложное слово от соответствующих английских корней".[34] По подсчету лексикологов в английском словаре около 75% французско-латинских слов и всего около 25% англо-саксонских.[35] Однако такой обезличенный подсчет не дает представления о функциональной роли тех и других лексических элементов и о их употреблении в языках различного типа. Так, в обиходной лексике англо-саксонский элемент сохраняет господствующее положение. Относительно языка научного можно сослаться на утверждение того же Брэдлея, быть может — несколько преувеличенное, что на протяжении целых страниц англосаксонский элемент может не превышать 5% общего состава лексики, если исключить служебные слова (артикли, местоимения, вспомогательные глаголы).[36]

Напротив, в языках германских и славянских интернациональные слова ученого латинского или французского происхождения резко выделяются на фоне национальной лексики. Это создавало видимость оправдания для националистического пуризма, для борьбы с интернациональными словами как с „иностранщиной" (так в особенности — в Германии). С другой стороны — это обстоятельство служило существенным препятствием для более широкого проникновения в интернациональную лексику слов германского и славянского происхождения: слова, заимствованные из этих языков, в гораздо большей степени сохранили свой особый

местный колорит и национально-ограниченный характер.

Интернациональная лексика, построенная на материале античных языков, не могла ограничиваться узкими рамками подлинного классического наследия. Поскольку латинский язык (в меньшей степени — греческий) оставался на протяжении столетий не только международным научным языком, но до второй половины XIX века — более или менее обязательным элементом общего (классического) образования господствующих классов, для новых понятий науки и культуры, выходящих за пределы бытового обихода, создавались новые слова из того же лексического материала классических языков, понятного вне национальных границ и сохранившего всеобщую международную значимость. Большинство таких слов было неизвестно древним грекам и римлянам и не встречается ни в одном словаре классических языков. Напр., слово „мануфактура“ (фр. manufacture из лат. manus „рука“ + facere „делать“: собственно „ручная работа“, „рукоделие“) возникает в XVI в. вместе с началом развития капиталистической промышленности. „Революция“ (фр. révolution из лат. revolvere, -lutus „возвращаться назад“), обозначавшая в научном языке XVII в. отклонение в движении планет, приобретает в буржуазной публицистике XVIII в. значение политического переворота, народного восстания, и в этом значении закрепляется историческим опытом французской революции. „Либеральный“ (фр. libéral от лат. liber „свободный“) служит для обозначения буржуазной политической партии, идеология которой слагается в начале XIX в. непосредственно после крушения революции. „Биология“ (греч. „наука о жизни“) является созданием нового естествознания XIX в. „Социология“ (фр. sociologie) — термин Огюста Конта („Traité de sociologie“), в котором со

вторым греческим элементом („наука") сочетается первый латинский (socialis — „товарищеский", „союзнический") — в новом значении, восходящем к французской буржуазной публицистике XVIII в. (фр. social — „общественный", „социальный"). „Империализм" (англ. imperialism от лат. imperium) входит в употребление в конце XIX в. для обозначения политических принципов колониальной экспансии Британской империи; в XX в. им обозначаются аналогичные принципы внешней политики других „великих держав", а Ленин придает этому слову новый смысл своим анализом „империализма, как высшей стадии капитализма". „Телеграф" и „телефон" обозначают технические изобретения XIX в. с помощью греческих корней (аппарат „далеко-пишущий" и „далеко-слышащий"): последнее название принадлежит изобретателю Эдисону. „Локомотив" (англ. locomotive) построен из латинских элементов (locus „место" + motus „движение"); „автомобиль" — из сочетания греческого с латинским (греч. autos „сам" + лат. mobilis „подвижный" = „само-двигатель") и т. д.

Широкое развитие интернациональной лексики, в особенности — в области научной и технической терминологии, сделалось возможным благодаря использованию целой системы латинско-греческих корней и словообразовательных суффиксов, получивших международную значимость.[37] Система словосложения, имевшая широкое применение в древнегреческой научной терминологии, была использована, начиная с эпохи Возрождения, для создания аналогичных иностранных терминов новой европейской науки. При этом значительное число греческих корней получило международное распространение в качестве стандартизованных значащих элементов такого рода сложных слов ученого языка. Ср. напр.: микро-(гр. mikros „малый") — микроскоп, микрофон,

микрометр, микроанализ, микрокосм, микроорганизм и т. д.; поли- (гр. polys „многий“) — политехникум, полифония, политеизм, полигамия, полихроматизм; био- (гр. bios „жизнь“) — биология, биография, биохимия, биомеханика, биостанция и т. д.; граф- (гр. grafein „писать“) — графология, графомания, графика; телеграф, фонограф, кинематограф, автограф; библиография, биография, география, стенография, диалектография; метр- (греч. metron „мера“): метроном, метрика, хронометр, микрометр, барометр; новые меры, введенные Французской революцией: метр, миллиметр, сантиметр, километр и др.; -логия („учение“ — от греч. logos „слово“): биология, филология, теология, космология, геология и мн. др. Каждое из таких сложных слов является сочетанием двух значащих элементов международного языка, входящих в свою очередь в самые различные другие сочетания: ср. биография = „жизне-описание“, биология = „наука о жизни“ („жизне-словие“), теология = „богословие“ („наука о боге“), полифония = „многозвучие“, фонология = „наука о звуках“ („звукословие“), фонограф = „записывающий звуки“, телеграф = „далеко-пишущий“, телескоп = „далеко-видящий“ и т. д. В отдельных национальных языках грамматическое оформление таких интернациональных слов может представлять некоторые различия, как и характер фонетического освоения данного слова: ср. русск. биология — фр biologie [-loži ] — нем. Biologie [-logi'] — англ. biology [-'lodži] От основного слова могут быть образованы более или менее многочисленные производные по законам словообразования данного языка: ср. биология — биолог — биологический. Но и здесь между различными языками наблюдаются существенные соответствия: ср. фр. biologie — biologue — biologique, нем. Biologie — Biologe — biologisch; также филология — фр. нем. philologie, филолог — фр. philologue, нем. - loge; филологический — фр. philologique, нем. - logisch и т. д.

Так, на материале интернациональных слов развивается особая система словообразования, в основном — тоже интернациональная, хотя, и представляющая известные различия национального характера. Ср. нация — фр., нем., англ. nation; национальный — фр., нем., англ. national (ср. либеральный, радикальный, социальный, патриархальный — liberal, radical, social и др.); национализм — фр., англ. nationalism(e), нем. Nazionalismus (ср. либерализм, социализм, коммунизм — фр., англ. liberalism(e), socialism(e), communism(e), нем. Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus и др.); националист — фр., англ. nationalist(e), нем. Nazionalist (так же социалист, коммунист и др.; однако — либерал, радикал — фр., нем., англ. liberal и др.); националистический — фр. nationalistique, нем. -isch, англ. nationalist (так же социалистический, коммунистический и др.); национализировать — фр. nationaliser, нем. -isieren, англ. -ize (так же социализировать, популяризировать, агитировать и т. д.); национализация — фр nationalisation, нем. -isierung, англ.-ization (так же социализация, популяризация, агитация и др.); национализатор (так же популяризатор, агитатор) — фр. -ateur, нем., англ. -ator и т. д.

Приведенные суффиксы, как и многие другие, образуют целую систему словообразования, с помощью которой могут производиться самые разнообразные грамматические категории — отглагольные существительные и прилагательные и отименгольные глаголы, имена действия, действующего лица, орудия и качества, прилагательные отношения, происхождения и состояния, глаголы каузативные и т. д. Эта система распространяется не только на интернациональную лексику, но широко применяется и на материале национальных слов, имеющих научное или общекультурное значение; ср. социализм — марксизм — ленинизм — правдизм; социалист — лени-

нист — правдист; национализация — коллективизация — коренизация и т. д.[38]

Происхождение интернациональных суффиксов — очень различно. Латинские и греческие словообразовательные элементы проходят нередко через французское оформление, к которому присоединяются более или менее отчетливые национальные признаки. К числу латинских относятся, напр., - al (лат. - alis), -ation (лат. - atio, - onis), - ator (фр. - ateur); к греческим, напр., - ism (гр. - ismos), - ist (гр. - istēs); из греческого через латинский проникли во французский - ique (лат. - icus, гр. - ikos), - iser (гр. - izein > лат. - izo). Немецкое - ismus является ученой латинизацией греческого суффикса; немецкое - ist + isch присоединяет немецкое окончание (- isch) к греческому суффиксу; нем. - isieren присоединяет к греческому элементу французско-немецкое окончание (нем. - ieren < старофр.-ier). Точно так же русское - альный слагается из латинского - al и русского элемента - ный, русское - ация — из латинского -at — и латинско-польского - ия, русское - изировать из немецкого - isieren, являющегося в свою очередь сочетанием греко-латинского и французского элемента, и польско-русского (- овать < польск. -ować); русское - ический из французского - ique, восходящего к латинскому и греческому, в котором -*к'*-, по законам русского произношения, переходит в -*ч*- перед русским окончанием (- еский).

Таким образом, интернациональная словообразовательная система представляет существенные национальные отличия морфологического характера, с помощью которых она включается в общую грамматическую систему данного языка, со свойственными ему склонениями и спряжениями. Национализации грамматической сопутствует, а часто и предшествует национализация фонетическая, звуковое освоение интернационального слова по фонетиче-

ским законам данного языка. Поскольку интернациональная книжная лексика проникает в национальные языки через письмо, существенную роль в процессе фонетического освоения играют национальные особенности орфографии, связанные с различиями в произношении латинского письма. Таким образом, международная латинская транскрипция интернациональных слов под кажущимся единообразием написания нередко скрывает значительные расхождения в произношении: ср. nation—фр. [nasjo:$^{n}$], нем. [natsjo:n], англ. [ne:išn] и др. В условиях национального обособления языков, характерного для капиталистической эпохи, эта национализация интернациональной лексики создает в ее составе как бы ряд более или менее расходящихся национальных диалектов, обособившихся друг от друга по определенным звуковым и грамматическим законам.

Наибольшая степень национализации международного словаря достигается при переводе интернациональных слов на национальные языки. Такие переводные заимствования (Übersetzungslehnwörter), или „кальки“, будучи интернациональными по своей семантике, по внешней языковой форме ничем не отличаются от прочих слов данного национального языка.[39]

Переводные заимствования весьма многочисленны во всех языках нелатинского происхождения, так как в этих языках интернациональное латинско-греческое слово должно было восприниматься, по крайней мере — первоначально, как непонятное и „чужое“. Большинство таких переводов носит этимологический характер, калькируя принципы словопроизводства, семантическую структуру („внутреннюю форму“) иноязычного слова. Напр., лат. objectus „объект“ (от objicere „бросать навстречу“) — нем. Gegenstand, архаич. Gegenwurf (от gegen + stehen или werfen „стоять“ или „бросать

против“)—польск. przedmiot, русск. предмет (<пред + метать); лат. influentia „влияние“ (от in + fluere „вливать“), фр., англ. influence—нем. Einfluss (<ein + fliessen) — польск. wpływ (<wpłyć), русск. влияние (<в + лить); лат. evolutio „эволюция“ (от e + volvere „развивать“), фр. evolution англ., нем.—нем. Entwicklung (<ent + wickeln) — русск. раз + витие; лат. circumstantia „обстоятельство“ (<circumstare „стоять вокруг“), фр. circonstance, англ. circumstance — нем. Umstand (<um + stehen) — русск. об + стоятельство; греч. syneidēsis „совесть“ (<syn + eidein „со + знать“) — лат. con + scientia, фр., англ. conscience — нем. Ge + wissen — русск. со + весть, со + знание; лат. omnipotens — нем. allmächtig — русск. все + могущий; лат. fractio (numerus fractus от frangere „дробить“), фр., англ. fraction — нем. Bruch, Bruchzahl (<brechen „ломать“) — русск. дробь; лат. numerator (<numerare „считать“)—нем. Zähler (<zählen)—русск. числитель (от „числить“) и мн. др.

Ученый характер этимологических переводов указывает на происхождение их из книжной, филологически образованной среды. Уже в эпоху раннего феодализма немецкие и англо-саксонские монахи, переводившие на национальные языки латинские богословские, философские и научные трактаты, упражнялись в таких переводах, с целью разъяснения ученикам монастырских школ специальной терминологии средневековой латинской учености и церковной догматики. Ср. древненем. gimeinda (Gemeinde) „община“ <лат. communio; giwizzenî (Gewissen) „совесть“ <conscientia; bijihte (Beichte) „исповедь“ (от jehen „говорить“) <confessio (от confiteri „сознаваться“); bikêran (bekehren) „обращать“ <лат. convertere и др. [40]

Русский язык получил в наследие от церковнославянского целый ряд кальков греческих ученых слов: напр., беззаконие (гр. anomia), бездушие

(apsychia), благодетель (euergetēs), благородный (eugenēs), благословить (eulogein), предатель (prodotēs) и мн. др.[41] Но решающим этапом в развитии интернациональных связей в этой области является эпоха капитализма, когда проникновение интернациональных латинско-греческих культурных слов в отдельные национальные языки становится массовым явлением, и одновременно усиливаются противоборствующие националистические тенденции.

Интернациональный характер приобретает и переводная фразеология. Подобно странствующим словам, готовые обороты речи, служащие для обозначения новых понятий, переходят, в условиях международных экономических и культурных связей, из одной страны в другую, выражая в различной национальной языковой форме одинаковое интернациональное идеологическое содержание. Очагами международных влияний такого рода по очереди являются Франция, Англия, Германия и в настоящее время — Советский Союз. Круг понятий определяется теми областями культуры, на которые в данных исторических условиях распространяется культурная гегемония той или иной нации. Ср. фр. opinion publique (XVIII в.) — нем. öffentliche Meinung — русск общественное мнение; фр. ordre du jour (эпоха революции)—нем. Tagesordnung—русск. порядок дня; фр. droit au travail (Фурье) — нем. Recht auf Arbeit — русск. право на труд; фр. belle âme (сентиментализм XVIII в.) — нем. schöne Seele — русск. прекрасная душа; фр. demi-monde (Дюма-сын, 1855) — нем. Halbwelt — русск. полусвет; фр. présence d'esprit — нем. Geistesgegenwart — русск. присутствие духа; фр. jeu du hasard — нем. Spiel des Zufalls — русск. игра случая и мн. др.[42]

Труднее всего установить международные взаимодействия, проявляющиеся в изменении значения

слов. Изменение значения в языках, находящихся на одинаковых стадиях общественного развития, обнаруживает далеко идущий параллелизм даже при отсутствии непосредственной исторической связи и взаимного влияния. Поэтому на самых различных языках можно говорить о „теплых чувствах“, „тяжелых мыслях“, „высоких“ и „низких звуках“; повсеместно слово „голова“ служит для обозначения вождя, стоящего „во главе“ коллектива (нем. Haupt, фр. chef, англ. chief), или „главного“, т. е. самого выдающегося предмета, на котором сосредоточены интересы говорящего; облака или морские волны сравниваются с „барашками“; лучи солнца отождествляются со стрелами (Strahl — стрела) и т. д.

Тем не менее развитие значений по параллельным рядам не всегда совершается равномерно, и в отдельных случаях можно констатировать осуществление общей разным языкам тенденции под влиянием передового языка, которому на данной ступени развития принадлежит культурная гегемония. Так, в XVIII в. немецкий и русский язык развиваются под влиянием французского: с одной стороны, как мы уже видели, образцом служит язык и фразеология аристократических парижских салонов „старого режима“, с другой стороны — язык буржуазной критики и публицистики предреволюционной эпохи. Ряд примеров такого влияния отмечен в русском салонно-дворянском языке XVIII в.: напр., русское слово „тонкий“ приобретает отвлеченное значение („тонкий вкус“, „тонкий ум“) под влиянием французского fin; интересно, что в немецком языке эпохи феодализма французское слово было заимствовано в XII в. в этом новом, „куртуазном“ значении (срврхнем. fîn > новонем. fein), в то время как старое слово dünn сохранило прежнее, чисто-материальное значение („тонкий“ в противоположность „толстому“). Новое значение

приобретает и слово „живой“: ср. „живой ум“ (ésprit vif), „живое воображение“ (imagination vive) и т. д.[43] Подобно этому нем. zerstreut первоначально значило „разбросанный“ и только в XVIII в., под влиянием фр. distrait, приобретает новое психологическое значение, как и русское слово „рассеянный“. Нем. abhängen (зависеть) до XVIII в. употребляется только в значении „свисать“ (herabhängen), новое отвлеченное значение развивается под влиянием фр. dépendre. Нем. Geschmack, как и русское „вкус“, в XVII в. приобретает новое значение „художественного вкуса“ под влиянием фр. goût (особенно — в художественной критике XVIII в.: guter Geschmack < bon goût). Нем. Gesellschaft, обозначавшее корпорацию, в XVIII в. под влиянием фр. société начинает употребляться в значении „человеческого общества“ (société humaine).[43а]

Таким образом, интернациональные тенденции в языке эпохи капитализма проявляются не только в количественном росте международной лексики, но также в широком развитии интернациональной семантики. Благодаря этой последней национальная форма слов во многих случаях выражает интернациональное идеологическое содержание, объединяющее языки одинаковым запасом понятий и делающее в конечном счете возможным взаимное понимание народов, разделенных национальными и языковыми границами.[44] Для отдельных национальных языков усвоение новых иноязычных и интернациональных слов обозначает частичное обогащение мышления новыми понятиями на основе соответствующего изменения общественных отношений, подсказавшего потребность в новых словах. Интернациональный характер развития общественных отношений в эпоху капитализма объясняет интернациональность тех сдвигов в области мышления, о которых свидетельствуют международные „культурные

слова". Благодаря неравномерности капиталистического развития в этом процессе непрерывной перестройки языка и мышления инициатива неизбежно переходит от одной страны к другой.

Однако интернациональные тенденции в языковом развитии капиталистической эпохи не могут проявиться с полной последовательностью: они наталкиваются на обособленность национальных языков и национальных культур буржуазного общества. В условиях капитализма ожесточенная экономическая конкуренция и политическая борьба между национальными государствами ведет к развитию буржуазно-националистической идеологии; в эпоху империализма вместе с небывалым развитием международных связей между всеми нациями мира невиданным образом обостряется национальная конкуренция и национальная борьба. Выражением националистической политики господствующих классов в вопросах языкового строительства является так наз. „пуризм", борьба за национальную „чистоту" языка, направленная против „иностранных" и интернациональных слов. Мы встречались с буржуазным пуризмом во Франции XVI в. (борьба против итальянского и латинского влияния) и в Германии XVII—XVIII вв. (реакция против французской гегемонии в культуре и языке); однако в полной мере пуристические тенденции дают себя знать в языковом строительстве эпохи развитого капитализма и империализма (XIX—XX вв.). Наиболее ярким примером националистического пуризма может служить языковая политика империалистической Германии: молодой немецкий капитализм, после запоздалого объединения Германии (1871), развертывает особенно активную политику национального объединения внутри страны и национальной агрессии во вне, борясь за свое „место под солнцем" со старыми капиталистическими странами.

Главным орудием немецкого националистического пуризма является „Общенемецкий языковой союз“ (Allgemeiner Deutscher Sprachverein), основанный в 1885 г. и насчитывавший перед началом империалистической войны около 350 провинциальных отделений и несколько сот тысяч членов. Союз издает свой журнал („Zeitschrift des A. D. S.“ — теперь „Die Muttersprache“), с научными приложениями („Wissenschaftliche Beilagen“), в которых обсуждаются вопросы и предложения, связанные преимущественно с „чисткой языка“ (Sprachreinigung). Практическим целям служат издаваемые Союзом „Verdeutschungswörterbücher“ (словари для „онемечивания“ иностранных слов). Основная точка зрения Союза на вопросы чистоты языка выражена несколько неотчетливо в лозунге: „Ни одного иностранного слова для того, что так же хорошо может быть сказано по-немецки“ („kein Fremdwort für das, was ebenso gut deutsch ausgedrückt werden kann“). Конечно, ограничительное „так же хорошо“ допускает и вызывает самые различные истолкования. Фактически Союз за 50 лет своего существования вел организованную борьбу против интернациональных элементов в немецком национальном языке. Для этого была широко использована помощь правительственных инстанций: руководители Союза мечтали об основании Имперского языкового управления (Reichssprachamt) для проведения сознательной и целеустремленной языковой политики, но за отсутствием такового они вступали в соглашение с центральными государственными учреждениями, проводившими, по указаниям Союза, организованную чистку языка в своей области. Еще до основания Союза (1876 г.) националистически настроенный директор германской почты Stephan уничтожил в своем ведомстве несколько сот иностранных терминов, заменив их новыми немецкими: ср. Postkarte вм. Korrespondenzkarte (открытое пись-

мо), einschreiben вм. rekommandieren (заказное письмо), postlagernd вм. poste restante, Postanweisung вм. Mandat (перевод) и т. д. За ним последовало железнодорожное ведомство, уничтожившее около 1000 иностранных слов, среди них, напр., Fahrkarte вм. Billet (билет), Bahnsteig вм. Perron (платформа), Abteil вм. Coupé (купэ), Schaffner вм. Konducteur (кондуктор) и др. В банковском деле введены были официальным путем: Währung вм. Valuta (валюта), Auftrag вм. Ordre (ордер), Zinsschein вм. Coupon (купон) и т. д. Военное ведомство установило: Dienstgrad вм. Charge (чин), Befehl вм. Ordre (приказ), Meldung вм. Rapport (донесение), Streife вм. Patrouille (патруль) и т. д. В Гражданском уложении 1900 г. произведена была систематическая чистка юридической терминологии: напр. Vertrag вм. Kontrakt (договор), Gewinnanteil вм. Dividende (дивиденд), Berufung вм. Apellation (апелляция), Enteignung вм. Expropriation (экспроприация), Vergehen вм. Delikt (правонарушение) и т. д. Театры ввели Uraufführung вм. Premiere (первое представление), Spielleiter вм. Regisseur (режиссер), Spielplan вм. Repertoire (репертуар), Spielzeit вм. Saison (сезон) и мн. др. Из новых технических изобретений телефон получил название Fernsprecher (=„дальнеговоритель“), велосипед — Fahrrad или Rad (=„колесо“), радио — Rundfunk (=„круговая искра“) и т. д. В бытовом языке появились Fleischbrühe вм. Bouillon (бульон), Tunke вм. Sauce (соус), Bürgersteg вм. Trottoir (тротуар). Во время мировой войны велась ожесточенная борьба против французского Adieu, замененного немецким Auf Wiedersehen (до свиданья).[45]

Успех этой кампании был вызван мобилизацией буржуазного общественного мнения с помощью националистической прессы. В систематической и упорной борьбе против иностранных слов пуристы апеллировали к „национальному сознанию“, „нацио-

нальной гордости" немецкой буржуазии. Наиболее фанатические враги иностранщины, напр. Энгель, обвиняли своих противников в „национальной измене" (sprachlicher Landesverrat) и призывали „острым ножом вырезать эту раковую опухоль на здоровом теле немецкого языка, немецкой народности, немецкой национальной чести" (dieses Krebsgeschwür am Leibe Deutscher Sprache, Deutschen Volkstums, Deutscher Ehre), этот „позор Германии" (diese Deutsche Schande). Энгель глубоко убежден в „ничтожестве, грубости, комичности и вульгарности иностранщины" (Minderwertigkeit, Gemeinheit, Lächerlichkeit des Welsch), в том, что писатели, которые пользуются таким „цыганским языком" (fremdwörtelnde Zigeunersprache) или „воровским жаргоном" (Gaunersprache), совершают национальное преступление. „Необходимо,—говорит Энгель,—укрепить общее сознание (Allgemeingefühl), что иностранщина пятнает репутацию писателя (den Schreiber bemakelt), что она является неприличием, низостью, подлостью (unanständig, niedrig, gemein)" и т. д. По мнению Энгеля, идущего в этом вопросе дальше теоретиков Союза, „всякое иностранное слово может быть заменено немецким" (jedes Fremdwort ist entbehrlich).[46]

Впрочем, этот лингвистический оптимизм Энгеля лучше всего опровергается составленным им самим словарем: „Verdeutschungsbuch. Ein Handweiser zur Entwelschung, für Amt, Schule, Haus, Leben", 1929 (изд. 5-е). Здесь под каждым иностранным словом собраны долженствующие заменить его немецкие эквиваленты, как бывшие уже в ходу, так и предлагаемые автором. Опыты Энгеля над научной терминологией чрезвычайно беспомощны: они заменяют точный специальный термин обывательской перифразой. Напр. Physiologie (физиология)—Körperlehre (учение о теле), Lebensforschung (исследование жизни); Biologie (биология)—также Lebensforschung

(исследование жизни), Lebenslehre (наука о жизни); Physik (физика) — Naturkunde, Naturwissenschaft (естествознание, природоведение); Lyrik (лирика) — Liederdichtung (песенное творчество), Gefühlskunst (эмоциальное искусство) и т. п. Еще неудачнее переводы политических терминов, предложенные Энгелем: здесь к расплывчатому и обывательскому словоупотреблению переводчика присоединяются его реакционные политические установки, приспособляющие международный политический словарь к умственному уровню и кругозору современного буржуа. Напр., Revolution (революция) — Umsturz, Umwälzung (переворот), Volkserhebung (народное восстание), Aufstand (восстание), Aufruhr (мятеж); иностранное слово Revolution разрешается употреблять только „как специальный термин для великих переворотов прошлого“: „в прочих случаях оно является, — по мнению автора, — излишним“ (sonst überflüssig); Revolutionär (революционер) — Umstürzler (бунтовщик), Staatsfeind (враг государства), Empörer (мятежник). Или: Sozialismus (социализм) — Staatsfürsorge (государственное обеспечение), Gemeinschaftsgeist (общественный дух), Gemeingefühl (общее чувство), Vergesellung (обобществление), Genosstum (товарищество); слово Sozialist (социалист) рекомендуется переводить Genosse (товарищ): „это немецкое слово, — по мнению автора, — употребляется людьми образованными с насмешкой, тогда как соответствующее иностранное — с уважением“. Или Kommunismus (коммунизм) — Besitzgemeinschaft (общность владения), Gütergleichheit (равенство имущества), Aufteilung (раздел); вместо Kommunist (коммунист) предлагается использовать старинное нижненемецкое диалектическое слово Glieckendäler, т. е. Gleichteiler („делящий поровну“, „уравнитель“). Так националистический пуризм сочетается с классовой фальсификацией языка. В этом смысле Энгель

совпадает с политикой правых буржуазных партий Германии, систематически называвших ноябрьскую революцию 1918 г. — „der Umsturz“ (переворот) или „der Zusammenbruch“ (крушение).

Конечно, точка зрения пуристов утвердилась в Германии не без некоторой полемики. К началу деятельности Союза (1889) относится публичное выступление группы выдающихся буржуазных писателей, литературных критиков и ученых, возглавляемой известным германистом проф. Эрихом Шмитом и историком Гансом Дельбрюком, в защиту либеральных позиций своего рода языкового „фритредерства“: невмешательства государства в вопросы языка, свободы писательской инициативы и личного вкуса и сохранения международных связей в языке, литературе и культуре, необходимых, по их мнению, для здорового развития культуры национальной.[47] Однако „либералы“, ссылавшиеся на традиции классической немецкой литературы эпохи Гете и Шиллера, в условиях агрессивного национализма империалистической эпохи оказались побежденными и вынуждены были уступить буржуазному общественному мнению. Правда, отдельные выступления против теории и практики немецкого пуризма не прекращались до последнего времени. Так, Фр. Зейлер в теоретическом предисловии к своему обширному исследованию „Немецкая культура в зеркале заимствованных слов“ („Die Deutsche Kultur im Spiegel des Lehnworts“, 1925[4]) защищал культурную ценность языковых заимствований. „Великие культурные народы,—писал он,—нуждаются друг в друге, и человеческая культура не может развиваться без оживленного обмена материальными и духовными благами“. Он же указывал на технические неудобства употребления немецких сложных слов, в особенности — в смысле словопроизводства, благодаря чему, напр., официальный Fernsprecher („дальнего-

воритель“) вместо Telephon (телефон) не мог заменить производных telephonisch (телефонный), telephonieren (телефонировать), Telephonistin (телефонистка) и т. д.; на злоупотребление неуклюжими многоэтажными словами в специальной терминологии, вызванное в значительной мере борьбой с более удобными иностранными терминами: напр., Reichsvermögenszuwachssteuergesetz, Kriegshinterbliebenenfürsorgegesetzgebung и др.[48] С другой стороны, проф. Л. Шпитцер, после ноябрьской революции 1918 г., в брошюре, направленной против Языкового союза, защищал значение иностранных слов с точки зрения эстетико-стилистической дифференциации кажущихся синонимов, считая каждое иностранное слово, вошедшее в языковой обиход, на своем месте незаменимым и представляющим своеобразный оттенок значения.[49] Тем не менее в целом лингвистическая теория и общественная практика послевоенной и в особенности фашистской Германии окончательно укрепились на позициях воинствующего националистического пуризма.

Аналогичные тенденции к чистке языка от иностранных и интернациональных слов наблюдались в XIX—XX вв. и в других странах, в особенности там, где образованию национального государства предшествовала длительная борьба за национальную независимость под знаком буржуазного освободительного движения. Так, Чехия прошла в начале XIX в. через период острой борьбы с немецкими и интернациональными элементами в национальном языке; так, в государствах, возникших после империалистической войны (напр., в Эстонии, Латвии, Литве и др.), развитие литературного и научного языка совершается в духе националистического пуризма, характерного для мировоззрения господствующего класса. Националистический уклон наблюдался и в СССР в языковом строительстве

национальных республик — в результате классово-враждебной политики местных националистов, опиравшихся на остатки разбитых революцией общественных групп. На Украине, напр., это выразилось, с одной стороны, в сознательном углублении различий между украинским и русским языком под флагом борьбы с руссицизмами, с другой стороны, в украинизации иностранных слов путем создания узко-национальной научной терминологии, страдающей упрощенчеством и оторванной от международных культурных связей.

„Институт научного языка, — сообщает по этому поводу т. Хвыля,[50] — давал директиву выдумывать новые термины вместо таких слов, как „антена" и др., хотя сейчас каждый ребенок в деревне знает, что такое антена, что такое рупор. Эти термины вошли в украинский язык, они стали составным элементом украинского языка, они органически вросли в украинский язык, они известны широким многомиллионным рабочим массам. Кто же, как не вредители, могут давать задание вместо „антены", „лампы" и др. терминов, которые имеют широкое распространение в научной терминологии, в школе, в жизни, выдумывать какие-то собственные термины".

Хвыля приводит, между прочим, следующие примеры украинизованной научной терминологии: поршень — толок, шкив — крутень, фильтр — цідило, шарикоподшипник — вальцокульковик, флюгер — вітровказ, масштаб — мірило, цистерна — станва, перпендикуляр—сторч, параллелограм—рівнобіжник, концентричный—спільноосередковий и др. Как видно из этих примеров, борьба украинских националистов была направлена по преимуществу против терминов, принятых в русском языке, как собственно русских, так и интернациональных по своему происхождению.

Оценку буржуазного пуризма дает Энгельс в предисловии к „Развитию социализма от утопии к науке"

(1888): „Ведь необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу". [51]

Как было показано выше, огромное большинство так наз. „иностранных слов" является интернациональными словами науки и культуры; это—вехи культурного развития народов, и каждый вклад, сделанный тем или другим народом в общую сокровищницу слов-понятий, служил к умножению идеологического богатства, выработанного коллективным историческим опытом человечества.

Однако, будучи продуктом буржуазного развития, интернациональная лексика имеет свою ограниченность, характерную для продукта буржуазной культуры. Ученые слова греко-латинского происхождения, из которых она в значительной степени строится, придают ей отпечаток кастовой замкнутости, недостаточной понятности и доходчивости для широких масс, не владеющих привилегией образования, доступного исключительно господствующим классам. С этой точки зрения широкого демократизма и максимальной действенности политического языка В. И. Ленин ставил вопрос о порче русского языка ненужными иностранными словами. „Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить „дефекты", когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы? . . . Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?" [52]

Таким образом, на определенной стадии общественного развития переводы трудных иностранных

слов на национальный язык могут играть положительную культурно-педагогическую роль, и многие интернациональные слова действительно имеют во всех языках такие переводные дублеты национального происхождения (напр., социальный — общественный, эволюция — развитие, экспорт — вывоз и мн. др.).

В условиях буржуазного общества интернациональные тенденции в национальных языках неизбежно носят противоречивый характер: вместе с развитием интернациональной лексики возникают пуристические течения с установкой на национализацию иностранных слов; интернациональная лексика, в процессе освоения национальными языками, приобретает национальные отличия фонетического и грамматического характера; наконец по своему лингвистическому материалу интернациональная лексика, в значительной мере недоступная широким массам, остается классовой привилегией, как и те завоевания науки и культуры, обозначением которых она должна служить. Эти противоречия, характерные для капиталистического общества, снимаются в обществе социалистическом: преодоление национальной ограниченности и классовых различий в социалистическом обществе создает условия для развития мировой культуры, являющейся общим достоянием всех трудящихся. „...Вся хозяйственная, политическая и духовная жизнь человечества, — говорит В. И. Ленин, — все более интернационализируется уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее“.[53] Соответственно этому, те интернациональные тенденции, которые были заложены в развитии национальных языков эпохи капитализма, должны осуществиться полностью в эпоху социализма созданием языка мирового как последней и высшей стадии единого глоттогонического процесса. „...В период победы социализма *в мировом*

*масштабе*, — говорит т. Сталин, — когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым“.[54]

## Глава седьмая

# ОБРАЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

В предшествующих главах мы познакомились с общими проблемами образования и развития национальных языков в эпоху капитализма. Конкретные особенности истории отдельных национальных языков обусловлены историческими судьбами данного народа. Мы попытаемся установить характер этой обусловленности на примере образования немецкого языка и объяснить процесс языкового развития Германии специфическими особенностями ее общественного развития.[1]

1. В то время как передовые страны Запада в XIV—XVI вв. завершают процесс экономического и политического объединения в национальные государства на базе развивающихся капиталистических отношений, в Германии в этот период происходит более или менее последовательная ликвидация центральной государственной власти феодального типа (Священная римская империя), и на ее месте вырастают крупные княжеские территории, своего рода абсолютные монархии в малом масштабе. Рядом

с ними сохраняется, в особенности на Западе, огромное множество мелких и мельчайших самостоятельных феодальных владений (имперских графов и рыцарей). Многочисленные города, вырастающие в XIII—XV вв. и носящие в себе зачатки будущего капиталистического развития, расположены преимущественно по окраинам страны, по Рейну и Дунаю, Северному и Балтийскому морю; их экономические интересы направлены в разные стороны; будучи в значительной степени передаточными пунктами для чужеземных товаров, они гораздо менее заинтересованы в объединении внутреннего рынка, чем города английские и французские. Поэтому они лишь очень вяло поддерживают центральную власть в ее попытках территориально-политического объединения империи, добиваясь с ее помощью лишь одного — установления „имперского мира“ между отдельными политически самостоятельными территориями: они не поднимаются выше идеала свободной городской республики („имперского города“) или союза городов (как Ганза и южнонемецкие городские союзы) для защиты торгово-политических интересов в местном масштабе от посягательств немецких князей или соседних государств. Во второй половине XVI в. они теряют свое политическое значение, благодаря хозяйственному кризису, вызванному упадком немецкой торговли, в связи с перенесением торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан. В этих новых условиях развития мирового хозяйства Германия XVII в., как и Италия, теряет уже завоеванные позиции; экономический и политический упадок усугубляется катастрофой тридцатилетней войны, которую ведут на территории Германии и отчасти ее силами конкурирующие между собою соседние национальные государства. Тридцатилетняя война завершает политический распад империи: постановления Вестфальского мира

(1648) узаконили политическую раздробленность Германии на 300 и более вполне самостоятельных и суверенных княжеских территорий, помимо которых относительной самостоятельностью должны были пользоваться 50 имперских городов и более 1500 имперских рыцарей. Лишь в XVIII в. начинается медленный подъем производительных сил Германии, подорванных на целое столетие военной катастрофой. Но только во второй половине XIX в., на гребне промышленной революции, завершается национально-государственное объединение новой Германской империи (1871).

Решающей эпохой борьбы за национальное объединение Германии является социальная революция первой половины XVI в. — эпоха Реформации и крестьянской войны (1525). О причинах неудачи борьбы с исчерпывающей полнотой говорит Ф. Энгельс („Крестьянская война в Германии“), давая следующую картину экономического и политического состояния Германии в начале XVI в.:

„...Подъем национального производства Германии все еще отставал от развития производства других стран. Немецкое земледелие значительно уступало английскому и нидерландскому; немецкая промышленность стояла гораздо ниже итальянской, фламандской и английской, а в морской торговле англичане и особенно голландцы начали все более и более вытеснять немцев. Население все еще оставалось очень редким. Цивилизация в Германии существовала лишь спорадически, сосредоточиваясь вокруг единичных промышленных и торговых центров; интересы даже этих единичных центров далеко расходились, имея лишь немногочисленные точки соприкосновения. Юг имел совершенно иные торговые связи и рынки сбыта, чем север; между востоком и западом почти вовсе не было обмена. Ни один город не мог сделаться

промышленным и торговым средоточием страны, каким для Англии был уже Лондон. Все внутренние сношения ограничивались почти исключительно береговым и речным судоходством и несколькими большими сухопутными торговыми дорогами, которые вели от Аугсбурга и Нюрнберга через Кельн в Нидерланды и через Эрфурт на север. В стороне от рек и торговых дорог лежало множество более мелких городов, которые, не принимая участия в обмене, продолжали спокойно прозябать в условиях позднего средневековья, не нуждаясь в большом количестве чужих товаров и мало работая на вывоз. Из сельского населения лишь дворянство входило в соприкосновение с более широкими кругами и новыми потребностями. Крестьянская же масса никогда не выходила за пределы ближайших местных отношений, и потому ее интересы ограничивались узким местным горизонтом. В то время как в Англии и Франции развитие торговли и промышленности привело к сцеплению интересов всей страны и тем самым к политической централизации, в Германии этот процесс привел лишь к группировке интересов по провинциям, вокруг местных центров и поэтому к политической раздробленности, раздробленности, которая вскоре должна была окончательно закрепиться, благодаря выключению Германии из мировой торговли. По мере того как распадалась чисто феодальная империя, стала разрываться и связь между отдельными частями империи; крупные имперские владетели стали превращаться в почти независимых государей, а имперские города, с одной стороны, и имперские рыцари, с другой, начали заключать союзы то друг против друга, то против князей или императора. Имперское правительство, само не понимавшее своего положения, беспомощно колебалось между различными элементами, составлявшими империю, все более теряя при этом свой авто-

ритет; его попытка централизовать государство в стиле Людовика XI не пошла, несмотря на все интриги и насилия, дальше укрепления связи между австрийскими наследственными землями. Если в этой путанице, в этих бесчисленных взаимно перекрещивающихся столкновениях кто-нибудь в конечном счете выиграл и должен был выиграть, то это были представители централизации в самой раздробленности, носители местной и провинциальной централизации, *князья,* рядом с которыми сам император все более и более становился таким же князем, как и все остальные».[2]

Образование крупных княжеских территорий, конкурирующих в борьбе за политическую гегемонию, начинается в Германии XIV в. не на западе, в исконно-немецких землях, классическом районе архаической феодальной раздробленности и чересполосицы, а на востоке и юго-востоке, в тех заэльбских и придунайских землях, принадлежавших ранее славянам и балтийским народам, которые были колонизованы немцами военным и мирным путем, с IX—XIV вв. (австрийские земли) и с XII—XIV вв. (заэльбские земли). Сюда на протяжении нескольких столетий направляется непрерывный поток колонизации из западной и южной Германии, Голландии и Фландрии, с берегов Рейна, из швабских и баварских земель. Экономические условия в колонизованных областях существенно отличаются от старой Германии. Привлекая на новые земли колонистов крестьян, крупные князья и мелкие феодалы-помещики предоставляют им всевозможные льготы. Крестьянские наделы отводятся цельными участками, в то время как на западе господствует чересполосица, наследие старого общинного землевладения; участки эти (так наз. Königshufe) во много раз превосходят мелкие раздробленные наделы западной Германии и предоставляются ко-

лонистам в наследственное владение за незначительный денежный оброк (цинш) вместо барщины и других феодальных повинностей старого типа. Земельное хозяйство северо-восточной Германии рано приобретает товарный характер. Вместе с аграрной колонизацией идет колонизация торговая и ремесленная, городская. Многочисленные торговые города, в особенности — на балтийском побережьи (Ганза), экспортируют из восточной Германии хлеб и различное сырье и т. д. В связи с этим в XIV—XV вв. на востоке Германии расположены самые крупные княжеские территории—Австрия, Богемия, Саксония, Бранденбург, и здесь впервые обозначаются государственные образования нового типа. Политический перевес колониальной восточной Германии над старой западной сказывается внешним образом уже в том, что в избирательной коллегии из семи курфюрстов, выбирающих императора, из четырех светских князей трое являются представителями восточной части империи (Богемия, Саксония, Бранденбург). Императорская власть в XIV—XV вв. также находится в руках богемских и австрийских династий (Люксембургов и Габсбургов), которые пользуются своими династическими территориями как источником средств для общеимперской политики; в то же время во главе княжеской оппозиции против императора в XVI в. становится саксонский курфюрст как наиболее сильный из самостоятельных князей.

Из государств восточной части империи особенное значение получают в XIV в. Богемия, в XV—XVI вв. — Саксония как передовые участки капиталистического развития страны. В связи с этим именно Богемия и Саксония являются родиной новонемецкого письменного языка на первых стадиях создания общей национальной нормы.

Быстрое экономическое развитие Богемии в XIV в. было вызвано разработкой куттенбергских серебряных рудников. Внешнеполитические успехи царствования Оттокара II (1253—1278) и Карла IV (1346—1378) опирались на средства, которые давало им развитие горного дела. Карл IV воспользовался этими средствами, чтобы купить голоса курфюрстов и завладеть императорской короной. Благодаря доходности Куттенберга в Богемии стали развиваться торговля и промышленность. В XIV в. рудники уже разрабатывались не одиночными горнорабочими, а крупными купцами-капиталистами. В первой половине XV в. быстро назревшие социальные противоречия, осложненные противоречиями между немцами, принадлежавшими преимущественно к господствующему классу (дворянству и бюргерству), и чехами, создают революционную ситуацию гуситских войн (1419—1485). В результате социальных потрясений XV в. Богемия теряет свое господствующее положение, императорская корона переходит к австрийским Габсбургам; в то же время выдвигается Саксония как передовой участок капиталистического развития.

В XV в., когда производительность богемских рудников упала, быстро развиваются рудники тюрингенские и саксонские. Растут города как центры торговли и ремесел (Эрфурт, Галле, позже—Лейпциг). Меняется характер земледелия: крестьяне и помещики становятся товаропроизводителями. Благодаря своим доходам саксонские князья начинают играть ведущую роль во внутренних делах Германии. Курфюрст саксонский Фридрих возглавляет княжескую оппозицию против императора Карла V. Он достаточно силен, чтобы защитить Лютера, как своего подданного, от папы и императора, предоставить ему убежище на своей земле и использовать бюргерскую реформацию в интересах княжеского абсолютизма. Этими условиями объясняется роль Саксо-

нии в лютеранской реформации и через Лютера — в истории образования немецкого национального языка.[3]

Свое положение передовой в экономическом и культурном отношении территории Саксония сохраняет и в XVII—XVIII вв., до семилетней войны. По мнению Лампрехта, Саксония XVIII в. является главной промышленной территорией Германии (Hauptindustrieland auf deutschem Boden), а Лейпциг уже в XVII в. опережает города западной Германии как крупный торговый центр.[4] Персональная уния с Польшей (с 1679 г.) усиливает политическое могущество саксонского курфюрста. Характеризуя общественные отношения в Германии эпохи Лессинга, Меринг справедливо утверждает: „Саксония была экономически наиболее развитой, а потому и наиболее культурной страной“. „При таких условиях Саксония должна была сделаться передовой страной духовного возрождения немецкой буржуазии“.[5] „С конца XVII и почти до конца XVIII века большинство представителей немецкой образованности были уроженцами Саксонии или воспитанниками саксонских школ: от Лейбница, Пуффендорфа и Томазиуса и до Геллерта, Клопштока и Лессинга — и даже дальше“.[6] Этим обусловлена культурная гегемония Саксонии в протестантской северной и средней Германии и ее руководящая роль в вопросах литературных и языковых на ранних стадиях буржуазного развития Германии (до середины XVIII в.).

С Богемией и Саксонией за языковую гегемонию борется Австрия—образующая третий, наиболее крупный территориальный комплекс в колониальной Германии. Под властью австрийских Габсбургов постепенно объединяются обширные территории, полностью или частично колонизованные немцами на юго-востоке империи: Австрия, Штирия, Каринтия, Крайна, Тироль — впоследствии также Богемия и

Венгрия (1526); в 1438 г., после падения люксембургской династии, к австрийским Габсбургам переходит и императорская корона. „В распоряжении Габсбургов были тирольские серебряные рудники, а с 1526 года и богемские. Своему богатству Габсбурги были обязаны окончательным закреплением за ними императорской короны (при Альбрехте V, 1438), усилением своего влияния, как императоров, в Германии и могуществом империи в Европе“.[7] В эпоху реформации под властью Габсбурга, императора Карла V (1519—1556), объединяются Германская империя и австрийские земли, Испания и Нидерланды и богатые заатлантические колонии. Эта персональная уния расторгается окончательно при преемниках Карла V; австрийские Габсбурги сохраняют императорскую корону и австрийские земли. В противоположность Богемии XIV в. и Саксонии XV в. наследственные земли Габсбургов — область по преимуществу аграрная, где господствует крупное дворянское землевладение. Политическому объединению юго-востока способствуют тяжелые оборонительные войны против турок (XVI—XVII вв.) и положение немцев как привилегированных колонизаторов среди разноплеменного комплекса австрийских земель. В борьбе против территориального сепаратизма и феодальной вольности „сословий“ монархия Габсбургов находит опору в католической церкви, которая одновременно поддерживает императора против сепаратизма крупных светских князей. В связи с этим в конце XVI и в начале XVII в. Австрия становится главным оплотом католической реакции. Но попытка политического объединения Германии под властью Австрии, предпринятая австрийскими Габсбургами под знаком католической реставрации, приводит к катастрофе тридцатилетней войны (1618—1648) и вмешательству иностранных держав. Результатом войны является более прочное объединение и вместе с тем обосо-

бление австрийских земель, замыкающихся в аграрном консерватизме и культурном провинциализме. В области языка следы провинциального сепаратизма сохраняются до середины XVIII в. в виде местной традиции „императорского“ языка.

Наконец, четвертая крупная территориальная группа Германии — Бранденбург-Пруссия до середины XVIII века не играет самостоятельной культурной роли. В XIX в., в связи с промышленным ростом северной Германии и ее политической гегемонией, на последних стадиях унификации разговорного языка господствующего класса (gebildete Umgangsprache), руководящая роль в установлении нормы переходит к северу.

В начале XVIII в., к тому времени, когда уже намечается постепенный подъем производительных сил страны, в политически раздробленной Германии конкурирует несколько наиболее крупных территорий (Австрия, Пруссия, Саксония), отчасти поддерживаемых более мелкими и втянутых в орбиту экономического и политического влияния более мощных национальных государств. Германская империя, как пережиток эпохи феодализма, не имеет национальных границ. Австрийские Габсбурги владеют Венгрией, а в Италии — Ломбардией и Тосканой, не входящими в состав империи; саксонский курфюрст является королем Польши, ганноверский — королем Англии. Гольштиния и Шлезвиг принадлежат Дании как имперский лен, точно так же — графство Ольденбург в северной Германии; Швеция владеет значительной частью Балтийского побережья (Померанией). Граница между империей и Францией в Эльзасе и Пфальце образует сложный комплекс чересполосных владений. Германия (в особенности — западная) находится под политической и культурной гегемонией Франции, которая временами (при Людовике XIV и позже при Наполеоне) превращается

в своего рода политический протекторат. На востоке Германии с XVIII в. начинает распоряжаться Россия, вытесняющая Швецию с южного побережья Балтийского моря и позже завоевывающая часть Польши.

Таким образом Германия XVIII в., благодаря низкому уровню экономического и общественно-политического развития, еще не вполне оформилась как нация и не сложилась в самостоятельное национальное государство. Германия этой эпохи занимает как бы промежуточное положение между передовыми государствами западной Европы, сложившимися в национальные объединения нового типа на ранних стадиях зарождения буржуазного общества, и отсталыми феодальными империями Европы восточной, которым еще предстояло в XIX—XX вв., в условиях развития и последующего загнивания капитализма, пройти через сложный процесс национально-политической дифференциации и борьбы. Этим объясняется важная роль национального языка и национальной культуры, созданной в эпоху нового буржуазного подъема в XVIII и XIX вв., как мощного идеологического фактора национально-политического объединения Германии.

2. Характерной особенностью языкового развития Германии в начальный период образования нововнемецкого национального языка является письменный, книжный характер языковой нормализации при сохранении значительных различий в устной речи, даже в разговорном языке господствующих классов. Экономическая и политическая децентрализация Германии, недостаточная интенсивность межтерриториальных связей и сношений, отсутствие единого центра страны — все эти обстоятельства должны были помешать непосредственной унификации разговорного языка в процессе живого обмена и смешения. В основе развития немецкого национального языка лежит не разговорный язык крупнейшего эко-

номического, политического, культурного центра (Лондона, Парижа), нормализованный с помощью письменности, а письменный язык городских и княжеских канцелярий, язык печатников, язык лютеровой библии и клерикальной литературы эпохи Реформации, язык грамматиков-нормализаторов, язык буржуазной литературы XVIII—XIX вв. „Наш родной язык, — справедливо замечает Вильгельм Брауне, — имеет свою основу не в произнесенном, а в написанном слове (nicht im gesprochenem Worte, sondern im geschriebenen): по своему происхождению это — бумажный язык, который пытается передать в произношении графические начертания слов, как они исторически сложились в орфографии“. Нормализация разговорного языка господствующих классов следует со значительным отставанием за письменной нормой, в тех весьма широких границах, в которых письменная норма может наметить унификацию разговорных диалектов. Таким образом, по мнению Брауне, для немецкого языка исторически более обосновано не наивное требование: „Пиши как говоришь“, но совершенно обратное: „Говори как пишешь“, т. е. старайся исправлять особенности местного произношения в соответствии с принятой письменной нормой. [8]

Первая стадия развития новонемецкого письменного языка представлена юридическими грамотами (Urkunden) императорской, княжеской, городских канцелярий. Процесс вытеснения латинского языка немецким в обиходе канцелярий мы рассматривали в другом месте. [9] Немецкие грамоты появляются в сороковых годах XIII века, по преимуществу — в частно-правовых актах, связанных с имущественными сделками: понятно, что городские канцелярии играют при этом особенно важную роль. В восьмидесятых годах XIII в. имперская канцелярия Рудольфа Габсбургского уже широко пользуется

немецким языком. Но окончательно императорская канцелярия переходит на немецкий язык в двадцатых годах XIV в. при Людовике Баварском, в эпоху ожесточенной борьбы между империей и папством.

Первоначально грамоты пишутся на местных наречиях. Однако исследователи немецких городских грамот констатируют уже в начале XIV века наличие известного нормирующего влияния, исходящего из более крупных и авторитетных городских центров. Благодаря таким унифицирующим тенденциям намечается некоторое различие между местным говором широких масс городского населения и „литературным диалектом“, ориентирующимся на язык социальной верхушки, городского патрициата и устраняющим наиболее резкие особенности местного говора как признаки социально-низкой языковой сферы. [10] „Писцы,—говорит исследователь Аугсбургских грамот,—были знакомы с языковыми навыками высших классов городского общества и, выступая (что вполне естественно и подтверждается фактами) особенно часто в их интересах, стремились пойти навстречу своим заказчикам, т. е. говорить и писать согласно их вкусам“ (seinen Auftraggebern entgegenzukommen, d. h. nach dem Munde zu reden und zu schreiben). [11] Итак, одновременно с первыми признаками унифицирующих тенденций в письменном языке выступают аналогичные тенденции и в разговорной речи господствующей общественной группы на основе более интенсивного общения между городами в условиях роста товарного хозяйства и с тем вместе первые признаки разрыва между „местным диалектом“ социальных низов и „литературным диалектом“ господствующей группы. Конечно, на данной стадии можно говорить лишь о зачаточных симптомах новой тенденции.

Первая сознательная попытка нормализации немецкого канцелярского языка исходила от королевской

и императорской канцелярии Карла IV Люксембурга в Праге. Карл IV, более заботившийся о расширении и укреплении своих наследственных владений в Богемии и прилегающих землях, чем о судьбах империи, является первым в Германии монархом нового типа, характерного для ранних этапов развития абсолютной монархии: не воином-феодалом, а расчетливым дипломатом и купцом. Опираясь на капиталистическое развитие Богемии, он создает на своей территории централизованное государство с сильной королевской властью, организованными финансами, многочисленным чиновничеством; он заботится о поднятии торговли и промыслов, о поддержании и проведении путей сообщения; он покровительствует искусствам и науке (строительство Праги, основание первого в империи Пражского университета как будущего рассадника образованного чиновничества) и, играя роль мецената, поддерживает личные связи с культурными деятелями раннего буржуазного Ренессанса в Италии (Петрарка). Под влиянием гуманизма стоят и реформы в организации королевской и императорской канцелярии в Праге, которые проводит ближайший сотрудник Карла IV, его канцлер Иоганн фон Ноймаркт, епископ Ольмюцкий. С этого времени язык императорской канцелярии, как и ее строгие процессуальные формы, становятся образцом для германских князей и городов.[12]

Основные диалектологические признаки нового канцелярского языка характерны для смешанного колониального происхождения говора Праги, объединяющего диалектологические особенности говоров средненемецких (mitteldeutsch) и южнонемецких (oberdeutsch). 1. Дифтонгизация долгих гласных î, û, iu [ü:] > ei, au, eu; напр., îs > eis, hûs > haus, liute > leute: явление южнонемецкое (с XII—XIII вв. в Австрии и Баварии).[13] 2. Стяжение старых дифтонгов

ei, uo, üe > i: (ie), u:, ü: — напр., liеb > lieb [li:b], guot > gut, müede > müde: явление средненемецкое (с XI—XII в.). 3. Расширение дифтонгов ei, ou > ei [ai], au; breit > breit [brait], ouge > auge: расширение — явление южнонемецкое (в Баварии с XII в.), сохранение ei в языке пражской канцелярии—средненемецкий признак. 4. pf вместо p по II перебою согласных — pfund, apfel, kopf: только в южнонемецком. Объединение этих признаков, впервые намеченное в письменных памятниках канцелярии Карла IV, определяет основу фонетической структуры немецкого национального языка.

Насколько широко распространено было это объединение в разговорном языке XIV в.? Гутъяр ищет его происхождение в социальном диалекте высших слоев городского общества колониальных восточно-средненемецких городов — Лейпцига, Галле, Виттенберга, Бреславля, Праги. „Колониальное бюргерство XIII—XIV вв., более свободное в условиях денежного хозяйства, более подвижное в духовном отношении, более прогрессивное, создает,— по мнению Гутъяра,— предпосылки для возникновения и развития нового языка“, который Гутъяр, в соответствии со своей теорией, обозначает термином „das mittelste dütsch“ („срединный немецкий язык“), рассматривая его как „разговорный язык бюргерства“ („bürgerliche Gesellschaftsprache“) колониальной Германии. [14]

Несмотря на то, что интересная социологическая гипотеза Гутъяра в целом недостаточно проверена на фактах и, вероятно, переоценивает тенденции к языковому объединению в разговорном языке немецкого бюргерства XIV в., она правильно намечает социальную природу новонемецкого „общего языка“ и его „колониальное“ происхождение.

На протяжении XV в. наблюдается проникновение новой письменной нормы в канцелярскую практику

городов и князей, по преимуществу — средней и западной Германии. В начале XVI в. она проникает в города среднего Рейна — Майнц, Франкфурт, Вормс, Шпейер; несколько раньше, в конце XV в., в Аугсбург и Нюрнберг. Особенно важно с конца XV в. присоединение канцелярии саксонского курфюрста к новому типу языка. Саксонская канцелярия становится в XVI в., по причинам, уже изложенным выше, ведущим звеном языкового объединения, главным проводником того средненемецкого типа письменного языка, основы которого заложены были пражской канцелярией. С другой стороны, XV век приносит образование нового, конкурирующего центра языкового объединения в юго-восточной Германии. Политические и социальные катастрофы, постигшие Богемию в XV в. в эпоху гусситских войн, приводят к утрате Богемией ведущей роли в империи и к потере императорской власти богемской династией Люксембургов. Императорская корона переходит к австрийским Габсбургам, политический центр империи передвигается на юго-восток; вместе с тем имперская канцелярия переносится из Праги в Вену (1438). Язык венской канцелярии, в основных чертах совпадающий с пражским (новые дифтонги, южнонемецкое pf), обнаруживает, однако, некоторые местные (южные) признаки. 1. Написания ů, $\overset{e}{\breve{u}}$ вм. u, ü, соответствующие местному дифтонгическому произношению старых дифтонгов ie, uo, üe, сохранившемуся в южнонемецких диалектах. 2. Написание ai вм. ei, соответствующее южнонемецкому расширению ei > ai, напр., klaid. 3. p вм. b в начале слова, напр., prait, pin вм. breit, bin. 4. Отпадение конечного неударного -e в соответствии с более сильной редукцией в южных говорах, тогда как восточно-средненемецкие диалекты (напр., саксонский) сохраняют -e: die Kron, der Nam и т. д. К этому

венскому типу канцелярского языка примыкают теперь южнонемецкие города. В эпоху имп. Максимилиана I (1493—1519) усиление Австрии и попытки более прочного объединения империи придают „императорской“ норме известный авторитет, поддерживаемый заботой самого Максимилиана и его ближайших сотрудников (канцлера Циглера) о развитии письменного языка.[15]

Так создаются два близких, но конкурирующих типа будущей национальной нормы письменного языка. Их борьба продолжается до XVIII в., отражая соперничество двух экономических, политических и культурных центров восточной Германии, будущих протестантских и католических земель.

Изобретение книгопечатания во второй половине XV в. (1450) создает новое могучее орудие языковой унификации. Если средневековая рукопись была распространена в лучшем случае в нескольких десятках экземпляров, из которых каждый был продуктом индивидуальной художественной работы особого писца, то книгопечатание сразу создало возможность стереотипного воспроизведения письменного памятника в сотнях и тысячах экземпляров и тем самым широчайшего территориального воздействия его письменной формы. С другой стороны, печатники крупных центров книжного производства (Аугсбург, Нюрнберг, Лейпциг, Франкфурт, Страсбург, Базель и др.), как своего рода мелкие капиталистические предприниматели, были непосредственно заинтересованы в том, чтобы книга, напечатанная для сбыта во всей Германии, была доступна по своей языковой форме за пределами города, на языке которого говорит данный автор или печатник. Наблюдения над языком печатников (Druckersprache) показали, что крупные центры книгопечатания вели свою собственную языковую политику, направленную к нормализации написания,

ориентируясь на традиции авторитетных княжеских канцелярий восточной Германии (императорской и саксонской). О том же свидетельствуют нередкие жалобы авторов, претерпевших такую языковую нормализацию по произволу того или иного печатника.[16]

Из крупных печатных центров Аугсбург и Нюрнберг уже в 70-х гг. XV в. примыкают к восточнонемецким канцеляриям. А. Социн объясняет это явление прочными торговыми связями этих городов с восточной Германией.[17] На заглавном листе нередко ставится надпись: „gemacht in der kayserlichen Canczley“ („изготовлено в императорской канцелярии“), „nach rechter gemeinen teutsch“ („на правильном общем немецком языке“), „na rechtem warem dudeschem und sessicher Sprake“ („на правильном немецком и саксонском языке“) и т. п.[18] Ульм и швабские города присоединяются к норме в 80-х и 90-х гг. В начале XVI в. она устанавливается в среднерейнских городах, во Франкфурте, Майнце, Вормсе. Обособленной языковой жизнью продолжает жить крайний юго-запад империи — Эльзас и Швейцария: здесь к началу XVI в. уже наметились те тенденции экономического и политического развития, которые приведут к обособлению этих территорий, а со временем и к полному отпадению от имперского единства. Современные диалекты Эльзаса и Швейцарии сохранили до сих пор средневековые дифтонги uə, iə и старые долгие гласные î, û, (ü:). Письменный язык этих областей в начале XVI в. характеризуется теми же явлениями — прежде всего сохранением старых недифтонгизованных долгих гласных îs, hûs и т. д. В Страсбурге с конца XV в. идет борьба между местным „верхнерейнским“ типом языка и общенемецкой нормой: одни книги печатаются согласно местной традиции, другие — в соответствии с новой нормой.

Еще меньше поддается новому влиянию Базель здесь канцелярский язык, напр., сохраняет швейцарский тип до конца XV в. Более отдаленные швейцарские города (напр., Цюрих) в эту эпоху совершенно не выходят из своего языкового обособления. Развитию местной „верхнерейнской" письменной нормы („oberrheinische Schriftsprache") в Страсбурге и Базеле способствует высокий уровень литературного творчества в условиях общего подъема экономической и культурной жизни верхнерейнских городов. В Эльзасе протекает литературная деятельность Себастьяна Бранта („Das Narrenschiff", 1495) и Томаса Мурнера („Die Narrenbenschwörung", 1512, „Die Gäuchmatt", 1514, и др.), авторов сатирико-дидактических поэм во вкусе немецкого бюргерского гуманизма. Оба пишут и печатают на местном „верхнерейнском" литературном языке. Но нюренбергский издатель Бранта (1494) переводит его поэму на „общенемецкий" язык, выправляя ее в соответствии с новой письменной нормой. [19]

Таким образом, к началу XVI в. даже в области письменного языка Германия еще не преодолела языковой раздробленности и не имеет единой общеавторитетной нормы. Кроме нижненемецкой области, почти не затронутой новым движением, мы имеем три основных конкурирующих типа верхненемецкого письменного языка (hochdeutsch): 1) средненемецкий тип, возникший в Праге и представленный саксонской канцелярией; 2) южнонемецкий тип, представленный венской канцелярией; 3) верхнерейнский тип — в Эльзасе и Швейцарии; при этом первые два типа сравнительно мало отличаются друг от друга и обнаруживают новые исторически прогрессивные черты (дифтонгизация, новые долгие), тогда как третий тип значительно отличается от первых двух архаическими чертами, сближающими

его с средневековым немецким языком (сохранение старых долгих). Эти различия отмечались уже современниками и просуществовали в течение всего XVI в.; в 1593 г. (т. е. уже после Реформации) об этом свидетельствует грамматик Helber, различающий, кроме нижненемецкого с его подразделениями, три типа верхненемецкого печатного языка: „Наш общий верхненемецкий язык (unsere gemeine Hoch Teutsche Sprache) печатается трояким способом: один я назвал бы средненемецким (die Mitter Teutsche), другой — придунайским (die Donawische), третий — верхнерейнским (die Höchst Rheinische)". К первому Helber причисляет городские центры Майнц, Шпейер, Франкфурт, Вюрцбург, Гейдельберг, Нюрнберг, Страсбург, Лейпциг, Эрфурт, т. е. восточную и западную часть средней Германии; ко второму — швабские, баварские и австрийские земли (юго-восток); к третьему — Швейцарию и примыкающую к ней территорию (юго-запад). [20]

Свидетельства о равноправности конкурирующих письменных норм в первой половине XVI в. достаточно многочисленны. Так, в 1527 г. автор руководства для писцов, уроженец Кельна (сохранившего до середины XVI в. некоторые особенности местного диалекта, близкого к нижненемецкому), требует от хорошего писца знания различных диалектов, потому что к нему будут обращаться люди из разных мест, и каждый из них захочет писать так, как он привык сам говорить („und als dan eyn ytlicher wulde oder sülde syngen, als ym der snavel gewassen wäre"). [21] Около того же времени (1536) французский король Франциск I обращается к совету швейцарского города Солотурна с просьбой прислать ему опытного человека, который мог бы переводить королю различные диалекты немецких князей и городов. Совет посылает ему „доброго и честного человека" Пьера Шамбриэ, чтобы переводить ко-

ролю письма, получаемые из разных частей Германии, сперва на „общий немецкий язык“ („gemeine Deutsch“), а затем уже на французский.[22] Этот случай свидетельствует как о наличности некоторой признанной нормы, так и о том, что рядом с нею продолжают существовать территориальные письменные диалекты.

Еще значительнее, конечно, различия в разговорном языке. По словам Лютера, „в Германии существует много разных диалектов, т. е. способов говорить, так что люди на расстоянии 30 миль не понимают друг друга, австрийцы и баварцы не понимают тюрингенцев и саксонцев, особенно же нижних немцев“; и в другом месте: „напр., баварцы не понимают саксонцев, особенно же те, которым не приходилось путешествовать, и даже баварцы не всегда как следует понимают друг друга, те, кто грубые баварцы“ („grobe Baiern“).[23] В этом свидетельстве интересно указание как на наличность крайней территориальной раздробленности разговорного языка (через 30 миль), так и на социальные различия: „грубые“ баварцы, по словоупотреблению того времени — крестьяне („der grobe Bauer“); крестьяне в эту эпоху начинают выступать как главные носители „грубых“ диалектологических различий.

Из бытовых анекдотов XVI в. известен рассказ из „Фацетий“ Бебеля (1506) о трех баварцах, которые, путешествуя по северной Германии, не могли объясниться с местными жителями.[24] Еще более показательное значение имеет исторический факт: реформатор Цвингли, уроженец Цюриха, вызванный ландграфом гессенским на религиозный диспут с Лютером в Марбурге (1529), должен был отказаться вести диспут на немецком языке и говорил по-латыни, мотивируя это тем, что его швейцарский диалект будет непонятен ландграфу и другим присутствующим.[25] Между тем Цвингли был сто-

ронником национализации религиозного просвещения, как все представители бюргерской реформации XVI в., перевел, как и Лютер, библию на свой немецкий язык и стоял на высоте гуманистической культуры своего века.

С другой стороны, именно в конце XV и в начале XVI в. множатся свидетельства о существенных изменениях в живом разговорном языке городского общества (его высших слоев), ориентированных в сторону „правильности" (т. е. усвоения складывающейся письменной нормы). Напр., хроника города Аугсбурга сообщает под 1501 г., что в это время „аугсбургский язык начал изменяться и стали говорить и писать несколько понятнее, так что в наше время говорят совершенно иначе, чем говорили старики. Они при произношении i или u широко раскрывали рот (das Maul weit aufsperrten), мы же вместо этого употребляем теперь в письме и произношении ei и au и говорим с полуоткрытым ртом (mit halbem Mundt) allein вместо allan, auch вместо ach". [26] Курьезная фонетическая терминология хроникера передает два важных наблюдения: 1) проникновение новых дифтонгов, в соответствии с письменной нормой, вместо старых долгих (eis, haus вместо îs, hûs); 2) вытеснение письменной нормой местного диалектологического явления (стяжения ei (ai), au > a: — в примерах allein, auch). Аугсбург — важный экономический центр южной Германии, с развитой текстильной промышленностью и торговлей, средоточие крупнейшего в Германии финансового капитала (Фуггеры, Вельзеры): торговые отношения связывают его с Лейпцигом и Веной, исходными точками новых языковых влияний. С другой стороны, в южной и юго-западной Германии (напр., в Эльзасе), „швабский язык" Аугсбурга становится модным, признаком образованности и хорошего тона в определенной социальной среде. О таком мод-

нике говорится: „Он стал мастером цеха (ein Zunftmeister worden), он уже не говорит на своем языке, он старается (er nimpt sich an) говорить по-швабски, а между тем никогда не выходил за ворота города“.[27] Таким образом, для мастера цеха новый язык становится отличительным социальным признаком. Популярный страсбургский проповедник Гейлер Ф. Кайзерсберг (1445—1510) порицает такое тщеславие своих богатых прихожан. „Когда они возвращаются домой, они одеваются как швабы, и если пришлось им купаться вместе со швабами, то они уже хотят и говорить по-швабски“.[28]

3. Таково было языковое положение Германии в начале XVI в., т. е. накануне эпохи Реформации. Немецкая буржуазная лингвистика, как известно, в истории создания письменной нормы немецкого национального языка выдвигает на первое место роль Мартина Лютера как религиозного реформатора, переводчика библии и немецкого патриота. На самом деле личная инициатива Лютера должна быть осмыслена в свете действия тех исторических процессов, которые сделали борьбу за национальный язык и за его объединение одним из существенных идеологических мотивов социальных столкновений эпохи Реформации.

Реформация была для Германии эпохой великих социальных потрясений революционного характера, всколыхнувших все общественные классы и сделавших вопросы общественно-политические (в характерной для того времени религиозной оболочке) предметом страстных споров и обсуждений широких народных масс. Тем самым старая академическая форма латинского богословского трактата, доступного лишь узкой группе профессиональной интеллигенции средних веков — ученым клирикам, специалистам-теологам, заменяется новым жанром религиозно-политического памфлета

на немецком языке, агитационно-политической брошюрой, стихотворной или прозаической „агиткой“, обращенной к широкой общественности и защищающей противоборствующие экономические и политические интересы различных общественных групп. С такими немецкими брошюрами агитационного характера одинаково выступает Лютер, представитель умеренной бюргерской реформации, Ульрих фон Гуттен, идеолог мелкого феодального дворянства („имперских рыцарей“), и Томас Мюнцер, вождь революционных крестьян. Внешним признаком этого идеологического возбуждения, характерного для всякой революционной эпохи, является рост числа немецких печатных книг, отчетливо обозначившийся с 1517 г. (первое выступление Лютера против папы) и достигающий апогея в годы рыцарского восстания и крестьянской войны (1521—1524). В 1500 г. напечатано было всего 80 книг, в 1518 — 150, в 1519 — 260, 1520—570, в 1521 — 620, в 1522—680, в 1523 — 835, в 1524 — 990. С 1518 — 1523 гг. напечатано, по подсчетам Клуге, значительно больше немецких книг, чем за первые 50 лет от начала книгопечатания.[29] Вместе с тем борьба против феодализма и римской церкви принимает характер национального движения, а на знамени рыцарского восстания, с одной стороны, и крестьянской революции, с другой стороны, стоит призыв к объединению Германии в национальную империю, с ликвидацией территориальной власти крупных князей.

Национальную идеологию оппозиционных общественных групп хорошо передает первый стихотворный памфлет Ульриха фон Гуттена, написанный на немецком языке, где он отказывается от латыни своих прежних гуманистических сочинений, которая была доступна не всякому:

Latein ich vor geschrieben hab,
Das was ein jedem nicht bekannt,

Jetzt schrei ich an das Vaterland
Teutsch Nation in ihrer Sprach
Zu bringen diesen Dingen Rach.

„Прежде я писал на латыни, которая не всякому была понятна. Теперь я кричу отечеству, немецкой нации на ее языке—чтобы отомстить за эти дела".[30]

Как известно, социальная борьба эпохи Реформации завершилась не национально-политическим объединением Германии в государство нового типа, а укреплением территориальной власти князей, по выражению Энгельса—„представителей централизации в самой раздробленности". „...Недостаточное промышленное, торговое и сельскохозяйственное развитие Германии,—говорит Энгельс,—делало невозможным всякое объединение немцев в единую *нацию*... оно допускало лишь местную и провинциальную централизацию ...поэтому носители этой централизации в общем расщеплении, князья, составляли единственное сословие, на пользу которому должно было пойти всякое изменение общественных и политических отношений".[31] Тем не менее победа „бюргерской, умеренной" лютеранской Реформации (по терминологии Энгельса) в значительной части северной и средней Германии и во многих крупных городских центрах южной Германии (Аугсбург, Нюрнберг, Страсбург и др.) оказала существенное влияние на судьбы немецкого языка. В соответствии с идеологией бюргерской Реформации эта победа привела прежде всего к национализации просвещения (в начале—преимущественно клерикального), которая сделала его доступным широким слоям городского населения; важнейшими орудиями национализованного религиозного просвещения явились со времен Реформации богослужение и проповедь на немецком языке: немецкая церковная песня, исполняемая прихожанами, немецкая библия Лютера, богословские и моральные трактаты, рассчитанные на светского

читателя, наконец — немецкая школа, служащая целям религиозного просвещения — преподаванию библии и немецкого катехизиса Лютера перед обязательной конфирмацией достигшего совершеннолетия члена религиозной общины. Тем самым намечались новые пути для широкого распространения книжной, письменной языковой нормы и новые возможности непосредственного влияния этой нормы на разговорный язык „образованного общества“, т. е. прежде всего — социальной верхушки бюргерства. В этих условиях язык лютеровой библии, его катехизиса и церковных песен, его трактатов и посланий приобретает особый авторитет и основополагающее значение в дальнейшем закреплении письменной (а впоследствии и устной) нормы национального языка, прежде всего в лютеранской части Германии. Здесь библия Лютера была самой распространенной книгой, встречавшейся в каждом доме, где умели читать по-немецки. В одном только издании Ганса Луфта в Виттенберге, в течение первых пятидесяти лет (1534—1584), было отпечатано около 100 000 экземпляров этой книги;[32] одновременные тиражи других издательских центров западной, южной и северной Германии в сумме исчисляются, наверно, сотнями тысяч экземпляров.

В области грамматической структуры этого языка Лютер не был новатором: он примыкает к норме, установившейся в саксонской канцелярии. Известны его собственные слова: „Я не имею своего особого немецкого языка, я пользуюсь общим немецким языком (ich brauche der gemeinen deutschen Sprache), так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне (Ober- und Niederländer). Я говорю на языке саксонской канцелярии (ich rede nach der Sächsischen Canzelei), которой следуют все князья и короли Германии; все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего

князя, потому это и есть самый общий немецкий язык (die gemeinste deutsche Sprache)".[33] Правда, Лютер как будто не делает различия между двумя типами канцелярских языков восточной Германии, конкурирующими в эту эпоху, саксонским и австрийским, и даже намекает на какое-то объединение этих типов, о котором мы не имеем других сведений. „Император Максимилиан и курфюрст Фридрих, герцог Саксонский, объединили в Римской империи немецкие языки в один определенный язык (die deutschen Sprachen also in eine gewisse Sprache gezogen)".[34] Однако на самом деле язык Лютера приближается именно к средненемецкому типу, представленному саксонской канцелярией. Сам он был уроженцем восточной Тюрингии, области, непосредственно примыкающей к Саксонии и династически с нею объединенной. Он был профессором саксонского университета в Виттенберге и выступал под покровительством саксонского курфюрста Фридриха, возглавлявшего княжескую оппозицию против императора и лютеранскую партию. Местные особенности языка, характеризовавшие ранние работы Лютера, отпадают в ту эпоху его деятельности (1524—1532), которая окончательно связала его с Саксонией, как вождя умеренной, бюргерской реформации, проводимой в союзе с князьями. С этого времени, по условиям, указанным выше, Саксония становится не только политическим и культурным центром лютеранской Германии, но также приобретает особый авторитет в вопросах нормализации национального языка. „По сравнению с саксонцами все народы простоваты (Alle Nationen gegen Sachsen sind einfältig)"[35] — так говорил уже Лютер по поводу разнообразия немецких диалектов.

Впрочем, если язык Лютера в грамматическом отношении не является новшеством, то он, с другой стороны, не последняя ступень развития общене-

мецкого письменного языка. До середины XVII в. наблюдается ряд частичных изменений в области орфографии и грамматики, благодаря которым некоторые особенности языка Лютера воспринимаются уже как архаизмы и постепенно выходят из употребления, напр. написания типа eddel, fedder, odder; слабое склонение женского рода на en в косвенных падежах единств. числа: der zungen и т. д.; настоящее время II ряда сильных глаголов на eu: du kreuchst, er zeucht; старинные формы сильного прошедшего: ich schein, ich beisz — wir sungen, wir hulfen и др.[36]

Наконец, грамматическая норма канцелярий и печатников определила только формальную структуру языка Лютера. Словарный материал, которым пользуется Лютер, уже по самому содержанию не может восходить к языку канцелярских, т. е. юридических документов. В этом смысле Лютер выступает как противник канцелярского стиля, в защиту буржуазно-демократической языковой политики, приближающей письменный язык к разговорному: „Не следует спрашивать буквы латинского языка, как надо говорить по-немецки, следует спрашивать о том мать семейства (die Mutter im Hause), детей на улице, простого человека (den gemeinen Mann) на рынке и смотреть им в рот (denselbigen aufs Maul sehen), как они говорят, и сообразно с этим переводить, тогда они уразумеют и заметят, что с ними говорят по-немецки“.[37] В соответствии с этим принципом Лютер в своем переводе библии и в других сочинениях широко черпал словарный материал из разговорного языка той части Германии, в которой он вырос и воспитался, т. е. из восточно-средненемецких говоров Тюрингии и Саксонии, граничащих с нижненемецкой областью. Словарь Лютера был наименее понятен для его читателей в западной и южной Германии, так как формальные унифицирующие тен-

денции канцелярий и первых печатников почти не затрагивали словарной синонимики территориальных диалектов. Первые издания Лютеровой библии в Страсбурге, Аугсбурге, Базеле (1523) сопровождаются словарями, переводящими Лютера „на наш верхненемецкий язык“ (auf unser hochdeutsch).[38] Особенным успехом пользовался, повидимому, словарь издания Адама Петри в Базеле, заключавший 200 слов и перепечатывавшийся несколько раз.[39] Словари эти очень поучительны. Во многих случаях в современном языке победили слова, представленные у Лютера, вытеснив конкурирующее западное или южное слово в сферу диалекта. Напр., лютер. beben — южн. bidmen („дрожать“), лютер. bunt — южн. gespräckelt, gescheckt („пестрый“), лютер. Hügel — южн. Bühel („холм“), лютер. Lippe — южн. Lefze („губа“), лютер. Splitter — южн. Spreiss, Agen („заноза“) и др. Реже побеждает западное или южное слово, а синоним, употребленный у Лютера, ощущается теперь как архаизм („библеизм“) или даже как провинциализм: напр., vermählen — лютер. vertrauen („обвенчать“), Teich — лютер. Pfuhl („пруд“), Armut (Notdurft) — лютер. Darb („нужда“), Nutzen (Gewinn) — лютер. Frümmen и др. Наконец, в некоторых случаях в современном литературном языке конкурирующие синонимы сохранили полное равноправие и являются теперь дублетами, дифференцированными либо семантически, либо сферой своего географического распространения: напр., лютер. Antlitz — южн. Angesicht („лицо“); лютер. fett — южн. feist („жирный“); лютер. Gefäss — южн. Geschirr („сосуд“); лютер. Weinberg — южн. Weingarten („виноградник“) и др. Как мы увидим дальше, разговорный язык господствующих классов в Германии до сих пор не унифицирован полностью и обнаруживает именно в области словаря весьма существенные географические различия.

4. Мы не можем остановиться более подробно на истории постепенного проникновения грамматической нормы языка Лютера в письменные диалекты и устную речь различных частей Германии. Необходимо отметить здесь лишь самые важные участки и этапы языковой борьбы, продолжающейся в XVI — XVII вв. и завершающейся только в конце XVIII в., в эпоху подъема буржуазной национальной литературы. В центральной и западной Германии языковое объединение, намеченное уже до Лютера с начала XVI в., завершается очень быстро, по крайней мере — в области письменного языка. Напротив, юго-восток (Бавария и Австрия) надолго замыкается в языковом сепаратизме: здесь попрежнему господствует письменная норма императорской канцелярии, правда — в грамматическом отношении не столь отличная от лютеровой нормы (p- вм. b-; ai вм. ei; uͦ, uͤ; отпадение конечного -e и др.). Идеологическая борьба против лютеранства соединяется с вопросами языковой политики в католических переводах библии, ориентированных на норму „императорского“ языка, из которых наибольшей известностью пользуется так наз. „ингольштатская библия“ главного теоретического противника Лютера, баварского профессора Экка (1537).[40] Языковое обособление Баварии и Австрии поддерживается растущим политическим обособлением юго-востока от средней и северной Германии и связанным с ним религиозно-политическим антагонизмом, особенно резко сказавшимся в эпоху тридцатилетней войны: борьба Пруссии и Австрии в XVIII—XIX вв. продолжает и углубляет этот исторический конфликт, завершающийся исключением Австрии из национального объединения Германской империи Бисмарка (1871). Немецкие грамматики XVII в., примыкающие к „саксонской“ (лютеранской) традиции, неоднократно

полемизируют против „грубых“ баварско-австрийских провинциализмов как в разговорной, так и в письменной речи. Любопытны замечания грамматики Шоппе (Scioppius), относящиеся к эпохе тридцатилетней войны (1629): „Ни один австриец, сколь высокого мнения он бы ни был о себе, не скажет, что он говорит или пишет лучше, чем Мельхиор Клезель, епископ венский. Ибо ничто, как красноречие, с которым он в течение долгих лет громил ересь в своих проповедях, помогло ему подняться из очень скромного положения до вершины славы и почета. И все же можно услышать из уст его и частично даже прочесть в его писаниях такие выражения, как, напр., mir вм. wir, enck вм. euch, ees вм. ihr, enten вм. daryben или jenseit, thaan вм. thun и т. д., es gehört mein, dein, sein вм. es gehört mir, dir, ihm или es ist mein, dein, sein. Какого австрийца вы можете назвать из свиты императора, кто не безобразил бы своего языка такими же или еще худшими баваризмами?“[41]

Даже в XVIII в. грамматические особенности „императорского“ письменного языка находят в Австрии защитников, полемизирующих против „саксонцев“. Так, Антесперг, автор „Императорской немецкой грамматики“ и „Императорского немецкого словаря“ (1747), изданных в Вене, примыкая к общенемецкой орфографии и борясь с наиболее резкими австрийскими диалектизмами в грамматике, тем не менее допускает ряд местных грамматических провинциализмов наравне с соответствующими общенемецкими формами, напр.: der Butter (die Butter), der Luft (die Luft), das Armut (die Armut), die Bach (der Bach); du wilt (willst), du solt (sollst), du därfst (darfst); geloffen (gelaufen), gekennt (gekannt), gebrennt (gebrannt); ich trunk (trank), ich spunn (spann), es klung (klang); сослагательное наклонение прошедшего времени без перегласовки: grube, truge, vergasse, pfloge (вм. grübe,

vergässe и т. д.); в особенности же — отпадение неударного -е в конце слова, характерное для южной и значительной части средней Германии: der Knab, die Woch, der Nam, die Kron и т. п.[42] Против „саксонского“ -е („е Saxonicum“) как лютеровой ереси выступает еще в 1755 г. патер Дорнблют, полемизирующий с Готшедом, защитником саксонской нормы и языковой унификации.[43] С другой стороны, представители буржуазного Просвещения в лютеранской Германии видят в языковом сепаратизме юго-востока проявление религиозного фанатизма католиков и иезуитской пропаганды. „Сочинения Геллерта, Рабенера, в особенности Гесснера, — пишет такой ревнитель новой буржуазной культуры,—были запрещенными книгами даже для учителей [иезуитских коллегий]. Даже „Учение о языке“ Готшеда, как уверял меня один бывший иезуит, приходилось прятать от начальников. Впрочем, католики действительно извлекали из этих произведений не мало яду. Уже одно лютеранское -е, к которому они постепенно привыкали, читая эти книги — на горе себе! Прежде это звучало так подлинно по-католически (so genuin katholisch): die Seel, die Cron, die Sonn, die Blum и т. д., — а теперь они пишут почти сплошь: die Seele, die Sonne, die Krone, die Blume, — совсем как еретики!“[44]

Развитие немецкой буржуазной литературы во второй половине XVIII и в начале XIX в., связанное с экономической и культурной гегемонией северной и средней Германии, положило конец этому языковому сепаратизму Баварии и Австрии, по крайней мере — в области письменного языка. В разговорном языке господствующего класса (gebildete Umgangsprache) сохранилась, однако, характерная провинциальная окраска произношения. „Лет тридцать тому назад,—пишет В. Брауне в 1904 г.,—в Австрии даже в высшем обществе употребляли литературный язык

с совершенно австрийским произношением (ganz mit österreichischer Lautgebung), и если теперь и там значительно приблизились к языковой норме (Normalsprache), то все же и сейчас значительная часть образованных австрийцев говорит, напр., только daitsch и Bemen вм. deutsch и Böhmen..."[45]

Языковой сепаратизм сказывается отчетливо и в Швейцарии, где он опирается на экономическую и политическую обособленность страны, которая приводит, в эпоху тридцатилетней войны, к окончательному выделению Швейцарской республики из имперского единства. Бюргерская реформация приводит в немецкой Швейцарии, как и в Германии, к национализации религиозного просвещения; но языковая форма национального просвещения дается здесь переводом библии цюрихского реформатора Цвингли (1524), примыкающим к традиции местного верхнерейнского письменного диалекта, который сохраняет, как мы видели, старые долгие гласные и целый ряд других архаических и местных особенностей в грамматике и словаре. Цюрихская библия Цвингли становится в реформатской церкви Швейцарии канонической книгой, как библия Лютера в лютеранской части Германии. Тем не менее в конце XVI в. и в первой половине XVII в. новые формы языка постепенно проникают в обиход швейцарских канцелярий. Однако еще в середине XVII в. цюрихский совет пишет курфюрсту пфальцскому на местном языке, и эта традиция еще находит принципиальных защитников.[46] Во второй половине XVII в. письменный язык Швейцарии окончательно вытесняется общенемецким. Цюрихская библия, после продолжительной полемики, переводится на немецкий язык в 1660 г.,[47] однако еще в 1671 г. совет города Берна рекомендует пасторам „воздерживаться в проповедях от необычного нового немецкого языка, который разумных раздражает,

а простой народ не научает христианской вере“.[48] В XVIII и XIX вв. швейцарцы принимают деятельное участие в создании немецкой буржуазной литературы: в XVIII в. Бодмер и Брейтингер, Галлер, Лафатер и др. пишут на общенемецком языке, хотя и не без некоторых провинциализмов,[49] в защиту которых против диктатуры „саксонца“ Готшеда выступают с принципиальными возражениями именно швейцарские критики Бодмер и Брейтингер;[50] швейцарские писатели середины XIX в., Готфрид Келлер, К. Ф Мейер и др., уже свободны от таких провинциализмов. Однако разговорный язык швейцарской буржуазии сохранил до нашего времени ярко выраженный диалектологический характер: „Schwyzerdütsch“ — „швейцарско-немецкий“ — является своего рода диалектологической „койнэ“, которая, с значительными местными вариациями, царит в языковом обиходе образованного швейцарца во всех случаях, кроме официальных (церковь, школа, парламент, театр), где, однако, тоже достаточно ярко выступает местная провинциальная окраска общенемецкого языка.[51] Такое резкое двуязычие даже господствующего класса поддерживалось, кроме политического обособления Швейцарии, ее прочными политическими и культурными связями с Францией (и с французской Швейцарией). По свидетельству А. Социна, „образованный швейцарец“ середины XIX в. предпочитал в более торжественных случаях употреблять французский язык, „потому что ему легче было усвоить чужой язык, чем другую форму родного, столь резко отличающуюся от привычной для него с детства; к тому же в прежнее время преобладало воспитание на образцах французской литературы; впрочем, эта тенденция в настоящее время (1888) исчезает, под влиянием изменившихся политических отношений“.[52] Так было и в Эльзасе до его присоединения к Германии (1871): как ука-

зывает П. Кречмер, „французский язык в основном занимал здесь место общенемецкого языка (Hochdeutsch), тогда как языком народа и обиходным языком образованных (familiäre Sprache der Gebildeten) служил эльзасский диалект".[53]

Самым важным завоеванием немецкого национального языка в XVI—XVII вв. является обширная область нижненемецких диалектов (Niederdeutsch). Количественные расхождения между нижненемецким и верхненемецким настолько велики, что делают взаимное понимание совершенно невозможным, почти в той же степени, как между немецким и английским или скандинавскими языками: в области консонантизма — отсутствие II перебоя согласных, в области вокализма—сохранение старых долгих (î, û, iu) и монофтонгические соответствия для верхненемецких дифтонгов (ê вм. ie, ei; ô вм. uo, ou), в области лексики — своеобразный запас слов, не имеющий соответствия в средненемецких и южнонемецких говорах. В то же время нижненемецкие диалекты уже с конца VIII в., эпохи саксонских войн Карла Великого, насильственно включивших нижнесаксонских „варваров" в круг культурных влияний феодально-христианской монархии Каролингов, подвергаются непрерывному языковому воздействию передовых в экономическом и культурном отношении верхненемецких территорий, которым и в области поэтического творчества эпохи феодализма принадлежит безусловная гегемония над нижненемецким севером. Свидетельством языкового импорта с юга в нижненемецких первопечатных книгах XV в. являются отдельные слова, по своим фонетическим признакам (наличность перебоя согласных) обнаруживающие верхненемецкое происхождение: напр., ganz, Herz, Schatz, Glanz, Zorn, zittern и т. п. (верхненемецкое z вм. нижненемецкого t).[54]

Для языковых отношений XVI в. характерно упо-

требление смешанного письменного диалекта, возникшего из неумелой попытки приблизить родной нижненемецкий к новой верхненемецкой норме: „missingsch“ — „латунный“ язык (может быть с каламбурным переосмыслением слова „meissnisch“ — „мейссенский“, т. е. образцовый „саксонский“ язык г. Мейссена); на таком языке написана, напр., автобиография почтенного магдебургского бюргера, члена городского совета (Ratsherr) Георга Торкватуса (около 1530 г.).[55] Отдельные канцелярии, в особенности — в тех частях северо-восточной Германии, которые издавна поддерживали торговые и культурные связи с соседней Саксонией (Магдебург, Берлин), уже в начале XVI в. переходят на верхненемецкий. Тем не менее на протяжении всего XVI в. нижненемецкие письменные диалекты сохраняют свою самостоятельность. С 1522 года до начала XVII в. насчитывается 15 различных изданий лютеровой библии на нижненемецком — последние в Любеке (1615), Гамбурге (1620), Госсларе (1621).[56] К этому же времени относятся последние примеры церковной проповеди на нижненемецком.[57] В канцеляриях этот процесс завершился уже около 1600 г.[58] Характерно, что севернонемецкая драматическая литература конца XVI — начала XVII вв. пользуется нижненемецким только для характеристики социально-низких комических персонажей.[59] Это показывает, что к тому времени нижненемецкие говоры опустились в социальной оценке господствующих классов до положения „простонародных“ диалектов. Термин „Plattdeutsch“, появляющийся в конце XVII в. (1691), обозначает в буквальном смысле — язык немецкой низменности („н и ж н е-немецкий“), но вместе с тем он переосмысляется как социально „низкий“ язык („Platt“), в противоположность верхненемецкому („Hochdeutsch“), понимаемому как язык социальных верхов (первоначально — язык „верхней“, т. е. гори-

стой части Германии).[60] С середины XVII в. со стороны местных патриотов, выражающих настроение демократически настроенных бюргерских групп, неоднократно повторяются жалобы, что „образованные“ не понимают народного языка.[61] Однако еще в 1727 г. англичанин, посетивший Бремен, с удивлением констатирует, что население говорит исключительно на нижненемецком диалекте, тогда как верхненемецкий язык царит в литературе, богослужении и переписке.[62]

Современное состояние лучше всего характеризует анкета, проведенная Гаусгальтером (Haushalter) в 1886 г. — в целях установления границы между нижненемецким и верхненемецким восточнее Эльбы: большинство ответов констатирует отсутствие определенной географической границы и признает только границу социальную (Abgrenzung nach Ständen); горожане говорят на верхненемецком (национальном) языке, но употребляют Plattdeutsch, напр., в разговоре с прислугой, крестьяне обыкновенно говорят на соответствующем нижненемецком диалекте, но понимают также Hochdeutsch, которому учились в школе.[63] Известный германист Гольтгаузен характеризует языковые отношения своего родного города Зоста (Soest) такими чертами (1885): „В городе на хорошем и чистом нижненемецком языке говорят только низшие классы и люди пожилые из среднего класса (Mittelstand). Через школу, военную службу, промышленность, железнодорожное сообщение верхненемецкий проникает все сильнее и скоро окончательно вытеснит язык отцов. Многие дети уже совсем не умеют говорить на нижненемецком или говорят очень плохо, многие люди понимают, но сами никогда не говорят. У большинства старый родной язык находится в незаслуженном презрении, и даже более зажиточные крестьяне, часто бывающие в городе, желают, чтобы с ними говорили на верхненемецком языке, хотя дома на своих дворах они говорят еще на

подлинном, унаследованном от предков диалекте".[64] За последние 50 лет, в условиях интенсивнейшего промышленного развития, тенденции, отмеченные Гольтгаузеном, имели возможность осуществиться в полной мере.

Приобщение северной Германии к языковому объединению немецкого национального языка сыграло существенную роль в установлении господствующей ныне в немецком национальном языке произносительной нормы. Верхненемецкий национальный язык (Hochdeutsch), в его письменной форме, явился для северонемецкой буржуазии „чужим языком"; благодаря книжному характеру процесса усвоения этого языка и отсутствию точек соприкосновения с местными говорами, в разговорной речи верхов буржуазного общества северной Германии установилась та образцовая, ориентированная на письменную норму чистота произношения, которая не встречается в средней и южной Германии, где местные верхненемецкие говоры, более близкие к национальному языку, по-разному, но всюду достаточно заметно, окрашивают разговорную речь. Уже в XVIII в. грамматики отмечают образцовый характер произношения немецкого национального языка в высших слоях городского общества северной Германии.[65] Гете в разговоре с Эккерманом о произношении начинающих актеров (1824) хвалит северных немцев, произношение которых „чистое и во многих отношениях может считаться образцовым".[66] В конце XIX в. фонетист Фиетор выдвигает формулу образцового немецкого произношения: „верхненемецкая языковая форма в нижненемецком произношении" („hochdeutsche Sprachform in niederdeutscher Aussprache").[67] Это касается в особенности произношения звонких b, d, g, s, которые в большинстве верхненемецких говоров (в том числе и в городах) заменяются слабыми глухими (lenes) и частично смеши-

ваются с t, p, k, ss, тогда как в нижненемецком произношении имеются оба ряда согласных, как в письменном языке; также сохранения лабиализации в гласных ö, ü, eu, которые в средней и южной Германии произносятся как e, i, ai (kenig вм. könig, glick вм. glück, laite вм. leute). Для средней и южной Германии звонкие согласные и лабиализованные гласные, исчезнувшие в живом произношении, оставались в сущности архаизмами орфографии, отставшей от новых произносительных навыков; напротив, в северной Германии ориентированное на орфографию произношение, имея возможность опереться на фонетические особенности местных диалектов, сохранило эти звуки в языковой практике усвоивших национальную норму высших классов.[68] В XIX в. в соответствии с экономической и культурной гегемонией северной Германии, этот северонемецкий тип произношения национального языка, поддержанный орфографией, заново насаждается в верхненемецких областях через книгу и школу. В настоящее время он окончательно канонизован в так наз. „сценическом произношении" („Bühnendeutsch").

Только небольшая группа нижненемецких диалектов в политических границах современной Голландии в XVI—XVII вв. окончательно выделяется из общенемецкого языкового единства и слагается в самостоятельное национальное образование голландского языка. Процесс языкового обособления Нидерландов подготовляется еще в XII—XIII вв., в эпоху экономического расцвета Фландрии, передового участка средневековой Германской империи; но решающую роль в процессе политического и культурного обособления сыграло бурное экономическое развитие Голландии в XVI—XVII вв., ее роль в международной колониальной торговле как передовой капиталистической страны, создание самостоятельного национального государства в эпоху нидерландской

революции, культурное обособление от Германии благодаря кальвинизму как религиозной форме передовой буржуазной идеологии эпохи Реформации. С точки зрения происхождения голландский язык примыкает к группе нижнефранкских диалектов, расположенных в низовьях Рейна, и обнаруживает лишь незначительные расхождения с родственными нижнефранкскими говорами в самой Германии. Но не эти количественные расхождения определяют историческое место голландского языка как языка национального и в этом смысле вполне равноправного с немецким: решающее значение имеет, как мы уже говорили, то специфическое качество, которое он приобретает, осуществляя социальную функцию всякого национального языка—быть выражением господствующей национальной идеологии.

5. Существенная роль в унификации немецкого национального языка XVI—XVIII вв., сперва в его письменной, потом и разговорной форме, принадлежала сознательным усилиям теоретиков языка, грамматиков-нормализаторов. Грамматические трактаты, посвященные немецкому языку, появляются в большом числе, начиная с XVI в.: сперва—в целях помощи писцам канцелярий; несколько позже—для обучения грамоте и письму в элементарном школьном преподавании, ориентированном на библию и катехизис, отчасти—как пособия для иностранцев; еще позже (XVII—XVIII вв.)—с установкой на обработку литературного языка, в связи с деятельностью языковых академий („Sprachgesellschaften") и зарождением национальной буржуазной литературы. Языковой сепаратизм католического юго-востока и Швейцарии отчетливо проявляется в обосновании и защите местного письменного диалекта, в Швейцарии—до середины XVII в. (Joh. Kolross, 1530, H. J. Redinger, 1656), в Баварии и Австрии—до первой половины XVIII в. (J. B. V. Antesperg, 1747).[69] Харак-

терно совершенное отсутствие нижненемецких грамматических трактатов, свидетельствующее о ранней потере социальной значимости нижненемецкими диалектами. Наиболее авторитетные грамматики ориентируются на письменную норму языка лютеровой библии. В XVI—XVII вв. таким авторитетом в лютеранской Германии пользуется Клаюс, автор „Грамматики немецкого языка, выбранной из немецкой библии Лютера и других его книг“ (Clajus „Grammatica germanicae linguae, ex Bibliis Lutheri germanicis et aliis eius libris collecta“, Лейпциг, 1578); грамматика Клаюса выдержала 11 изданий—до 1728 г. Во второй половине XVII в. ее заменяет Шоттель (Schottelius „Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubtsprache“, Брауншвейг, 1663).

Но языковая норма лютеровой библии могла служить опорой только в деле грамматической унификации письменной речи. В области языка разговорного немецкие грамматики, в условиях феодальной раздробленности Германии XVI—XVIII вв. и ее культурной децентрализации, не имеют такого бесспорного образца, каким в передовых, национально-объединенных государствах Запада, Англии и Франции, являлся издавна язык Лондона и Парижа. С полной отчетливостью это различие констатировано было уже в то время. Лейбниц, напр., считает, что французский язык обладает гораздо более прочным единством, чем немецкий, потому что Франция имеет в своем королевском дворе центр, на который ориентируется вся страна, в то время как в Германии императорский двор в Вене не играет такой роли.[70] То же самое вынужден признать даже Антесперг (1747), защитник „императорского“ языка: „Некоторые полагают, что тот диалект самый лучший в стране, на котором говорят при дворе или в резиденции. Однако мы знаем по опыту, что в Германии дело обстоит не так“.[71]

Большинство теоретиков, придерживающихся лютеровой нормы, в поисках за авторитетной формой устной речи останавливаются на Саксонии. Каспар Штилер (1691), посвящая свой грамматический труд курфюрсту саксонскому, называет его властителем „истинчых резиденций и мест рождения верхненемецкого имперского языка“ („der wahren Sitzund Stammhäuser der hochdeutschen Reichssprache“) — городов Дрездена, Виттенберга, Лейпцига и Галле.[72] По мнению Иеронима Фрейера, автора известной „Немецкой орфографии“ (1722), „не подлежит сомнению, что в Галле, Лейпциге, Виттенберге, Дрездене и других благородных городах той же местности говорят на самом лучшем немецком языке“.[73]

Выше было уже указано, что в XVII в. и первой половине XVIII в., до семилетней войны, Саксония сохраняет положение передовой в экономическом и культурном отношении территории, которое она занимала в эпоху Реформации. Саксонские университеты (Лейпциг, Виттенберг, Иена) становятся в XVII в. главными центрами протестантской образованности, обслуживающими всю лютеранскую северную и среднюю Германию. Один из последних защитников „саксонской нормы“ в XVIII в., грамматик Аделунг, правильно учитывает все эти обстоятельства, на которые было указано выше: „Курфюршество Саксонское, после падения Швабии, сделалось, благодаря горному делу, мануфактурам, фабрикам и торговле, одной из самых цветущих провинций Германии; благодаря этому обстоятельству и язык во многих отношениях выиграл, тогда как в остальных провинциях, вследствие упадка благосостояния, он находился в пренебрежении“. В эпоху Реформации саксонские земли „сделались не только местопребыванием исправленного религиозного учения, но также колыбелью всех наук и искусств, которые, благодаря реформаторам и их друзьям, были освобождены от преж-

него варварства и в короткое время достигли высокой степени просвещения". [74] Учитель Аделунга, Готшед, подчеркивает роль Саксонии в немецком просвещении XVII в. и начала XVIII в., в развитии немецкой литературы, университетской образованности и книжного дела. Он приписывает наибольший авторитет в вопросах языка той территории Германии, „которая произвела наибольшее число хороших писателей и обнаружила наибольшее старание сделать свой язык правильным, красивым и приятным. Можно легко заметить, что это—та самая провинция, в которой сосредоточено наибольшее число высших и средних школ, и где поэтому печатается, продается и читается больше всего книг". [75]

Впрочем, указания грамматиков на образцовое „саксонское" произношение („мейссенское" или „лейпцигское") ориентируются всегда на определенную социальную норму: „ибо хорошо известно,—говорит Шоттель, — насколько груб и неправилен бывает мейссенский диалект в деревне и среди крестьян" („wie breit und verzogen der meissnische Dialekt auf dem Lande und unter den Bauern sei"). [76] Согласно известной формуле Аделунга, „немецкий литературный язык (die hochdeutsche Schriftsprache) возник и развился в высших классах самой культурной провинции (in den oberen Klassen der kultivirtesten Provinz), поэтому из всех немецких диалектов это — самый благородный, благозвучный и развитой". Поэтому образцового произношения (allgemeine beste Aussprache) следует искать в Саксонии, в особенности в Мейссене, „однако и здесь не среди толпы (nicht unter dem grossen Haufen), но в высших классах населения и в хорошем обществе" (in den höheren Klassen und den feinen Gesellschaften). [77]

Вообще свидетельства грамматиков отчетливо вырисовывают социальную сферу действия той языковой нормы, которая выступает с претензией на роль

общенационального языка. Во всех грамматических трактатах единая норма письменной речи противопоставляется многообразию „простонародных“ диалектов, которые, по словам одного ученого автора XVI в., у немцев „гораздо более многочисленны, чем у греков“.[78] Для характеристики этих диалектов сочинения грамматиков заключают множество ценных замечаний: очевидно, что с распространением национального языка, как нормы письменной речи и разговорного языка господствующих классов, отчетливее выступает социальная дифференциация диалектов, и местные особенности речи становятся характерным признаком социально-низкой языковой сферы. Носителями диалекта являются, по терминологии грамматиков XVI—XVII вв.: „simpliciores et incultiores“, „inculti et agrestes“ (Laurentius Albertus, 1573), „crassiores“, „vulgus (id est homines imperiti et patriae suae fines nunquam egressi)“ (Rivius, 1578) и т. п., т. е. люди „простые“, „необразованные“, „грубые“, „неопытные“, „не покидавшие пределов своей родины“ — „сельские жители“ и даже просто „чернь“. Диалектам противопоставляют „изящное произношение“ („pronuntiationem elegantem“, Rivius), которым отличаются „люди опытные и заботящиеся об изящном“ („expertes et elegantiae studiosi“, Oelinger, 1574).[79] По словам Лаврентия Альберта (1673), немецкому языку уделяется большое внимание людьми учеными и начитанными, а также — при дворах и в семействах людей высокопоставленных и знатных; эти люди, ведущие изящный образ жизни, окруженные почетом и блеском, не терпят небрежности и испорченности языка.[80] Поэт Филипп фон Цесен (1651), один из защитников „саксонской“ нормы, рекомендует как образец изящное произношение „знатных лейпцигских дам“ („fürnehme Frauenzimmer zu Leipzig“), „потому что они не общаются с чужими и простыми людьми или с сельскими жителями и обычно чи-

тают хорошие книги, с целью приобрести изящное произношение и тем больше понравиться молодым людям“.[81]

Таким образом правильный верхненемецкий язык (Hochdeutsch) понимается как социальная норма. С этой точки зрения образцовый язык не связан с определенной территорией, но является признаком культуры, образования. Сторонники надтерриториальной нормы национального языка, отрицая преимущественное значение Саксонии, должны, по необходимости, искать опоры в письменной форме национального языка. Немецкий язык — не особый диалект среди других, заявляет, напр., Бёдикер (1690): „он создался из различных диалектов, благодаря трудолюбию ученых, и употребляется во всей Германии в писаниях ученых и в разговоре знатных людей“.[82] Австриец Антесперг (1747) противопоставляет многообразию немецких диалектов, которых он насчитывает „по крайней мере тридцать семь“, немецкий язык, „принятый учеными“ („die von den Gelehrten angenommene deutsche Sprache“), которым следует руководствоваться в вопросах грамматики.[83] Шоттель (1663), величайший грамматический авторитет во второй половине XVII века, смеется над претензией жителей Мейссена и некоторых других мест Германии „быть судьями в вопросах верхненемецкого языка (hochdeutsche Sprache) на основании своего родного диалекта“.[84] По мнению Шоттеля, „верхненемецкий язык — не диалект в ряду других диалектов, это—германский язык в собственном смысле (lingua ipsa germanica), как его принимают и употребляют люди ученые, мудрые и опытные“.[85] Грамматическая нормировка является основным отличием письменного языка от диалектов, на которых говорит „чернь“. Диалекты являются результатом „порчи языка“ и первоначально были чужды немецкому языку.[86] Так создается научная

теория, просуществовавшая до начала XIX в., которая рассматривает диалект как результат искажения национального языка в устах необразованных „низов“ общества. „Чернь, — утверждает Готшед, — повсеместно обнаруживает склонность к неправильностям и искажениям слов (Unrichtigkeiten und Verfälschungen der Wörter), которые отличаются друг от друга от одного города к другому, от одной деревни к другой“. За кем же следовать в вопросах языковой правильности? За „знатными и учеными, из которых только немногие подражают непостоянству черни“.[87]

Окончательная фиксация письменной нормы немецкого национального языка, его орфографии и грамматики, завершается в XVIII в. Рост немецкой национальной литературы в эпоху нового подъема буржуазии придает этой норме решающий авторитет, опирающийся на растущее национальное сознание молодой буржуазии. Однако в области разговорного языка объединительные тенденции проявляются гораздо менее интенсивно. „Не подлежит сомнению, — пишет проф. Гирт, — что почти на всем протяжении XVIII в. не приходится говорить об общем, повсюду принятом произношении“.[88] Орфоэпические трактаты сообщают нам о некоторых наиболее характерных провинциализмах в языке „образованного общества“: в Вене (1730) произносят еще старые дифтонги (fues вм. fu:s), говорят scht вместо st (luscht, gascht), употребляют enker (старый dualis) вместо euer;[89] для Пфальца (1769) также характерны lascht, gascht, luscht, делабиализованные гласные heren, bes, вм. hören, böse, смешение в произношении d и t (благодаря отсутствию звонких) и мн. др.[90] Гете, как директор Веймарского придворного театра (1803), советует актерам избегать провинциализмов в патетической декламации, напр. произношения интервокального -b- как -w- (lewen

вм. leben), что, с современной нам точки зрения, является одним из грубых признаков мещанского просторечия и т. д.[91]

Особенно интересны биографические материалы, характеризующие произношение немецких классиков XVIII в. Гете, уроженец Франкфурта, по своему происхождению принадлежавший к чиновным и образованным верхам городского патрициата, сохранил до конца своей жизни, по известному свидетельству Гейне, характерные особенности франкфуртского произношения. Попав молодым студентом в Лейпциг, центр тогдашнего буржуазного просвещения и моды, Гете вызывает насмешки своих товарищей провинциализмом своего костюма и языка. „Я родился и был воспитан в южнонемецком диалекте (in dem oberdeutschen Dialekt), — писал об этом Гете в своей автобиографии (1812), — и хотя мой отец всегда заботился об известной чистоте языка и с ранних лет обращал внимание своих детей на то, что можно назвать действительными недостатками этого наречия, стремясь научить нас лучшему, тем не менее я сохранил некоторые более глубокие особенности языка, которые я любил подчеркивать, потому что они мне нравились своей наивностью, и каждый раз это вызывало строгие замечания со стороны моих новых сограждан". „Вместе с тем я постоянно слышал, что надо говорить как пишешь и писать как говоришь, тогда как для меня речь и письмо являлись чем-то раз навсегда различным и вполне равноправным в своей особой области".[92] Орфографические ошибки в рукописях Гете (напр., в прозаической „Ифигении", 1779) обнаруживают некоторые провинциальные особенности его произношения, напр. делабиализацию гласных: leichten (вм. leuchten), zeigt (вм. zeugt); спирантное произношение интервокального -g-: weichern (вм. weigern); колебания в долготе: trettet (вм. tretet). Рифмы

Гете подтверждают эти особенности: напр., в „Фаусте“ — neige: schmerzenreiche, steigen: reichen (спирантное -g-); Freude: heute, Ende: Testamente (смешение звонких и глухих).[93]

Еще выразительнее рифмы у Шиллера. Как выходец из низов городского мещанства Вюртемберга, Шиллер, повидимому, в молодости говорил с сильным швабским акцентом; это отразилось, между прочим, на успехе его новой пьесы „Заговор Фиеско“, провалившейся, главным образом — благодаря его чтению, в кружке просвещенных и знатных ценителей искусства в Маннгейме (1782). Шиллер рифмует: Gesängen: schwingen; beschimmert: dämmert, Finger: Sänger, так как в швабском диалекте i перед носовыми произносится как e; он соединяет Kleider: heiter, raten: laden, Baden: taten, heissen: Eisen, Rose: Schlosse, потому что звонкие согласные в его произношении совпадают с глухими; он допускает сочетания типа strahlet: wallet, erschlaffen: trafen, Gewinst: Dienst, glühn: Königin, strömen: schwimmen, потому что долгота и краткость гласных имеют в диалекте другие законы, чем в литературном языке.[94] Буржуазные исследователи говорили на основании рифм Шиллера о его „немузыкальности“;[95] мы скажем наоборот — он рифмовал по слуху, но произношение его имело яркую диалектологическую окраску, потому что Шиллер был выдвиженец из низов мелкой буржуазии. По этому поводу Брауне замечает: „Когда Шиллер рифмует Fäuste: Geiste, он, вероятно, произносил Faischte: Gaischte“.[96] В этом смысле история немецкой рифмы в XVI—XVIII вв. дает весьма богатый материал для характеристики „литературного произношения“.[97]

6. Современное состояние языкового развития Германии носит отчетливые следы ее исторического прошлого.

Крестьянские говоры, в своей территориальной раздробленности являющиеся пережитком поместно-территориальных диалектов эпохи феодализма, обнаруживают в Германии особенно значительное распадение. В чисто-количественном отношении расхождения между крестьянскими говорами не только нижненемецкими и верхненемецкими, но и в пределах, напр., верхненемецкого между баварскими, швабскими, гессенскими и др., гораздо глубже, чем различие между отдельными славянскими языками, как польский и чешский или сербский и болгарский. Крестьянин из окрестностей Мюнхена не поймет не только крестьянина из окрестностей Гамбурга, но и более близкого соседа из окрестностей Штутгарта, Гейдельберга, Марбурга, если они будут говорить друг с другом не на национальном немецком языке, которому обучались в школе, а на своих родных баварских, швабских, пфальцских или гессенских диалектах. Филолог-германист, проф. Гирт, сообщает по этому поводу: „Я сам не могу понять ни баденца, ни баварца, ни верхнегессенца, когда они говорят на своих диалектах... Между северными немцами и швабами или баварцами нет никакой возможности взаимного понимания“.[98]

К этому количественному моменту расхождений присоединяется, с другой стороны, крайняя территориальная раздробленность крестьянских говоров. Если двигаться в западной Германии, в прирейнских землях, классической стране феодальной чересполосицы, в североюжном направлении, напр., от Кельна до Базеля, следуя правому или левому берегу Рейна, мы пересекаем через каждые 40—50 километров глубокие диалектологические границы; более мелкие различия встречаются через 10—15 километров, а иногда от села к селу. Исследования немецких диалектографов показали, что границы между говорами совпадают с сетью мелких и мельчайших фео-

дальных владений позднего средневековья,[99] что подтверждает нашу точку зрения на реликтовый характер территориальной раздробленности крестьянских говоров. В условиях экономической отсталости и политической раздробленности феодальной Германии, сохранившейся в полной неприкосновенности до эпохи французской революции и наполеоновских войн, территориальная дифференциация крестьянских диалектов должна была оставить именно в Германии особенно глубокие следы.

Не менее характерна для Германии территориальная раздробленность мещанских говоров. Как уже было сказано, диалекты городской мелкой буржуазии (Halbmundart) занимают промежуточное положение между местными крестьянскими говорами (Mundart) и разговорным языком господствующего класса (gebildete Umgangsprache): они утратили первичные диалектологические признаки, служившие существенным препятствием для языкового общения, но сохранили менее заметные вторичные признаки. Материалы, собранные в Германии по современным городским диалектам, в сущности относятся именно к „мещанским говорам“, хотя социальный носитель этих говоров дифференцирован буржуазными лингвистами недостаточно четко. На основании этих материалов можно установить, что, по сравнению с западными странами, Германия сохранила в городском просторечии гораздо более заметные территориальные различия.[100] При этом местная диалектологическая окраска поднимается в Германии в более высокие социальные группы, а в некоторых областях немецкого языка (напр., в Швейцарии, Эльзасе, Вюртемберге) городской диалект является не только „семейным“, но и „обиходным“ языком так наз. „образованного общества“, т. е. господствующего класса.[101] С другой стороны, знание местного диалекта, по крайней мере—пас-

сивное, можно считать у коренных жителей данного города общераспространенным, так что до сих пор во всех слоях общества, хотя и в разной форме, сохранились пережитки двуязычия, характерного для переходной стадии в развитии национального языка.

Такая жизненность крестьянских и мещанских диалектов Германии явилась предпосылкой для развития с конца XVIII и начала XIX века богатой литературы на диалектах.[102] По развитию провинциальной диалектологической литературы Германия безусловно занимает первое место среди современных европейских наций: каждый район имел своих диалектологических писателей, из которых некоторые заняли почетное место в общенемецком литературном развитии; напр., Гебель (J. P. Hebel, 1760—1826) — автор стихотворных идиллий из жизни шварцвальдских крестьян („Alemannische Gedichte", 1803) или Фритц Ройтер (Fritz Reuter, 1810—1874), нижненемецкий „классик", юморист-бытописатель Мекленбурга. Литература на диалектах изображает быт и идеологию провинциальной мелкой буржуазии, городской и сельской, и обслуживает ее специфические культурные и общественные интересы и вкусы: мещанская и крестьянская идиллия, в освещении сентиментального юмора, установка на фольклор, местную старину и провинциальный патриотизм выражают более или менее сознательную реакционную оппозицию против роста капиталистических отношений, централизации, культуры большого индустриального города. „В Германии, — по словам „Манифеста коммунистической партии", — мелкая буржуазия, унаследованная еще от XVI столетия и с тех пор постоянно возникающая вновь в той или в другой форме, является настоящей общественной основой существующего порядка вещей".[102a] Поэтому на соответствующем этапе исторического развития Германии мелкая буржуазия является

опорой языковой децентрализации как наследия феодального прошлого.

Но следы языковой раздробленности выступают достаточно отчетливо и в разговорном языке господствующего класса („gebildete Umgangsprache“), притом гораздо сильнее, чем во Франции или в Англии. В области произношения между „образованным обществом“ в таких крупных центрах, как Берлин, Гамбург, Кельн, Франкфурт, Мюнхен, Вена и т. д., существует довольно заметная разница, позволяющая отличить уроженца данного города по его произношению, хотя, конечно, по сравнению с мещанским просторечием, эта разница и не так значительна. В тех случаях, где графическая норма не однозначна и допускает различное толкование, до последнего времени не было даже критерия, определяющего правильность того или другого из конкурирующих типов произношения: напр., краткость (сев.) или долгота (южн.) в словах типа Glas, Grab, Hof или Jagd, Magd, Art, Bart и др.; произношение — g на конце слова или перед согласным как спиранта x — ç (сев., средн.) или как взрывного k (южн.) — Tag [tax или ta:k], weg [veç или ve:k], sagt, ligt и пр.

Попыткой создать такой критерий является с недавнего времени так наз. „сценическое произношение“ („Bühnenaussprache“). Нормы „сценического произношения“ установлены были в 1898 г. комиссией, состоявшей из филологов-германистов и из сценических деятелей, знакомых с практикой лучших драматических театров Германии.[103] Как попытка сознательной унификации произносительных навыков „образованного общества“, сценическое произношение является выражением языковой политики господствующего класса империалистической Германии, направленной к национальному объединению, к борьбе с культурным сепаратизмом. В целом ряде случаев, напр. в приведенных выше примерах дол-

готы и краткости, взрывного или спирантного произношения -g и др., спорный вопрос мог быть решен только большинством голосов, т. е. произвольным и сознательным выбором. Понятно, что в условиях характерной для Германии культурной децентрализации многие предложения комиссии встретили упорное сопротивление и ожесточенную критику со стороны местных теоретиков. Осторожные защитники новой нормы, напр. австриец проф. Luick, намечали ее приспособление к местным языковым навыкам: оказывается, что в Вене звонкое произношение согласных b, d, g, s должно казаться „деланным" („würde gemacht klingen") и пока неосуществимо как общее правило („undurchführbar").[103a] Тем не менее за тридцать без малого лет, прошедших с момента опубликования проф. Зибсом решений комиссии, унификация произношения „образованного общества" сделала в Германии большие успехи. В языковых спорах появилась авторитетная апелляционная инстанция, школа и сцена могли опереться на однозначную произносительную норму, орфоэпический пуризм господствующих классов получил применение в новой области языкового строительства. Однако и в настоящее время полная унификация произношения является только теоретическим постулатом орфоэпии, но никак не подлинным фактом языковой действительности сегодняшнего дня.

Существенные территориальные различия сохранились и в словаре немецкого национального языка. До сих пор для целого ряда понятий в немецком языке не существует единого общепринятого обозначения, которое могло бы претендовать на „национальную" значимость: территориально-дифференцированные синонимы конкурируют не только в разговорном языке „образованных", но даже в письменной, литературной речи. Некоторые примеры таких расхождений общеизвестны, напр.: „суббота" —

сев. Sonnabend, южн Samstag; „мальчик" — сев. Junge, южн. Bube; „мясник" — сев. Schlächter, вост. Fleischer, южн. — Metzger; „сливки" — сев. Sahne, южн. Rahm, вост. Schmand; „грабли" — сев. Harke, южн. Rechen; „подметать" — сев. fegen, южн. kehren и т. д. Книга П. Кречмера „Географическая лексикология немецкого разговорного языка" (1918) впервые показала это с исчерпывающей полнотой на основании анкеты, заключавшей 350 слов и разосланной в 170 городских центров Германии, Австрии и Прибалтики. „Между языком Берлина и Вены, — так утверждает Кречмер в предисловии к своей книге, — существуют различия почти в каждом втором или третьем слове, если исключить служебные слова".[104] Впрочем, при разбивке словаря Кречмера по предметно-смысловым категориям нетрудно установить, что большинство наиболее дифференцированных синонимов относится к специфическим реликтовым сферам культурного быта, наименее затронутым обобщающими и унифицирующими тенденциями современного капиталистического развития: названия предметов и процессов домашнего хозяйства, продуктов крестьянского труда, потребляемых городом, область ремесленного производства, наконец — своеобразно обособленный детский мир. Именно в этих сферах бытового словаря немецкий национальный язык сохраняет в пережиточной форме территориальную раздробленность докапиталистической эпохи.[105] Напротив, словарь науки, техники, политики, искусства эпохи капитализма уже не обнаруживает территориальной дифференциации: в этой новой сфере языкового творчества, в соответствии с интернациональными тенденциями в хозяйстве и культуре капиталистической и империалистической эпохи, в рамках национальных языков уже заложена основа для языка интернационального, новой исторической категории эпохи социализма.

7. Образование новонемецкого национального языка означает не только территориальное объединение раздробленных поместных говоров эпохи феодализма. По сравнению с языком феодального общества немецкий национальный язык приобретает новое качество как выражение идеологии подымающегося общественного класса (буржуазии) на новой ступени исторического развития. Эта идеологическая перестройка языка происходит по преимуществу в письменности: с зарождением капиталистических отношений письменная публичная речь, печатная книга получает в развитии языка ведущую роль. Наиболее ясно новые идеологические тенденции осуществляются в языке литературном. Мы наметим здесь лишь основные этапы этого процесса.

Германские филологи, представители культурно-исторической школы, в основном уже подметили смену социального содержания в истории немецкого литературного языка, и в частности — господствующую роль бюргерской идеологии в новонемецкую эпоху. Древненемецкий язык, говорит, напр., Гутъяр, является отражением церковно-клерикальной культуры (kirchlich-geistliche Kultur), средне-верхненемецкий — культуры светски-рыцарской (weltlich-ritterliche Kultur), а новонемецкий создается бюргерской культурой (bürgerliche Kultur).[106] Действительно, в эпоху древневерхненемецкую (ранний феодализм, VIII—XI вв.) скудная письменность на родном языке служит практическим задачам клерикального просвещения и пропаганды церковной идеологии. Древневерхненемецкая проза состоит из переводов латинских богословских и философских книг, входивших в обиход средневековой монастырской школы: на этих переводах примитивный по своему лексическому составу немецкий язык впервые приспособляется для выражения отвлеченных мыслей. Поэзия посвящена пропаганде и популяризации новой церковно-хри-

стианской идеологии (стихотворное евангелие монаха Отфрида, IX в., и др.); вне письменной фиксации остается древнегерманский героический эпос как пережиток язычества. В эпоху средне-верхненемецкую (развитой феодализм, XII—XIII вв.) господствует поэзия, выражающая идеологию „рыцарства“, т. е. сословно-замкнутой феодальной аристократии: рыцарская лирика миннезанга, рыцарский куртуазный роман, героический эпос на старинные германские сюжеты (напр., „Нибелунги“), переоформленный в духе новой рыцарской идеологии. Идеалистическая по своему методу и стилю поэзия средне-верхненемецкой эпохи создает идеальную картину военного и мирного быта феодальной аристократии, в его героическом и куртуазном аспекте, воинских подвигов, рыцарских приключений и утонченных любовных переживаний условного характера (служение даме). Создание сословно-замкнутого литературного языка, выражающего идеологию господствующего класса феодального общества, происходит под непосредственным влиянием культуры и литературы Франции как передовой и ведущей страны в эпоху развитого феодализма.[107]

Зарождение национального языка в раннюю нововемецкую эпоху (первая стадия разложения феодализма, XIV—XVI вв.) связано с возникновением литературы подымающегося общественного класса, средневекового бюргерства, которое в недрах феодального общества уже подготовляет новую буржуазную эпоху. Метод и стиль поэзии бюргерства резко отличают ее от средне-верхненемецкой рыцарской литературы: наивный реализм, узкий практицизм и утилитаризм, моралистическая дидактика и сатира. Поучительные тенденции дидактической поэзии воспитывают представителя нового общественного класса, давая в сухой и трезвой, ориентированной на житейскую практику форме наставления

„порядливой“ жизни; сатира направлена против классовых врагов, представителей отживающего свой век феодального общества — против рыцарства, обнищавшего, невежественного, грабительского, против духовенства, развращенного эксплоатацией народных масс, и в то же время против подымающегося крестьянства, в особенности — против богатеющей кулацкой его прослойки. Основными жанрами, специфичными для бюргерской поэзии XIV—XVI вв., является дидактическая поэма, стихотворная сатира или пародия, комический шванк, масляничный фарс, аллегорическая и нравоучительная лирика мейстерзингеров. Господство моралистической тенденциозности и художественная неоформленность содержания приводят к композиционной бесформенности, контрастирующей с изысканным формализмом эпигонской рыцарской поэзии. В языковом отношении характерно расширение лексической сферы, проникновение в поэзию бытовой лексики во всех ее видах, лексическое снижение, иногда переходящее в намеренную вульгаризацию (так наз. „грубианство“ XVI в.).[108]

Но еще существеннее для развития национального языка в раннюю нововенемецкую эпоху возникновение деловой, литературной и отчасти научной прозы. С переходом канцелярий на немецкий язык (XIII в.) возникает деловая проза юридических актов. Города, следуя примеру „Саксонского зерцала“ (около 1235), кодифицируют местное городское право, гильдии и цехи — свои уставы; городские хроники ведутся на немецком языке. Таким образом национальный язык завоевывает новую сферу практических интересов горожанина — хозяйственных, правовых, политических. В господствующем клерикальном мировоззрении эпохи новым фактом, характерным для городской культуры XIV—XV вв., является развитие мистики, исповедующей непосредственное

и индивидуальное общение души с богом. Сочинения немецких мистиков (Мейстера Экгарта, Сейсе, Таулера) пренебрегают официальной церковной латынью. Как интимные излияния индивидуального религиозного чувства, характерные для нарождающегося буржуазного индивидуализма, они написаны на немецком языке. Богословско-философский характер мистических трактатов требует создания новой философской терминологии на национальном языке, основы которой были заложены мистиками XIV в. Более широкое значение приобретает церковная проповедь на родном языке, обращенная к широким массам городского населения, пестреющая вульгаризмами в демократическом стиле, охотно применяющая анекдоты, пословицы и крылатые выражения (страсбургский проповедник Гейлер фон Кайзерсберг, 1445—1510). Наконец, с развитием книгопечатания во второй половине XV в. зарождается художественная беллетристика для массового потребителя из горожан, так наз. „народная книга“ (Volksbuch), т. е. лубочный роман, сперва пересказывающий сухой и деловитой прозой средневековые стихотворные рыцарские романы („Тристан“, „Зигфрид“ и др.) или христианские легенды („Генофефа“), а в более позднее время создающий свои собственные сюжеты реалистического характера на материале комических шванков, бродячих анекдотов, бытового фольклора интернационального или местного происхождения („Тиль Эйленшпигель“, „Шильдбюргеры“, „Доктор Фауст“).

В конце XV в. и в начале XVI в. под влиянием гуманизма возникает интерес к светским наукам. Но научная литература немецкого гуманизма пользуется почти исключительно международным латинским языком. Только в учебной литературе в это время появляются первые книги на родном языке (напр., „Логика“ Фукспергера, 1533,[109] многочисленные по-

собия по арифметике — с начала XVI в.,[10] грамматические учебники и др.).

Гораздо более важное значение для развития немецкого языка имела, как мы знаем, эпоха Реформации. В условиях ожесточенной социальной борьбы, характеризующей эту эпоху, широкое распространение получает агитационная литература всех партий и группировок, выражающая в религиозной оболочке актуальнейшие противоречия общественной и политической жизни Германии XVI в. Впервые с полной отчетливостью выступают идеологи борющихся общественных групп: Лютер и Меланхтон, представители умеренной бюргерской реформации, которая после краткого периода революционной борьбы, объединяющей все оппозиционно-настроенные общественные группы, вступает в соглашение с князьями; Ульрих фон Гуттен, выразитель настроений мелкого дворянства, защищающий идеал дворянской демократии, возглавляемой императором; Томас Мюнцер и Себастьян Франк — вожди крестьянской и плебейской революции и теоретики христианского коммунизма; наконец, противник Лютера Экк и другие защитники господствующего церковно-политического строя и будущие теоретики католической реакции. Религиозно-политическая борьба делает своим оружием и художественную литературу: с одной стороны, выступает гуманист Т. Мурнер с сатирой против „великого лютеровского глупца" („Von dem grossen lutherischen Narren", 1552), с другой стороны — Ганс Сакс сочувственно приветствует „Виттенбергского соловья" (1523).

Победа умеренной бюргерской реформации обеспечивает национальный авторитет за языком Лютера. Его библия, катехизис, богословские сочинения и проповеди, церковные песни и застольные речи не только закрепили грамматическую норму национального языка, но в значительной степени

определили собой речевой стиль немецкой бюргерской литературы XVI—XVII вв. По словам Энгельса, „Лютер вычистил не только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того пропитанного чувством победы хорала, который стал марсельезой XVI века“ [111] („Eine feste Burg ist unsrer Gott“).

По сравнению с „высоким“ идеалистическим стилем средне-верхненемецкой рыцарской поэзии, литература немецкого бюргерства XIV—XVI вв., стихотворная и в особенности прозаическая, деловая, реалистическая, практически-поучительная, с моралистической и религиозной тенденцией, создает качественно новый литературный язык, способный служить изображению повседневной бытовой действительности, быть орудием отвлеченной мысли (по крайней мере — в области богословия) и возвышаться до настоящего пафоса в религиозно-моральной сфере. Но перестройка языка не ограничивается областью лексики и стилистики, наиболее отчетливо выражающих новую идеологию. В другом месте мы уже отмечали, что в XIV—XVI вв. происходит существенный перелом в грамматическом строе немецкого языка, особенно заметный в языке письменном и обусловленный развитием рационально-логического мышления, сдвигами в области сознания, характеризующими новый этап общественного развития. [112] Происходит дальнейшее развертывание предложного склонения и усиленное образование новых предлогов, выражающих отвлеченно-логические отношения (напр., wegen „ради“, in Folge „вследствие“, anstatt „вместо“, trotz „несмотря“ и др.). Образуются или закрепляются грамматически новые времена: объективное будущее (со вспомогательным глаголом werden) вместо будущего модального (с глаголами wollen или sollen), обозначавшего

предстоящее как необходимое или желанное; относительное прошедшее (Plusquamperfekt) и еще позже относительное будущее (Futurum II) и соответствующие формы страдательного залога. Развивается сложно-подчиненное предложение, и возникает целая система подчинительных союзов, выражающих более сложные логические связи между предложениями, причинных, следственных, целевых, условных, уступительных; соответственно этому дифференцируется и осложняется система сочинения (различные формы противопоставления, ограничения, исключения и т. д., выраженные соответствующими союзами: напр., allein „однако", dagegen „напротив", dennoch „все-таки", nichtdestoweniger „тем не менее" и др.). Наконец, в связи с развитием аналитической системы склонения и спряжения происходит закрепление порядка слов, как форма нового синтеза на синтаксической основе. Все эти явления придают новому национальному языку особые качественные признаки, проводящие резкую грань между ним и крестьянскими диалектами, не только сохраняющими территориальную раздробленность эпохи феодализма, но также прежнюю идеологическую структуру, характерную для языка докапиталистического общества. Эта грань углубляется также развитием лексики национального языка, образованием новых слов для отвлеченных понятий научного мышления и, в особенности, начинающимся проникновением в национальный язык интернациональной лексики латинско-греческого происхождения, обозначающей предметы и понятия новой культуры.

Однако уже в XVI в. отчетливо выступают в развитии немецкого национального языка те специфические особенности, которые обусловлены характером общественного развития Германии. В XIV—XVI вв. Германия отстает от передовых стран

западной Европы, а с середины XVI века, как уже было сказано, начинают действовать те исторические силы, которые надолго отбрасывают Германию в ряды отсталых в экономическом и политическом отношении восточно-европейских стран. В истории немецкого национального языка этот поворот отражается не только сохранением весьма заметных пережитков территориальной раздробленности как в письменности, так в особенности — в разговорном языке, но также соответствующим замедлением процесса идеологического развития языка. В XVI—XVII вв. передовые народы Запада уже имеют классическую национальную литературу большого стиля, как результат национальной консолидации и творческой активности новых общественных классов. В Италии такая литература создается в XIV—XVI вв. (эпоха Возрождения), в Англии — в конце XVI в. (Шекспир и его время), во Франции — в XVII в. (эпоха французского классицизма). Напротив, немецкое бюргерство XVI—XVII вв., экономически слабое и политически мало активное, связанное феодальными пережитками, сохранившимися в полной силе после неудачи крестьянской революции, политически и конфессионально раздробленное и ограниченное узким кругом местных интересов, не может создать национальной культуры, подобной западным того же времени. Лучшие писатели XVI в., напр. Ганс Сакс, не выходят за пределы бюргерского провинциализма, наивного реализма, элементарной дидактики, характерных для узкого идейного горизонта немецкого „вольного города“: по сравнению с Шекспиром или французами той же эпохи — это писатели средневековые. Эпоха тридцатилетней войны (1618—1648) характеризуется всеобщим экономическим упадком и культурной деградацией. Поэзия этого времени носит характер ученого подражания иностранным образ-

цам, построенного по правилам классицистической поэтики (Опитц, 1597—1639). Там, где она оригинальна, как в лирике Грифиуса, иезуита Шпе или мистика Ангела Силезского (Angelus Silesius), она впадает в маньеризм, исступленность чувства и напыщенность слога, характерные для стиля упадочной эпохи. В науке безраздельно царит латинский язык, которым пользуются в своих трактатах ученые (Кеплер), юристы и политики (Пуффендорф), философы (Лейбниц), в то время как в передовых странах Запада по вопросам философии, политики, отчасти и науки уже пишут на национальных языках (Декарт, Гоббес и др.). Только латинский язык обеспечивает немецкому ученому интернациональную значимость его достижений: вплоть до XIX в. можно сказать — „germanica non leguntur" („германские книги не читаются"), как говорили в XIX в. о научной литературе на славянских языках. Когда Лейбниц хочет быть общедоступным, он пишет не на немецком, а на французском языке. Только мистик Яков Бёме (1575—1624), сапожник из Герлитца, доверяет немецкому языку свою кустарную теософию и за этот необычный для XVII века подвиг получает полуироническую кличку „philosophus teuthonicus" („тевтонский философ"). Наконец, в разговорном языке господствующего класса, в дворянском обществе, в особенности — при многочисленных княжеских дворах, частично также среди тянущегося за дворянством городского патрициата, все более укрепляется французский язык как признак образованности и „хорошего тона", в результате политической и культурной гегемонии передовой страны эпохи абсолютизма. Отсюда характерное для „эпохи модников" XVII в. („A la mode-Zeit") обилие иностранных, в особенности французских заимствований в обиходном языке: часто это — заимствования, относящиеся к области бытовой лексики, не только —

интернациональные культурные слова. Валленштейн пишет, напр., в донесении императору после битвы со шведами при Нюрнберге: „Das Combat (фр. битва) hat von frühe an angefangen und den ganzen Tag caldisamente (ит. жарко) gewährt... Der König hat sein Volk über die Maszen tief diskuragiert (фр. обескуражил); Eurer Majestät Armee (фр. армия), indem sie gesehen, wie der König repussiert (фр. отбит) wurde, ist mehr denn zuvor assekuriert (фр., ит. обнадежен) worden".[113]

С борьбой против засилия „иностранщины" выступают буржуазные пуристы, теоретики языковых академий (Sprachgesellschaften). Патриоты мечтают о том, чтобы поставить немецкий язык и литературу на уровень других, передовых национальных языков и литератур, прежде всего итальянской и французской, продолжающих традицию античности, на которую ориентируется буржуазное Возрождение. Языковую практику пытаются выправить с помощью языковой политики, декларативных программ, сознательными усилиями грамматиков-нормализаторов, которые приводят в систему еще зыбкие и противоречивые формы письменного языка.

Таким образом, немецкий литературный язык вступает в XVIII век лишенный опоры в классической национальной литературе большого стиля, не овладев сферой науки и в то же время вытесняемый из обихода господствующего класса салонным французским языком. Он не был еще орудием высокого искусства и отвлеченной научной мысли и носит на себе черты неуклюжей простоты и наивной неотесанности, того бюргерского провинциализма, который так характерен для Германии той эпохи, как отсталого захолустья Европы. Сравнивая немецкие переводы Шекспира, сделанные в XVII в., с оригиналом, Гундольф приходит к выводу, что в эту эпоху „немецкий язык был просто неспосо-

бен схватить и передать поэтическое и душевное содержание (das Dichterische und Seelische) даже самой слабой из английских драм".[114]

Новый подъем производительных сил Германии начинается в XVIII в. Новое буржуазное общество еще не окрепло и не сложилось в политическом отношении, но оно „сублимирует" свою идеологию в классической национальной литературе (Лессинг, Гете, Шиллер), в идеалистической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), в научном творчестве (в особенности — в области исторических наук). В эту эпоху завершается процесс объединения немецкого национального языка и его идеологической перестройки как орудия научной мысли и художественного творчества буржуазного общества. Вместе с тем создание национального языка и литературы становится в XIX в. мощным идеологическим фактором запоздавшего национально-политического объединения. В этом — некоторое сходство культурного и политического развития Германии XIX в. с „национальными возрождениями" Италии, Польши, Чехии и народов восточной Европы.

# ПРИМЕЧАНИЯ

## Гл. I. Язык и диалекты

1) К. Маркс „К критике политической экономии“, 1932[4] („Введение“), стр. 37. 2) Рад. Кошутич „Граматика руског језика“, Пгрд. 1919, стр. X и § 84—85 и 115. 3) Wilhelm Braune „Über die Einigung der deutschen Aussprache“, Hdbg. 1904, стр. 17. 4) Ср. ак. В. М. Алексеев „Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация“, 1931, стр. 17. 5) См. Ferd. Brunot „Histoire de la langue française“, t. III, 1909, стр. 27—28 (Vaugelas „Remarques sur la langue française“, 1647). 6) См. Brunot, t. III, стр. 95—193. П. Лафарг „Язык и революция“, 1930, стр. 30 сл. 7) См. Petit de Julleville „Histoire de la langue et de la littérature française“, t. VI: Brunot „La langue“, стр. 845. Лафарг, стр. 53. 8) Лафарг, стр. 55 сл. Ср. К. Н. Державин „Борьба классов и партий в языке Великой французской революции“ („Язык и литература“, т. II, вып. I, 1927, стр. 1—62). 9) См. В. Жирмунский „Задачи поэтики“ („Вопросы теории литературы“, 1928, стр. 66 сл.). Подробнее—Pellissier „Le réalisme des romantiques“, 1912 и Barat „Le style poëtique et la révolution romantique“, 1904. 10) Лафарг, стр. 98. 11) Victor Hugo „Réponse à un acte d'accusation“ („Contemplations“, I, I, 7, 1834). 12) Лафарг, стр. 99. 13) К. Маркс и Ф. Энгельс „Немецкая идеология“ (Соч., т. IV, стр. 36). 14) O. Behaghel „Geschichte der deutschen Sprache“, 1928[5], стр. 182. 15) Hugo Schuchard „Über die Klassifikation der romanischen Mundarten“, 1870 (Schuchard-Brevier, 167 сл.). 16) Принцип схождения в развитии языков от первоначальной множественности к будущему единству выдвинут впервые ак. Н. Я. Марром в его критике учения индо-европеистов о „праязыке“.

1) См. K. Nyrop „Grammaire historique de la langue française“, 1899, t. I, стр. 8 сл. 2) Robert of Gloucester's Chronicle, I, 7537—47. См. O. F. Emerson „The history of the English Language“, N. Y. 1915. стр. 61. D. Behrens „Französische Elemente im Englischen“ (H. Paul „Grundriss der germanischen Philologie“, Bd. I, 1901², стр. 951). 3) V. Highden „Polychronicon“, изд. Babington (Rerum Britannic. Scriptores), II, 160. См. Brunot (Petit de Julleville, t. II), стр. 524. 4) См. Behrens, 963. Ср. O. Jespersen „Growth and Structure of English Language“, 1926⁵, стр. 84. 5) Б. А. Ильиш „Французские элементы в среднеанглийском языке“ (рукописн. диссерт. ИЛЯЗВ'а, 1927). 6) См. Jespersen, 70 сл. Некоторые из этих французских заимствований являются исконно-германскими словами, которые возвращаются в английский язык в французском феодальном оформлении, напр. fief (феод), buckler (щит), war (война) и др. 7) Jespersen, 89. 8) Jespersen, 92 сл. Иесперсен приводит пример из Шекспира („Как вам угодно“, д. V, сц. 1, 52), в котором очень ярко выступает различная социальная значимость в английском языке французских и германских лексических элементов. Тэчстон обращается к крестьянину Вильяму: „Therefore, you clown, abandon,—which is in the vulgar leave,—the society—which in the boorish is company,—of this female,—which in the common is woman; which together is, abandon the society of this female, or, clown, thou perishest; or, to thy better understanding, diest...“ То, что на языке придворного выражается французскими словами „abandon“ (покинь), „female“ (женщина), „perishest“ (погибнешь), в переводе на „грубый“, „мужицкий“ язык объясняется „для большей понятности“ германскими словами „leave“, „woman“, „diest“. См. Jespersen, 91. 9) K. Lachmann „Auswahl aus den hochdeutschen Dichtern des XIII Jahrhunderts“, 1820, предисловие и др. Также Яков Гримм (ср. „Deutsche Grammatik“, 1822³, гл. I, Einleitung XII—XIII): „В XII и XIII вв. на Рейне и Дунае, от Тироля до Гессена, господствует уже общий язык (eine allgemeine Sprache), которым пользуются все поэты; в нем смешались и растворились более древние наречия; только единичные слова и формы сохраняют еще местный характер“. 10) H. Paul „Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache?“ Halle 1873. 11) Ср. H. Sütterlin „Neuhochdeutsche Grammatik“, 1924, стр. 6. F. Kluge „Deutsche Sprachgeschichte“, 1920, 291 сл. O. Behaghel „Geschichte der deutschen Sprache“, 1928⁵, 184 сл. O. Behaghel „Schriftsprache und Mundart“, 1896. 12) Ср A. Socin „Schriftsprache und Dialekte im Deutschen“, 1888, стр. 52. 13) Ср. A. Bretschneider „Die Heliandheimat und ihre sprachgeschichtliche Entwicklung“, 1934 (DDg. 30). 14) H,

Aubin, Th. Frings, J. Müller „Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden“ (Th. Frings „Die Sprache“, стр. 95 сл.). Ср. В. Жирмунский „Проблемы немецкой диалектографии в связи с историческим краеведением“ („Этнография“, 1927, кн. III, стр. 146). 15) Hugo von Trimberg „Der Renner“, глава „Von manigerleie sprache“ („О разных языках“), стр. 22, 253 сл. См. Kluge „Deutsche Sprachgeschichte“, 302. 16) Ср. F. Seiler „Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts“, Bd. II, 1921³, стр. 122 сл. Kluge, 274 сл. Специально в работах финских германистов: Hugo Palander „Der französische Einfluss auf die deutsche Sprache im XII Jh.“ (Mémoires de la société néo-philologique, III, Helsingfors 1902). Öhmann „Studien über die französischen Worte im Deutschen im XII – XIII Jh.“, Hels. 1918. Arvid Rosenquist „Der französische Einfluss auf die mittelhochdeutsche Sprache in der ersten Hälfte des XIV Jh.“ (Mémoires, IX, Hels. 1932). 17) См. Karl Bartsch „Deutsche Liederdichter der XII bis XIV Jhs.“, Berl. 1910, стр. 245. 18) См. F. Seiler, 126. От hof происходит hübsch (hövesch) — „красивый“; от dörper > >Tölpel — „неуклюжий“, „увалень“, отражающие социальные оценки эпохи феодализма. 19) Интернациональный характер терминов рыцарского служения показывает Eduard Wechsler „Das Kulturproblem des Minnesangs“, 1909, стр. 140 и pass. Переводный характер поэтической фразеологии немецкой рыцарской лирики обнаружил Jeanroy „Les origines de la poésie lyrique en France au moyen-âge“, 1889, стр. 291. 20) См. Hartmann von Aue „Iwein“, стр. 524—542 (Deutsche Klassiker des Mittelalters, hsg. v. Fr. Pfeiffer, т. VI, 1869). 21) Gottfried von Strassburg „Tristan“, ст. 2758—3376 (Deutsche Klassiker des Mittelalters, т. VII, 1869).

## Гл. III. Образование национальных языков

1) И. В. Сталин „Марксизм и национальный вопрос“, 1913 („Марксизм и национально-колониальный вопрос“, 1934, стр 10). 2) К. Маркс и Ф. Энгельс „Немецкая идеология“ (Соч., т. IV, 414). 3) В. И. Ленин „О праве наций на самоопределение“ (Соч., т. XVII, 428). 4) Ср. A. Giry „Manuel de diplomatique“, 1894, стр. 467—469. Ср. Brunot (Petit de Julleville, II), стр. 402. Karl Vossler „Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung“, 1921, 147—148. 5) Brunot (Petit de Julleville, III), 666. K. Vossler, 251—252. 6) Behrens „Französische Elemente im Englischen“ (H. Paul „Grundriss“, Bd. I), стр. 953—957. Brunot (Petit de Julleville, II), 527—528. Брюно говорит: „Так как английская буржуазия стала занимать в королевстве более заметное место, то и язык, на котором говорило большинство ее предста-

вителей, должен был выиграть благодаря ее успехам" (стр. 524). 7) См. Fr. Scholz „Geschichte der deutschen Schriftsprache in Augsburg bis zum Jahre 1374", Berl. 1894, стр. 275 сл. В новейшей работе по этому вопросу Felix Merkel („Das Aufkommen der deutschen Sprache in den städtischen Kanzleien des ausgehenden Mittelalters", Lpz. 1930) выдвигает инициативу мелкого дворянства (рыцарства); однако из приводимых им примеров видно, что рыцарские грамоты также относятся к сделкам частно-правового характера, обычно с городами. „После 1250 г. обмен грамотами между дворянством и городами почти во всей Империи заметно усиливается. Рядом с политическими договорами выступают теперь прежде всего хозяйственные" (Merkel, стр. 13). 8) Scholz, 290. 9) Merkel, 15. 10) Merkel, 14. 11) Merkel, 15. 12) См. Кулишер „История экономического быта Западной Европы", 1926[7], т. I, стр. 133. 13) Ср. Labande Jeanroy „La question de la langue en Italie", Stbg. 1925. 14) Brunot (Petit de Julleville, II), стр. 459 сл., 463 сл. Nyrop, I, 21—24. 15) Brunot (там же), стр 534. 16) Kurt Bardenwerper „Die Anwendung fremder Sprachen in den französischen Mysterien, Farcen, Sottien u. a. des Mittelalters", Halle 1911. K. Vossler, 156. 17) Ramus „Gramere", 1572[2], стр. 49—50. См. Brunot (P. J., III, 667). K. Vossler, 252, подчеркивает централизационные тенденции королевской политики: „Королевское мероприятие было продиктовано мыслью о национальном единстве. Политическую централизацию должна была сопровождать централизация языковая". В этом смысле особенно любопытно высказывание поэта Ронсара (1524—1585): „Теперь, поскольку наша Франция подчиняется одному королю, мы вынуждены, если хотим добиться каких-либо почестей, говорить на его языке; иначе весь наш труд, сколь почтенным и совершенным он ни был бы сам по себе, будет цениться не высоко и, может быть, даже заслужит полного презрения" (см. Vossler, 345). 18). Brunot (P. J., VII), 812. 19) Там же, 813—814. 20) Там же, 812. 21) 10 сент. 1791: см. там же, 815. 22) Анкеты Грегуара перепечатаны в книге: „Lettres à Grégoire sur les patois de France" (1790—1794), изд. A. Gazier, Paris 1880. Ср. Brunot (P. J., VII), 815—816. 23) Там же, 817—820. 24) И. М. Кулишер, т. I, 133. 25) H. C. Wyld „A History of modern colloquial English", Lond. 1925, стр. 9 сл. Смешанный характер лондонского „стандарта" (Standard) особенно подчеркивает Иесперсен (O. Jespersen „Mankind, Nation, Individual, from a linguistic point of view", Oslo 1925, стр. 66 сл.). Благодаря такому смешению, „язык столицы постепенно терял локальную определенность, становился все более английским языком всей Англии (English of England). Это было вполне естественно при огромном росте города, который стал действительно столицей всей страны, центром двора и торговли,

местом встреч парламента... Из всех округов сюда стекались дворяне и купцы, привлекаемые в растущем числе развлечениями и перспективой наживы. Таким образом „стандартный" английский язык (Standard English) развивается в первую очередь в Лондоне. Но английский „стандарт" — не местный лондонский говор (local London speech). Этот последний начинает все более ощущаться как диалект, т. е. получает такую же окраску, как какие-нибудь местные диалекты Сомерсетского или Линкольнского графства" (68). Иесперсен указывает, хотя и недостаточно ясно, что смешанный по своему происхождению лондонский стандарт является, в противоположность местному городскому наречию, социальной нормой, т. е. языком господствующих классов („классовым диалектом" — „class dialect", по более четкой терминологии Уайльда: см. Wyld, стр. 2). 26) Wyld, 46. 27) Wyld, 56. 28) Wyld, 58. 29) Wyld, 59. 30) Wyld, 5, 62 сл. 31) Puttenham „The Arte of English Poesie" (1589): см. Wyld, 103. 31a) Jespersen „Mankind", 69. 32) См. Wyld, 104. 33) Wyld, 111. 34) Wyld, 103. 35) Kluge „Geschichte der englischen Sprache" (H. Paul „Grundriss", I, 947—948). 36) См. ниже, гл. VIII. 37) О роли „иррадиации" („rayonnement") Парижа в развитии французских диалектов см. Dauzat „La géographie linguistique", Paris 1922², стр. 187 сл. 38) A. Meillet „Les langues dans l'Europe nouvelle" Paris 1928², стр. 108. 39) A. Meillet „Aperçu d'une histoire de la langue grecque", Paris 1930³, стр. 308. 40) A. Meillet „Les langues", стр. 25. 41) Th. Frings „Sprachgeographie und Kulturgeographie" (Zeitschr. f. Deutschkunde, 1930, стр. 556—557). 42) Ср. H. L. Mencken „The American Language", N. Y., 1929, стр. 29 сл.: „Вместо локальных диалектов других стран мы имеем здесь общий „народный язык" („Volkssprache") всей нации, ограниченный только незначительными различиями в произношении и лингвистической борьбой со вновь прибывшими переселенцами". 43) Ф. Энгельс. Из предисловия к английскому изданию книги „Развитие социализма от утопии к науке" („Анти-Дюринг", 1933, Партиздат, стр. 289). 44) Из немецких диалектов США наиболее известен так наз. „Pennsylvania-Dutch" („пенсильванско-немецкий"), существующий с начала XVIII века. Ср. S. Haldemann „Pennsylvania Dutch" (Philadelphia 1872). M. D. Learned „The Pennsylvania German Dialect", t. I (Baltimore 1889). H. M. Hays „On the german dialect spoken in the valley of Virginia" (Dialect Notes, vl. I, 263). Daniel Miller „Pennsylvania German", 2 т. (Reading Penns. 1903). James Lins „Common sense Pennsylvania German Dictionary" (Reading Pens. 1895³). Abraham Nome „Pennsylvania German Manuel" (Allentown Penns. 1905³). Журнал „Pennsylvania German" издается с 1900 г. (Lebanon Penns). Сборник рассказов на диалекте: „Lewendiche Stimme aus Pennsylvani" (Stuttgart und N. York, 1929). 45) См. H. L. Mencken, pass.

46) A. Dauzat „Philosophie du language", стр. 119 сл. Ср. Dauzat „Les Argots des Métiers Franco-Provençaux", Paris 1917, стр. 3. 47) Ср. В. Жирмунский „Итоги и задачи диалектологического и этнографического изучения немецких поселений СССР" („Советская этнография", 1933, № 2, стр. 97). 48) Ср. К. Маркс „Капитал", т. III, ч. 2, стр. 280 (1930). 49) О возникновении и истории греческой койнэ см. особенно A. Meillet „Aperçu d'une histoire de la langue grecque" (1930[3]), стр. 241—318. Иначе A. Thumb „Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus", Stbg. 1901. 50) И. М. Троцкий „Латинский язык" (изд. ЛНИЯ, печатается). 51) Ср. также A. Meillet „Esquisse d'une histoire de la langue latine", 1928, стр. 227 сл. 52) И. В. Сталин „Марксизм и национально-колониальный вопрос", стр. 10—11. 53) Там же, стр 11—12. 54) О чешском возрождении см. Я. Якубец и А. Новак „История чешской литературы", пер. Е. Матвеевой, Прага 1926, ч. 1, гл. V—VIII.—А. Пыпин и В. Спасович „История славянских литератур", 1881[2], т. II, стр. 917 сл.—И. В. Ягич „История славянской филологии", 1910, гл. X.—В. А. Францев „Очерки чешского возрождения", Варшава 1902. Специально о языке см. V. Flajšhans „Naš jazyk mateřny, Praha 1924, стр. 304 – 337. Программа „обогащение языка", выдвинутая одним из вождей национального движения, филологом Юнгманом („Словесность" 1846) включает следующие пункты: 1. Изучение „драгоценных памятников старой литературы". 2. Знакомство с „народным языком". 3. Чтение новейших писателей. 4. Использование других славянских языков, в особенности наиболее близких (как, напр., словакский и словенский). 5. Создание новых слов путем словосложения (немецкий способ) и с помощью словообразования (по латинскому образцу). 6. Дословный перевод с других языков, где это не противоречит „чешскому духу" (Flajšhans, 323—324). Для ретроспективного национализма деятелей чешского возрождения характерно особое внимание, уделяемое Юнгманом пп. 1, 2, 4 и существенные оговорки по п. 6 и в особенности 3 (по мнению Юнгмана, далеко не все в современной литературе является „благовонными цветами и драгоценными камнями"). Пункт 5 обосновывает словарную работу чешских пуристов над „чисткой" языка от немецких и интернациональных слов и лексикологическую практику самого Юнгмана. „Чехи, — пишет Мейе, — когда-то германизировавшие свою славянскую лексику, создали в XIX веке совершенно чешский словарь литературы и науки, в котором заимствованные слова почти не встречаются, и даже общепринятые в Европе слова (mots universels) заменены чешскими, сфабрикованными (fabriqués) в недавнее время" (Meillet „Histoire de la langue grecque", стр. 124). 55) Ф. Энгельс „Германия и панславизм" (Соч., X, 391—392). 56) Meillet „Histoire", стр. 322—

323. 57) Ср. Ягич, гл. XV—XVI. 58) О связи деятелей чешского возрождения с Россией ср. В. А. Францев „Очерки по истории чешского возрождения", а также Ягич, гл. XI, XVIII и др. 59) Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП(б) (И. Сталин „Вопросы ленинизма", изд. 10-е, стр. 426).

## Гл. IV. Социальные диалекты эпохи капитализма

1) К. Маркс „К критике политической экономии" (1932[4]), стр. 37. 2) В. И. Ленин, Соч, т. XXVI, стр. 322 („О продовольственном налоге"). 3) Ф. Энгельс „Крестьянский вопрос во Франции и Германии", Гиз, 1922, стр. 43. 4) См. В. Жирмунский „Проблема фольклора" (сб. С. Ф. Ольденбургу — Академия Наук, Лг., 1934), стр. 198 сл. 5) В. Жирмунский „Проблемы немецкой диалектографии" („Этнография", т. III, 1927, стр. 143). 6) F. Wrede „Zur Geschichte der deutschen Mundartenforschung" (Zeitschr. f. deutsche Mundarten, 1919, стр. 10); „Ingwäonisch und Westgermanisch" (там же, стр. 271); ср. Жирмунский, 145. 7) Th. Frings „Rheinische Sprachgeschichte", Essen 1924, стр. 20; ср. Жирмунский, 145. 8) Max Müller „Wissenschaft der Sprache", 1863, т. I, 223. Ср. Jespersen „Growth and structure of the English Language", Lpz. 1926[5], стр. 195. 9) Paul Kadel „Beiträge zur rheinhessischen Winzersprache", Giessen 1928. 10) В. Жирмунский „Методика социальной географии" („Язык и литература", сб. ИРКа, т. VIII, 1932, стр. 96). 11) Там же, стр. 95 сл. 12) Аналогичное явление наблюдается в баскском языке, где недостающие общие (родовые) термины заимствованы из испанского языка: растение — planta или landare, дерево — arbolia, животное — animale и др. См. Jespersen „Die Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung", Hdbg. 1925, стр. 19 (ср. Zeitschr. f. roman. Philol., Bd. XVII, 140 сл.). 12а) В. Жирмунский „Методика", стр. 95—96. Интересные принципиальные соображения — в статье Fritz Stroh „Stil der Volkssprache" (Hessische Blätter f. Volkskunde, Bd. XXIX, 1930, стр. 120 сл.). 13) Пользуюсь сведениями, любезно предоставленными мне С. А. Ереминым и Н. Н. Бериковым. 14) См. Stroh, стр. 124. 15) Stroh, 126. 16) Ср. Stroh „Probleme neuer Mundartforschung", Giessen 1928, стр. 37. 17) Stroh „Stil", стр. 131 сл.; „Probleme", стр. 36—42. Ср. еще H. Schudt „Er ist betrunken. Aus den Sammlungen des Südhessischen Wörterbuchs" (Hess. Blätt. f. Volkskunde, Bd. XXVII, стр. 76 сл.). 18) Подробнее в статье: В. Жирмунский „Развитие строя немецкого языка" („Известия Академии Наук", ООН, 1935, № 4). О „диффузном" характере подчинения в средневековом немецком языке пишет Т. В. Сокольская в статье: „Сложно-подчиненное предложение в немецком языке" (сб. „Во-

просы немецкой грамматики в историческом освещении", Учпедгиз, 1935, стр. 148 сл.). 19) Ср. Oskar Weise „Syntax der Altenburger Mundart", Lpz. 1900, стр. 142. 20) Weise, 137 сл. 21) Weise, 117. 22) Weise, 77 сл. Из других работ по синтаксису немецких диалектов ср. особенно: H. Schiepek „Der Satzbau der Egerländer Mundart", 2 Bde, 1899; H. Reis „Beiträge zur Syntax der Mainzer Mundart", 1891. 23) K. Vossler „Frankreichs Kultur", 62 сл. 24) Там же, 62. Eugen Lerch „Historische französische Syntax", Bd. I, 1925, стр. 37 сл. 25) Lerch, 178. 25а) Так, по наблюдениям Вегенера (Zeitschr. f. deutsche Philol., XI, 465 сл.), богатые крестьяне из нижненемецких районов Магдебурга и Брауншвейга „подражают верхненемецкому языку помещика, пастора и других образованных людей, в обществе которых они бывают". Ср. гл. VII, прим. 64. 26) Понятие „первичных" и „вторичных" признаков диалекта обосновано мною в статьях „Проблемы колониальной диалектологии" („Язык и литература", кн. III, 1929, стр. 188 и 214 сл.) и V. Schirmunski „Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten" (German.-roman. Monatschrift, 1930, стр. 118 и 183 сл.). 27) Karl Haag „Verkehrs- und Schriftsprache auf dem Boden der örtlichen Mundart" (N. Sprachen, 1901, Bd. IX, 261). 28) O. Rudolph „Über die verschiedenen Abstufungen der Darmstädter Mundart" (Hess. Blätt. f. Volkskunde, Bd. 26, 1927, стр. 10 сл.). 29) Ср. напр. Agathe Lasch „Berlinisch. Eine berlinische Sprachgeschichte", Berl. 1926; R. Löwe „Die Dialektmischung im Magdeburgischen Gebiete", (Niederdeutsche Jahrb., Bd. 14, 1888); Ottmar Sexauer „Die Mundart von Pforzheim", Lpz 1927; G. Erdmann „Beiträge zur Kenntnis der Mundart von Binsen-Stadt und Bingen-Land" (Zeitschr f. deutsche Mundarten, 1906, стр. 146); Wilhelm Müller „Untersuchungen zum Vokalismus der stadt- und landkölnischen Mundart", Bonn 1912; Ad. Bach „Zum Problem der Stadtmundarten" (Zeitschr. f. d. Mdaa., 1925, стр. 41) и др. См. также O. Behaghel „Geschichte der deutschen Sprache", Berl. 1928[5], стр. 181. 30) A. Meillet „Histoire de la langue grecque", 257. 31) Wilenkin „Jiddischer Atlas der Sowjetunion", Minsk 1931. 32) Напр. развитие û > oi, ui: moil, muil < mhd. mûl (нем. Maul); hoit, huit < mhd. hût (нем. Haut); или ô, ou > ei, oi: breit, broit < mhd. brôt (нем. Brot); heich, hoich < mhd. hôch (нем. hoch); eig, oig < mhd. ouge (нем. Auge); beim, boim < mhd. boum (нем. Baum) (карты №№ 33—36 и 40—47) и мн. др. 33) Paul Kretschmer „Wortgeographie der hochdeutschen Umgangsprache", Göttingen 1918, стр. 10. О фонетических различиях в произношении образованных парижан см. Eduard Koschwitz „Les parlers parisiens", Marb. 1911[4]. 34) Ср. Энгельс „Положение рабочего класса в Англии" (Соч., III, 415). 35) Недоступны мне были: O. Basler „Die Sprache des modernen Arbei-

ters" (Zeitschr. f. Wortforsch., 1914, Bd. 15, S. 246) и Denis Poulot „Le Sublime ou le Travailleur", 1870 (см. Sainéan „Argot Parisien", 52). 36) Особенно богатый языковой материал дает драма Fr. Wolf „Cyankali", 1929 (из жизни берлинских рабочих). 37) А. Иванов и Л. П. Якубинский „Очерки по языку", 1932, стр. 107 сл. 38) Willi Bredel „Maschinenfabrik N. u. K.", 1930, стр. 40 и др. 39) Так наз. „canut": ср. Dauzat „Les Argots", 42—43. См. гл. V, прим. 116. 40) Nyrop „Grammaire historique de la langue française", 1899, t. I, стр. 146: „Благодаря великой революции это „вульгарное" произношение в конце концов одержало победу". 41) П. Лафарг „Язык и революция", 1930. Ср. также гл. I, стр. 10 и гл. VI, стр. 107. 42) А. Иванов и Л. Якубинский „Очерки по языку", стр. 144. 43) В. И. Ленин „Критические заметки по национальному вопросу" (Соч., т. XVII, 143).

## Гл. V. Профессиональная лексика, жаргоны, арго

1) Hirt („Etymologie der neuhochdeutschen Sprache", M. 1921²) под рубрикой „специальных языков" („Sondersprachen") рассматривает подряд „языки" религии, права, канцелярий, поэзии—далее „языки" крестьян, охотников, рудокопов, печатников, торговцев, моряков, солдат, нищих (Gaunersprache), науки, философии, математики!.. Некритическое злоупотребление термином „языки" сочетается здесь с полным невниманием к социальной функции отдельных „языков". 2) Joh. Sass „Die Sprache des niederdeutschen Zimmermanns, dargestellt auf Grund der Mundart von Blankenese (Holstein)", Hamb., 1927, 3) Paul Kadel „Beiträge zur rheinhessischen Winzersprache", Giessen 1928. 4) Р. Шор „Язык и общество", М. 1926², стр. 102. 5) Ср. F. Kluge „Unser Deutsch", 1910 (гл. V и сл. „Deutsche Standes- und Berufsprachen"); H. Hirt „Etymologie der neuhochdeutschen Sprache", M. 1921² („Die Sprache der einzelnen Berufe", стр 312 сл. —с библиографией); Theodor Imme „Die deutsche Weidmannsprache"; H. Klenz „Die deutsche Druckersprache", Stbg. 1900; E. Göpfert „Die Bergmannsprache in der Sarepta des J. Mathesius", Stbg. 1901 (Zeitschr. f. Wortforsch. Beiheft 3); A. Schirmer „Wörterbuch der deutschen Kaufmannsprache", Stbg. 1911; F. Kluge „Seemannsprache", 1912; Joh. Sass и др. 6) К. Маркс „Капитал", т. I, 1931⁷, стр. 262, прим. 43. 7) F. Kluge „Unser Deutsch", 1910, стр. 111. 8) См. Sass, 7 сл. 9) А. Бухарин „Работы плотника", Госуд. научно-технич. издат., 1931, стр. 31 сл. 10) Sass, 63; Бухарин, 19. 11) Sass, 68 сл.; Бухарин, 49 сл. 12) Sass, 23. Ср. также Colmar Schumann „Der Wortschatz von Lübeck", Stbg. 1907 (Zeitschr. f. Wortforsch., Beiheft 9), стр. 43—44. 13) Sass, 18; Schumann, 43. 14) Бухарин, 19—20. 15) Sass, стр. X. 16) Sass, 3 сл. 17) Ср. Kluge „Unser Deutsch", стр. 61 сл., 70; Hirt, 315—316.

18) Kluge „Unser Deutsch“, 112 сл. 19) Ср. Rud. Eilenberger „Die Pennälersprache“, Stbg. 1910 (язык школьников); Eudel „L'Argot de Saint-Cyr“, 1893; Armand Weil „L'Argot dans l'Université“, Besançon 1905; Marcel Cohen „La langue de l'Ecole polytechnique“ (Mémoires de la Société de Linguistique, t. XV, 1908, стр. 170—192); R. G. K. Wrench „Winchester Word-Book“, Lond. 1891. — Paul Horn „Die deutsche Soldatensprache“, Giessen 1905²; Paul Ginisty „Manuel du Réserviste“, 1882; Léon Merlin „La langue verte du troupier“, 1886; Karl Larrsen „Dansk soldatersprog“ Kopenh. 1895. Ср. L. Sainéan „Le language parisien au XIX siècle“, 1920. 20) F. Kluge „Unser Deutsch“, гл. VII. Специально: F. Kluge „Deutsche Studentensprache“, 1895; John Meier „Die Hallische Studentensprache“, 1895. 21) Ср. Karl Bergmann „Wie der Feldgraue spricht“, Giessen 1916; Otto Mausser „Deutsche Soldatensprache. Ihr Aufbau und ihre Probleme“, Stbg. 1917; Th. Imme „Die deutsche Soldatensprache von heute“, Dortm. 1917; Gust. Hochstetter „Der feldgraue Buchmann“, Berl. 1916; René Delcourt „Expressions d'argot allemand et autrichien“, Paris 1917; Sainéan „L'Argot des Tranchées d'après les lettres des Poilus et les Journaux du Front“, 1915; A. Dauzat „L'Argot de la guerre, d'après une enquête auprès des officiers et des soldats“, 1918; Gaston Esnault „Le poilu tel qu'il se parle. Dictionnaire des termes populaires récents et neufs, employés aux armées en 1914—18“, Paris 1919.—C. Alphonso Smith „New Words selfdefined“, N. Y. 1920; E. Fraser and J. Gibbons „Soldier and Sailor Words and Phrases“, Ld. 1925. 22) Hans Sperber „Einführung in die Bedeutungslehre“, 1923, стр. 45 сл.— L. Spitzer „Die Umschreibungen des Begriffes Hunger im Italienischen“ (1920) **рассматривает по материалам писем итальянских военнопленных возникновение жаргонных иносказаний для аффективно-окрашенного представления „голод“, в условиях цензурного запрета, наложенного на подобного рода сообщения. 23) См. ниже, стр. 91. 24) Жаргон — фр.** jargon, **прованс.** gergon (XIII **в.), итальянск.** gergone (XIV **в.),** gergo (XVI **в.) — название воровского языка; арго (**argot**)—первоначально обозначает нищенскую профессию или цех (ср. „королевство Арго“ 1628 г.): см.** Sainéan „L'Argot ancien“, 1907, **стр. 30—35.** Rotwelsch=**„непонятный язык нищих“:** Rot—**„рыжий“, арготич. „нищий“,** welsch—**чужеземный, непонятный язык (первоначально — итальянский); см.** Kluge, 78. Gauner (Jauner, Joner)—**„бродяга-мошенник“, первоначально—„шулер“ (обычно производится от евр.** jânâh **„обманывать“); отсюда одно из названий немецкого воровского арго—** jenisch. Cant—**„пение“; ср. русск. аргот. „музыка“. Блат<нем.** platt **„диалект“ (ср.** plattdeutsch—**„нижненемецкий“); в нем. арго** platt—**„свой“ („говорящий на своем языке“). 25) Важнейшая литература по западно-европейским арго: I. Немецк.:** Avé-Lallement

„Das deutsche Gaunertum in seiner social-politischen, literarischen und linguistischen Ausbildung“, 4 Bde, 1856—1862 (München 1917²).— Jos. Mar. Wagner „Rotwelsche Studien“ (Archiv f. neuere Sprachen, 1863, Bd. XXXIII, 197—246).—F. Kluge „Rotwelsch. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen“, Bd. I, Stbg. 1901. — Erich Bischoff „Wörterbuch der wichtigsten Geheim- und Berufssprachen“, Lpz. 1916.—L. Günther „Die deutsche Gaunersprache und verwandte Geheim- und Berufssprachen“, Lpz. 1919; кроме того F. Kluge „UnserDeutsch“ (гл. VI, Geheimsprachen); Hirt „Etymologie“, стр. 331 сл.—II. **Франц.**: L. Sainéan „Les sources de l'Argot ancien“ 2 т., P. 1912.— L. Sainéan „L'Argot ancien“, P. 1907.—L Sainéan „Le langage Parisien au XIX siècle“, P. 1920. — A. Timmermans „L'Argot Parisien“, P. 1922.—Emile Chautard „La vie étrange de l'Argot“, P. 1931. — Georges Delesalle „Dictionnaire Argot-Français et Français-Argot“, P. 1896.—A. Dauzat „Les Argots“, P. 1929.— W. v. Wartburg „Vom Ursprung und Wesen des Argot“ (Germ.-roman. Monatschr., 1930, стр. 376—396). — III. **Английск.**: Francis Grose „Classical Dictionary of the Vulgar Tongue“, 1785 (новое издание Oxford University Press, 1931) — „Dictionary of modern slang, cant and vulgar words“, by a London Antiquary, Lond. 1859.— Hotten „The Slang Dictionary“, 1874 (Lond. 1925²).— J. Manchon „Le Slang“, Paris 1923. — Eric Partridge „Slang“, Lond. 1933.— Erwin „New American Underworld Slang Dictionary“, 1931. — John Awdeley (1565) и Thomas Harman (1567) переизданы Edw. Viles и F. Furnivall в изд. Early English Text Society, Extra Series, № 9, Lond. 1869.—IV. **Южнороманск.**: Biondelli „Studi sulle lingue furbesche“, Milan 1846.—Rafael Salillas „El deliquente Espanol, el lenguage“, Madrid 1896.—Adolphe Coelho „Os Ciganos de Portugal, com un estudo sobre el calao“, Lisb. 1892.—J. Givanel Mas „Argot barceloni“, Barcel. 1919. 26) „Passional“—см. Kluge „Rotwelsch“, стр. 1. 26a) „Rotwelsch“, стр. 8. 27) „Rotwelsch“, 35 сл. 28) Lucien Schoene „Le jargon et jobelin de Villon“, 1888; Marcel Schwob „Le jargon des coquillards en 1455“ (Mém. de la Soc. de Linguistique, t. III, 1890); M. Schwob „Fr. Villon“ (Revue des Deux Mondes, 15. VII. 1892). 29) L. Sainéan „Sources“, см. стр. 25. 30) Jean Richepin „Chanson des Gueux“ (1876), ср. Sainéan „Argot Parisien“, стр. 50 сл. 31) E. Chautard, стр. V; ср. также Wartburg, 386. 32) См. ниже, стр. 91. 32a) „Дон-Жуан“, песнь XI, строфы XVI—XIX и прим. 33) См. прим. 25. 34) Ср. Sainéan „Argot ancien“, стр. 12 сл. 35) См. V. Jagič „Die Geheimsprachen bei den Slaven“ (Sitzber. d. Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, Bd. 133, 1896). 36) Литература по русским арго указана у Jagič'a; см. также библиографический обзор П. Симони „Русский язык в его наречиях и говорах“: „Искусственные языки“ (Известия отдел., 1896,

т. I, 427—437) и указатель к брошюре Вячеслава Тонкова „Опыт исследования воровского языка“ (Казань 1930). Важнейшие работы: I. **Нищие**: Ф. Сцепура „Русско-нищенский словарь, составленный из разговора нищих Слуцкого у. Минской губ.“ (Сборн. отдел., т. XXI, 1881, стр. XXIII—XXXIV) В. Боржковский „Лирники“ („Киевская стар.“, т. XXII, 1889, стр. 653—708); Е. Романов „Очерки быта нищих Могилевской губ. и их условный язык“ („Этногр. обозр.“, 1890, кн. VII, 118—145); П. Тиханов „Брянские старцы. Тайный язык нищих“ (Брянск 1895). Ср. также Kostь Viktorin [Кирил Студиньский] „Дедовска (жебрацка) мова“ („Зори“ 1886, стр. 238, Львов). II. **Владимирские „офени“ и другие бродячие торговцы**: Pallas „Linguarum totius orbis vocabularia comparativa“, Petrop. 1786—1789 („Susdaliensis dialectus“); Собрания слов провинциальных (Труды общ. любит. росс. словесн. 1820, ч. XX, стр. 104—242; 1822 „Сочинения в прозе и стихах“, стр. 322 сл.; 1827, то же, кн. XXI, ч. 7, стр. 289—294); Срезневский „Афинский (!) язык в России“ („Отеч. зап.“ 1839, т. V, смесь, стр. 1—12); И. Боричевский „Искусственный офенский язык“ („Ж. мин. нар. просв.“ 1850, кн. LXV, стр. 160 сл.); К. Тихонравов „Офени Владимирской губ.“ („Владимирский сборник“, 1857, стр 22 сл.); Гарелин „Суздала, офени и ходебщики“ („Вестник географ. об-ва“ 1857, кн. 1, стр. 87 сл.); Н. Трохимовский „Офени“ („Русск. вестн.“ т. 63, 1866, ч. 3, май, стр. 559—593); И. Голышев „Офени торгаши Владимирской губ. и их искусственный язык“ („Живоп. обозр.“ 1874, №№ 6, 13, 15); М. Попроцкий „Прасолы“ (Материалы для географии и статистики России, собр. офицерами генштаба. Калужская губ., ч. II, СПБ 1864, стр. 187—92); Н. Мартынов „Одоевские прасолы и их особенный разговорный язык“ („Тульск. губ. ведом.“ 1870, № 44, стр. 577); В. Добровольский „О Дорогобужских мещанах и их шубрейском или кубрацском языке“ (Изв. отдел. 1897, т. II, 320—352); И. Смирнов „Мелкие торговцы г. Кашина Тверской губ. и их условный язык“ (Изв. отдел. 1902, т. VII, кн. 3, стр. 89—113).—III. **Бродячие ремесленники**: Е. Романов „Катрушницкий лемезень“ („Жив. стар.“ 1890, вып I, стр. 9—16); Ф. Николайчик „Отголосок лирвицкого языка“ („Киевск. стар“, 1890, т. XXIX, стр. 121—130); Н. Усов „Язык приугорских портных“ (Изв. отд. 1898, т. III, стр. 247—250); В. И. Чернышев „Список слов портновского языка“ (там же, 251—262).—См также Даль „Толковый словарь живого великорусского языка“, 1880, т. I, стр. LXX—LXXII, а также т. II, стр. 85; т. IV, 649. 37) В. В. Сиповский „Из истории русского романа XVIII в. (Ванька Каин)“ (Изв. отдел. 1902, VII, кн 2, стр. 141). 38) См. Даль, т. I, стр. LXXI, а также „Моск. телегр.“ 1828, № 24, стр. 382. 39) Ванька Бец „Босяцкий словарь“, Одесса 1903; „Воровской словарь“, изд. Германа

Досталя, Покровск. 1904; В. Трахтенберг „Блатная музыка", СПБ. 1908; В. Попов „Словарь воровского и арестантского языка", Киев 1912; С. Потапов „Словарь жаргона преступников", М. 1927; Вяч. Тонков „Опыт исследования воровского языка", Каз. 1930. Ср. также заметку в „Северной Пчеле" 1859, № 282: „Собрание выражений и фраз, употребляемых в разговоре СПБ. мошенниками". 40) Б. А. Ларин „О лингвистическом изучении города" („Русская речь", вып. III, 1928, стр. 61—74); его же „Западно-европейские элементы русского воровского арго" („Язык и литература", т. III, 1931, стр. 113—131) и там же, под редакцией Б. А. Ларина, статьи А. Баранникова, С. Дмитриева и М. Фридман о цыганских, турецких и еврейских элементах в русских арго (131—211). 41) К. Маркс „Капитал", т. I, стр. 588 (1931[7]). 41а) К. Маркс и Ф. Энгельс „Немецкая идеология" (Соч., т. IV, стр. 46). 42) К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 123—124. 43) Hollinshed's „Chronicles", 1586, Ld. 1808, т. I, стр. 309. (W. Harrison „The description of England"). 44) „Капитал", т. I, 591, прим. 221а. 45) Hollinshed, I, стр. 308. 46) Pierre Champion „Notes pour servir à l'histoire des classes dangereuses en France, des origines à la fin du XV siècle" (Sainéan „Sources", t. I, стр. 341—422). 47) Там же, стр. 395 сл. 48) „Rotwelsch", 5 сл. 49) Kluge „Unser Deutsch", 86. 50) „Капитал", т. I, 591. 51) Проф. И. М. Кулишер „История экономического быта Западной Европы", т. I, 1926[7], стр. 147. 52) Montaigne „Essais", кн. III, гл. XIII („Sources", I, 54). 53) „Sources", I, 395. 54) Там же, 369. 55) Там же, 55 сл. 56) Там же, 190 сл., 219 сл. 57) См. Henri Sauval „Histoire et Recherches des Antiquités de la Ville de Paris", 1724, t. I, 510—517 („Sources", I, 313 сл.). 58) „Rotwelsch", стр. 209 сл. 59) „Sources", I, 88. 60) Там же, 218. 61) Там же, 221. 62) „Rotwelsch", 41. 63) Там же, 163. 64) Там же, 30. 65) Полемика между Esnault и Sainéan по вопросу об „условном" и „искусственном" характере арго—в Revue de philologie française, 1913 (G. Esnault „Les lois de l'argot".— L. Sainéan „Argotica"). 66) Dauzat „Les Argots", 19. 67) „Rotwelsch", 223—226. 68) „Sources", II, 86. 69) Романов „Нищие", стр. 122. 70) Боржковский „Лирники", 654, 657. 71) „Зори", 1886, стр. 237. 72) Романов, 122. 73) Там же, 120—121. 74) Там же, 125—126. 75) Стр. 237. 76) „Rotwelsch", 81 сл. 77) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 149—150. 78) Там же, 124. 79) „Rotwelsch", 115. 80) „Sources", I, 416. 81) „Rotwelsch", 223. 82) Романов, 121. 83) „Sources", I, 145 сл. 84) Там же, I, 190. 85) „Rotwelsch", 52. 86) Там же, 53, 87) Harmann, 23. 88) „Rotwelsch". Anhänge. 421 сл. Ср. Kluge „Unser Deutsch", 86 сл. 89) Dauzat „Les Argots des métiers franco-provençaux", Paris 1917 (Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, № 223). 90) Dauzat, 153. 91) Там же, 208. 92) Там же, 204. 93) Тихонравов, 23.

94) Гарелин, 90. 95) Тихонравов, 23. 96) Гарелин, 90. 97) Трохимовский, 564. 98) Тихонравов, 23. Голышев, 233. 99) Голышев, 203—205. 100) Тихонравов, 24. 101) Голышев, 232—233. 102) Там же, 205. 103) Мартынов, 57. 104) Чернышев, 251. 105) Романов „Катрушницкий лемезень“, 10. 106) Николайчик, 124. 107) Романов, 11; Николайчик, 123. 108) Напр. Романов, 11. 109—110) Срезневский, 4. 111) И. Смирнов, 90. 112) Sainéan „Le Langage Parisien“, 42; ср. 474—475. 113) Agathe Lasch „Berlinisch“, 171 сл. 114) О принципиальном различии между арго (cant) и слэнгом (slang) см. особенно Jespersen „Mankind, nation and individual“, Oslo 1925, 149 сл., 159 сл. и 199. 115). Ср. Sainéan „Le langage parisien“, стр. 450 (Argot mondain). 116) Борьба против арготизмов в языке учащихся и комсомольцев: см. Л. Якубинский „Культура языка“ („Журналист“, 1925, № 1, стр. 18); М. Рыбникова „Об искусственном огрублении речи учащихся“ („Родной язык в школе“, 1927, сб. I, 243; 49); Н. Погодин „Бравада грубостью“ („Женск. журнал“, 1928, № 10, стр. 10); Н. Марковский „За культуру комсомольского языка“ („Молодой большевик“, 1926, № 15, стр. 72—74) и др. Обзор и библиография—у В. Тонкова, стр. 64 сл. Против засорения литературного языка арготизмами выступил А. М. Горький („О языке“—„Литературная учеба“, 1933, № 1). 117) „Rotwelsch“: Thurneysser, стр. 111 сл.; Schwenter, 133 сл.; Schottel, 160 сл. 118) Schwenter („Rotwelsch“, 142). 119) Schottel „Ausführliche Arbeit von der Deutschen Haubtsprache“, 1663, стр. 1, 262—268 („Rotwelsch“, 160 сл.). 120) Kluge „Unser Deutsch“, 90. 121). Там же, 91. 122) Sainéan „Argot ancien“, 46. 123) Sainéan „Langage parisien“, 203 сл. 124) „Argot ancien“, 49 сл.; „Langage parisien“, 104 сл.; Dauzat „Les Argots“, 99 сл. 125) Dauzat „Argots des Métiers“, 69 сл. 126) Jagić, 41—63. 127) Романов „Нищие“, 126. 128) Добровольский „Некоторые данные“, стр. 1387. 129) Kluge „Unser Deutsch“, 83; Günther, стр. XIV. 130) Kluge, 84. 131) Kluge, 84; Günther, XVI—XVII. 132) Sainéan „Argot ancien“, 14. 133) См. Б. А. Ларин „Западно-европейские элементы русского воровского арго“ („Язык и литература“, VII, 113—139). М. М. Фридман „Еврейские элементы блатной музыки“ (там же, 131—139). 134) См. Н. К. Дмитриев „Турецкие элементы в русских арго“ (там же, 159—181). 135) Наличность греческих элементов в русских арго отмечена уже первыми исследователями: ср. Срезневский „Афинский (!) язык“ („Отеч. зап.“ 1839). 136) А. П. Баранов „Цыганские элементы в русском воровском арго“ („Язык и литература“, VII, стр. 139—159). 137) Ср. Sainéan „Argot ancien“, 69 сл.; Kluge, 82. 138) Ср. Sainéan „Argot ancien“, 81 сл.; „Langage parisien“, 367 сл.; Dauzat „Les Argots“,

149 сл.; Kluge, 82. 139) Ср. Günther, 117—134 („Volksetymologisches“). 140) Ср. Dauzat „Les Argots“, 106. 141) Там же, 137 сл. 142) См. „Langage parisien“, 374 сл. Wartburg, 385. 143) См. Jespersen „Mankind“, 155 сл. 144) Ср. L. Günther, 45—76 („Das Geld und die Münzen“). 145) Ср. L. Günther, 90—117 („Die Polizei“. „Das Gefängniswesen“). 146) „Langage parisien“, 219 сл. Ряд русских параллелей к метафорам западных арго любезно указал мне Б. А. Ларин.

## Гл. VI. Интернациональные и националистические тенденции в языке буржуазного общества

1) В. И. Ленин „Критические заметки по национальному вопросу“ (Соч., т. XVII, стр. 139—140). 2) К. Маркс „Капитал“, т. I, предисловие к I изд. (1931 ?), стр. XIV и XV. 3) F. Seiler „Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts“, т. I, 1925[4], стр. 64—200; F. Kluge „Deutsche Sprachgeschichte“, 1920, стр. 156—161 (§ 20. Deutsches Vulgärlatein); Kluge „Unser Deutsch“, 25. 4) См. выше, гл. II, стр. 24. 5) См. Seiler, II, 269 сл. 6) Seiler, III, 253 сл. 6a) Соч., т. V, стр. 486—487. 7) В. И. Ленин „Критические заметки“ (Соч., XVII, 140). 8) Elise Richter „Fremdwörterkunde“, 1919, стр. 11; ср. также Б. Казанский „Приключения слов“, 1931. 9) См. Brunot „Histoire de la langue française“, t. II, 1906, стр. 198 сл.; K. Vossler „Frankreichs Kultur“, 220 сл. 10) Nyrop „Grammaire historique“, т. I, 1899, стр. 48—49; Seiler, IV, 387 сл. 11) Лафарг „Язык и революция“, 32. 12) Seiler, IV, 130 сл. (Кар. X „Die Sprache der guten Gesellschaft“); Булич „Церковнославянские элементы в современном русском языке“, ч. I, 1893, стр. 12. 13) „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, т. V, гл. 16. 14) Кроме П. Лафарга по этому вопросу см. Brunot (Petit de Julleville, VII), стр. 840—848; К. Державин „Борьба классов и партий в языке великой французской революции“ („Язык и литература“, т. II, вып. I, 1927), стр. 1—62. Влияние на немецкий язык см. F. Seiler, ч. IV, стр. 115 сл.; O. Ladendorf „Historisches Schlagwörterbuch“, Stbg. 1906; специальное исследование: W. Feldmann „Die Grosse Revolution in unserer Sprache“ (Zeitschr. f. Wortforsch. 1911, т. XIII, 245—282). 15) Lichtenberg „Vermischte Schriften“, Bd. II, 1801, стр. 253 (см. Feldmann, 277). 16) Feldmann, 266. Girtanner („Französische Revolution“, 1791, II, 110) к словам „несправедливости прочих классов (der übrigen Klassen) по отношению к народу (Volk)“ делает примечание: „демократическое выражение, вместо сословий“ („ein demokratischer Kunstausdruck für Stände“): см. Feldmann, 277. 17) См. Seiler, т. IV, стр. 122. 18) Ср. Karl Bergmann „Die gegenseitigen Beziehungen der deutschen, englischen und französischen Sprache auf lexikologischem Gebiete“,

Dresd. 1912 (Neusprachliche Abhandlungen, Heft XVIII), 33 сл., 43 сл., 120 сл.; A. Darmesteter „De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française“, Paris 1877, стр. 253. 19) См. Rud. Eucken „Geschichte der philosophischen Terminologie“, Lpz. 1879, стр. 114—166 (Deutsche Terminologie). 20) К. Маркс и Ф. Энгельс „Перемирие с Данией“ (Соч., VI, 428). 21) См. Н. Смирнов „Западные влияния на русский язык в петровскую эпоху“, СПБ. 1910 (Сб. отдел., т. 88), pass. 22) В. И. Ленин „Речь на митинге в Народном доме в Петрограде 13 марта 1919 г.“ (Соч., XXIV, 49). 23) „Что такое советская власть?“ (там же, 201). 24) „Речь на митинге“ (там же, 49). 24а) Ср. H. Korn „Sowjetismen im deutschen Zeitungsstil“ („Zwei Welten“, Jhg. 5, 1934, Heft 2, стр. 57 сл.). 25) Ср. выше гл. IV, стр. 84. 26) Brunot „Histoire de la langue française“, т. II, 36—71; Vossler, 240 сл. 27) Brunot (Petit de Julleville, IV, 785). 28). См. Piur „Studien zur sprachlichen Würdigung Chr. Wolffs“, Halle 1903; R. Eucken, 131 сл. 29) Nyrop, т I, 39. 30) Там же, 43. 31) Там же, 42. 32) A. Darmesteter „Mots nouveaux“, 269. 33) O. Jespersen „Growth and structure of the English Language“, 1926, стр. 109. 34) Bradley „The making of English“, Ld. 1914, стр. 94—95. 35) O. F. Emerson „The History of the English Language“, NY. 1915, стр. 127. 36) Bradley, 93; для языка литературы ср. сопоставления, которые дает Emerson, стр. 126—132. 37) Ср. Darmesteter, стр. 219 сл. и 238 сл.; Н. Б. Юшманов „Грамматика иностранных слов“ („Словарь иностранных слов“, Огиз, 1933), стр. 1484 сл. „Список элементов международной терминологии“. 38) Об интернациональных суффиксах см. Darmesteter, 184 сл., 235 сл.; Seiler, III, 80 сл.; Юшманов, 1466 сл. 39) Ср. O. Jespersen „Die Sprache“, 1925, стр. 197; E. Richter, 77; Hirt „Etymologie“, 162; F. Seiler, IV, 393 сл.; Bergmann, 36, 43. Специально Kr. Sandfeld „Notes sur les Calques Linguistiques“ (Festschrift V. Thomsen, 1912). 40) Ср. Hirt „Etymologie“, стр. 156 и 335. О немецкой философской терминологии монаха Ноткера (X в.) ср. J. Kelle „Die philosophischen Kunstausdrücke in Notkers Werken“, M. 1886. О кальках в англо-саксонской богословской литературе см. Jespersen „Growth and structure“, 40 сл. 41) См. Булич „Церковнославянские элементы“, 19. 42) Bergmann, 36 сл. 43) В. В. Виноградов „Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.“, 1934, стр. 132. 43а) Bergmann, 40 сл. 44) По этому поводу Иесперсен говорит об „обширной группе французских, латинских и греческих слов, которые с средних веков и эпохи Возрождения затопляли весь мир западной культуры и цивилизации и вызвали тем самым между языками, в остальных отношениях совершенно различными, черты семейного сходства в тех частях словаря, которые относятся к наиболее возвышенной духовной и технической деятель-

ности человека". „Это семейное сходство позволяет создать международный вспомогательный язык, так чтобы большая часть слов, входящих в его состав, без дальнейшего была ясна и понятна всем культурным нациям" (Jespersen „Die Sprache", стр. 191). 45) Ср. L. Saleshsky „Deutsche Wortkunde", Москва 1935, стр. 112—113; Hirt „Geschichte der deutschen Sprache", 192; „Etymologie", 157 сл. 46) См. Eduard Engel „Deutsche Stilkunst", 1931, изд. 31-е, стр. 138—278 („Die Fremdwörterei"); его же „Verdeutschungsbuch. Ein Handbuch zur Entwelschung", 1929[5] („Einleitung. Vom Welschen und Entwelschen"). Ср. рецензию Фр. Меринга „Язык и стиль" („Литературно-критические статьи", 1934, т. II, стр. 523—533). 47) Напечатано в „Preussische Jahrbücher" 1889 (см. Engel „Stilkunst", стр. 150). 48) F. Seiler, т. I (1925[4]): „Vorwort zur zweiten Auflage. Zur Fremdwörterfrage", стр. V—XXV. 49) Leo Spitzer „Fremdwörterhatz und Fremdvölkerhass", Wien 1918. 50) Андрій Хвиля „Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті" (изд. Радянська школа, Харьков 1933), стр. 55—57. 51) К. Маркс „Избранные произведения", т. I, 101. 52) В. И. Ленин „Об очистке русского языка" (Соч., XXIV, 662). 53) В. И. Ленин „Тезисы по национальному вопросу" (Соч., XVI, 510). 54) И. В. Сталин „Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП (б)" („Вопросы ленинизма", изд. 10-е, стр. 431).

## Гл. VII. Образование немецкого национального языка

1) Основные работы по вопросу об образовании немецкого национального языка: K. Bahder „Grundlagen des neuhochdeutschen Lautsystems", Stbg. 1890. W. Braune „Über die Einigung der deutschen Aussprache", Hdb. 1904. Konrad Burdach „Vom Mittelalter zur Reformation", Bd. I—III, 1912—1926. Drsb. „Zur Kenntniss altdeutscher Handschriften und zur Geschichte altdeutscher Literatur und Kunst" (Centralblatt f. Bibliothekwesen, Jhg. VIII, 1891). Drsb. „Zur Einigung der neuhochdeutschen Schriftsprache", Halle 1884 („Vorspiel", Bd. I, 2. Teil, 1925). Drsb. „Die Sprache des jungen Goethe", 1885 („Vorspiel", Bd. II, 1926). Emil Gutjahr „Die Anfänge der neuhochdeutschen Schriftsprache vor Luther", Halle 1910. Herm. Hirt „Geschichte der deutschen Sprache", Münch. 1925. M. Jellinek „Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik von den Anfängen bis auf Adelung", 2 Bde., Hdbg. 1912—1913. Fr. Kluge „Von Luther bis Lessing", Stbg. 1904[4]. Paul Kretschmer „Wortgeographie der hochdeutschen Umgangsprache", Gött. 1918. Virgil Moser „Historisch-grammatische Einführung in die frühneuhochdeutschen Schriftdialekte",

Halle 1909. Drsb. „Frühneuhochdeutsche Grammatik", Hdbg. 1929. H. Rückert „Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache", 2 Bde., Lpz. 1875. Fr. Scholz „Geschichte der deutschen Schriftsprache in Augsburg bis zum Jahre 1374", Berl. 1894 (Acta Germanica, Bd. V, Heft 2). Adolf Socin „Schriftsprache und Dialekte im Deutschen", Heilbronn 1888. L. Sütterlin „Neuhochdeutsche Grammatik. Mit besonderer Berücksichtigung der neuhochdeutschen Mundarten", Münch. 1924. E. Wülcker „Die Entstehung der Kursächsischen Kanzleisprache", 1879. Из новейших работ см. также Alois Bernt „Die Entstehung unserer Schriftsprache", Berl. 1934. 2) К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 116—117. 3) Ср. Каутский „Предшественники современного социализма", М. 1919, ч. I, стр. 197 сл. 4) Karl Lamprecht „Deutsche Geschichte", Bd. VIII, 1906, ср. 150—151. 5) Ф. Меринг „Легенда о Лессинге" („Литературно-критические статьи", 1934, т I), гл. I („Лессинг и саксонское курфюршество"), стр. 296 сл. 6) Там же, стр. 304. 7) Ср. „Австрия", БСЭ, т. I, стр. 256. 8) Braune, 12. 9) См. гл. III, стр. 28. 10) Ср. Scholz, 303. 11) Там же, 331. 12) Культурные отношения эпохи Карла IV в их значении для развития немецкого национального языка освещены наиболее обстоятельно в трудах К. Бурдаха: ср. Konrad Burdach „Vom Mittelalter zur Reformation", 1912 сл., специально т. III, ч. 2, 1926, стр. XXV сл. Основные положения см. K. Burdach „Zur Kenntnis altdeutscher Handschriften", стр. 146—154. 13) Ср. F. Wrede „Die Entstehung der neuhochdeutschen Diphthongen" (Ztschr. f. d. Altert., т. 39, 1895, стр. 256 сл.). 14) Gutjahr, 143—149. 15) Kluge, 28 сл. 16) Там же, 63 сл.; ср. Socin, 189. 17) Socin, 167 и 170. 18) Там же, 171. 19) Там же, 181—191. 20) Sebastian Helber „Deutsches Syllabierbüchlein", 1593; см. Socin, 295. 21) „Schryfftspiegel des neuwen Stylums", Köln 1527; см. там же, 174. 22) Там же, 186. 23) Luthers Tischreden: там же, 207—208. 24) H. Bebel, III, 104: см. Kluge, 55. 25) Там же, 56. 26) Socin, 177. 27) В сборнике немецких фацетий Pauli „Schimpf und Ernst" (1522): см. Socin, 180. 28) Geiler v. Kaisersberg „Evangelibuoch", Stbg. 1515: см. там же, 180 сл. 29) Kluge, 10. 30) Там же, 14. 31) К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. VIII, стр. 195. 32) Socin, 209. 33—34) Luthers Tischreden, Кар. 69: см. Hirt, 167. 35) Tischreden (1538, 15. XII): см. Socin, 208. 36) См. Moser „Historisch-grammatische Einführung", стр. 44 сл.; Socin, 204 сл. 37) „Sendbrief vom Dolmetschen" (1530): см. Socin, 201. 38) Kluge, 93. 39) Там же, 94—100. 40) Ср. Kluge, 31 сл. 41) Casparis Scioppii „Consultatio de prudentiæ et eloquentiæ parandæ modis in adolescentis cuiusdam Germani usum" (1626): см. Socin, 327. 42) Joh. Balthas. v. Antesperg „Kaiserliche deutsche Grammatik" и „Kaiserliches Deutsches Dictionarium", Wien 1747: см. Socin, 431 сл.

43) Pater Augustin Dornblüth „Observationes, oder gründliche Anmerkungen über die Art und Weise, eine gute Übersetzung, besonders in die teutsche Sprache, zu machen. Nebst einer Kritik über Herrn Gottscheds sogenannte Redkunst und teutsche Grammatik", Augsburg 1755: см. Socin, 427; Kluge, 200; специально Burdach „Die Sprache des jungen Goethe", 44 сл. 44) Из журнала„ Der Freimütige" (Freiburg 1728): см. Kluge, 207. 45) Braune, 7. 46) Kluge, 79 сл. 47) Там же, 81. 48) Там же, 82. 49) Особенности языка Галлера и его теоретические высказывания см. Socin, 391 сл. 50) K. Burdach „Die Sprache des jungen Goethe", 41; Socin, 377. 51) Hirt, 179—180; Kretschmer, 13. См. специально: E. Tappolet „Über den Stand der Mundarten in der deutschen und französischen Schweiz" (Zürich, 1909); Sam. Singer „Schweizerdeutsch", Lpz. 1928. 52) Socin, 504. 53) Kretschmer, 15. 54) По мнению A. Bretschneider („Die Heliandheimat", 1934, стр. 236), „если учитывать весь комплекс признаков верхненемецкого, то в конце концов не остается ни одного уголка нижненемецкого, который не обнаруживал бы каких-нибудь следов верхненемецкого воздействия" Kluge, 106. 55) Там же, 107. Ср. Hirt, 236. 56) Kluge, 110. 57) Там же, 115 сл. 58) Там же, 116 сл. 59) Там же, 121. 60) Ср. Socin, 223. 61) Kluge, 123. К этому времени относятся уже первые попытки использовать нижненемецкий в диалектологической литературе частью юмористического, частью фольклорного содержания: Joh. Lauremberg „Scherzgedichte" („Veer nedderdütsche gerimeten Schertz-Gedichten", 1652) и песня Simon Dach „Anke von Tharaw" (1637). 62) „The German Spy or Familiar Letters from a Gentleman on his Travels thro' Germany to his friend in England", 1740, 2. Aufl.: см. Kluge, 127. 63) Socin, 531. 64) Holthausen „Die Soester Mundart", 1885: см. Socin, 531. 65) Напр. Morhof „Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie" (Lübeck, 1700), Joh. Boediker „Grundsätze der deutschen Sprache" (Berlin 1690 сл.) и др.: см. Socin, 346—362. 66) Gœthes Gespräche mit Eckermann, 5 V. 1824: см. Hirt, 233. 67) См. Braune, 11. 68) Hirt, 233; Braune, 10—11. 69) Joh. Kolross „Encheiridion, das ist Handbüchlin tütscher Orthography" (1530): см. Kluge, 80—81. Antesperg—см. прим. 44. 70) Leibnitz „Unvorgreifliche Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache", § 104: см. Socin, 344. 71) См. Socin, 432. 72) Caspar Stieler „Deutscher Sprachschatz" (1691): см. Socin, 345. 73) Hieronymus Freyer „Anweisung zur teutschen Orthographie" (Halle 1722), стр. 7: см. Hirt, 231. 74) Joh. Christoph Adelung „Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache" (Leipzig 1782), стр. 61—62. 75) Joh. Christoph Gottsched „Deutsche Sprachkunst" (Leipzig 1742), стр. 67 (1762[5]). Влияние Саксонии и Лейпцига на немецкие диалекты с культурно-исторической точки зрения ис-

следовано А. Bretschneider, стр. 250 сл. 76) Schottelius (1663): см. Socin, 340. Ср. также Hanmann „Anmerkungen zu Opizens Poeterey“ (1645), который, как уроженец Лейпцига, свидетельствует, что „в просторечии („in gemeiner Rede“) здесь также наблюдается много неправильностей“, так что следует подражать „знатным и разумным людям“ („vornehmen und verständigen Leuten“): см. Socin, 333. 77) Adelung „Deutsche Sprachlehre“ (1781), стр. 515; см. Hirt, 231; Socin, 411—412. 78) Hieronymus Wolf „De orthographia Germanica ac potius Suevica nostrate“ (1578) — в приложении к книге Ривиуса (см. прим. 79), стр. 595: Socin, 282. 79) Laurentius Albertus; Ostrofrancus „Teutsch Grammatik oder Sprachkunst“, Augsburg 1573; Joh. Rivius „Institutiones grammaticae“, 1578; Albert Oelinger „Unterricht der Hoch-Teutschen Spraach“, Strassburg 1574: см. Socin, 275, 281, 282. 80) См. Socin, 271. 81) Philipp v. Zesen „Rosenmond“ (1651): см. Socin, 334. 82) См. Socin, 361. 83) Там же, 431. 84) Там же, 337. 85) Там же, 337. 86) Там же, 336. 87) J. Chr. Gottsched „Deutsche Sprachkunst“, 68. 88) Hirt, 231. 89) Küchelbeckers allerneueste Nachricht vom Kaiserlichen Hofe nebst einer Beschreibung der Residenzstadt Wien (1732): см. Kluge, 196. 90) Jakob Hemmer „Abhandlung über die deutsche Sprache zum Nutzen der Pfalz“ (Mannheim 1769): см. Kluge, 205. 91) Weimarer Ausgabe, т. 40, стр. 139: см. Hirt, 234. 92) „Dichtung und Wahrheit“, кн. VI. 93) См. Hirt, 291; также В. Wehnert „Goethes Reim“, 1899. 94) Там же, 291; также F. M. Kasch „Mundartliches in der Sprache des jungen Schiller“ Greifswald, 1900. 95) Так — биограф Шиллера R. Weltrich, т. I, стр. 557, и Fr. Neumann, стр. 374 (см. прим. 97). 96) Braune, 7. 97) По этому вопросу см. Fr. Neumann „Geschichte des neuhochdeutschen Reimes von Opitz bis Wieland. Studien zur Lautgeschichte der neuhochdeutschen Gemeinsprache“, Berl. 1920. 98) Hirt, 174. 99) См. выше, гл. IV, стр. 46. 100) См. выше, гл. IV, стр. 57. 101) Kretschmer, 10. Как сообщает Пауль, „в наиболее образованных кругах Базеля, Берна и Цюриха разговаривают на природном языке, привычном каждому с детства, если только не приходится считаться с присутствием чужих, и даже в представительных учреждениях не находят неудобным произносить речи на швейцарско-немецком диалекте (im Schweizerdeutsch). Несколько десятков лет тому назад приблизительно такие же отношения наблюдались в Гольштинии, Гамбурге, Мекленбурге и других нижненемецких местностях. Во всей средней и южной Германии допускают, по крайней мере — в обиходном языке (Umgangsprache), значительные отступления от языковой нормы“ (Normalsprache): см. H. Paul „Prinzipien der Sprachgeschichte“, Halle 1898³, стр. 390. По словам Брауне, старшее поколение „образованных швабов“ (в Вюртемберге) гово-

рит и сейчас (1904) „Faischte“ (вм. Fäuste) и „Gaischt“ (вм. Geist) (7). Образованный немец из Пфальца в обиходном языке скажет „der Has“ (вм. Hase) и „sie hawwe“ (вм. haben) (9). Такие наблюдения очень многочисленны, хотя никогда не производились систематически. 102) См. Hirt, 211 сл. Специально: Fr. Schön „Geschichte der deutschen Mundartdichtung“, Frbg. 1920 сл. 102а) К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 507. 103) Th. Siebs „Deutsche Bühnenaussprache“, 1898. Ср. Hirt, 236. 103а) K. Luick „Deutsche Lautlehre“, 1904. 104) Kretschmer, стр. 10. Кречмер иллюстрирует различие бытовой лексики Берлина и Вены на следующих примерах: „Берлинец входит в Вене в магазин и спрашивает „eine **Reisemütze**“ („дорожную шляпу“). Продавец поправляет его: „Вы желаете — eine **Reisekappe**?“ и предлагает ему несколько на выбор. Берлинец замечает: „Die **bunten liebe** ich **nicht**“ („я не люблю пестрых“). Продавец переводит на свой немецкий: „Die **färbigen gefallen** Ihnen **nicht**“ („Цветные вам не нравятся“), потому что венец употребляет слово „люблю“ („lieben“) только по отношению к лицам, а не к вещам. Берлинец, наконец, спрашивает: „Wie **teuer** ist diese Mütze?“ („Почем эта шляпа?“) и бессознательно опять впадает в грубый „берлинизм“ („Berolinismus“), так как для венца слово „teuer“ („дорогой“) всегда обозначает преувеличенно большую цену. Венец говорит: „Was **kostet** das?“ („Сколько стоит?“). Покидая магазин с приветствием „**Guten Morgen!**“ („Доброе утро!“), потому что еще рано, берлинец вызывает удивление венца, который употребляет это приветствие только при встрече, а не при прощании. Венец отвечает ему: „Ich habe die Ehre! **Guten Tag!**“ („Честь имею! Добрый день!“), что повергает в изумление берлинца, который пользуется этими словами только при встрече, а не при прощании“. „Берлинец, вступая в дом, проходит через парадную дверь (**Haustür**) мимо швейцара (**Portier**) через вестибюль (**Flur**), поднимается по лестнице (**Treppe**) в первый этаж (**Etage**), звонит (**klingelt**), входит в переднюю (**Korridor**), откуда его просят войти в комнату (**näher zu treten**)“. В Вене все эти слова заменяются совершенно другими: **Haustor** (парадная), **Einfahrt** (вестибюль), **Hausmeister** (швейцар), **Stiege** (лестница), **Stock** (этаж), **läuten** (звонить), **Vorzimmer** (передняя), **hineinspazieren** (войти в комнату). См. стр. 1—2. Аналогичные сопоставления в области бытовой лексики между языком „образованных“ в северной и южной Германии дает O. Behaghel („Schriftsprache und Mundart“, стр. 14). 105) Ср. В. Жирмунский „Методика социальной географии“, стр. 91 сл. 106) Gutjahr, 96. 107) См. выше, гл. II, стр. 23. 108) О „грубиянстве“ (Grobianismus) ср. К. Маркс „Морализирующая критика и критизирующая мораль“ (Соч., т. V, 198—199). 109) О первых учебниках логики на немецком языке см. Rud. Eucken „Geschichte der philosophischen Terminologie“, стр. 126. Специально: Prantl

в Abhandl. d. bayer. Akad. I Classe, Bd. VIII, Abteil., München 1856. 110) О первых учебниках арифметики: Alfred Schirmer „Der Wortschatz der Mathematik, nach Alter und Herkunft untersucht", Stbg. 1912 (Zeitschr. f. Wortforsch., Beiheft 14). Специально: Felix Müller „Zur Terminologie der ältesten mathematischen Schriften in deutscher Sprache" (Abhandl. z. Geschichte der Mathematik, IX, 301—333). 111) Энгельс „Диалектика природы" (Соч., т. XIV, стр. 476). 112) Ср. гл. IV, стр. 52. 113) См. Engel „Deutsche Stilkunst", 219—220. 114) Fr. Gundolf „Shakespeare und der deutsche Geist", 1911, стр. 10.

## ОГЛАВЛЕНИЕ



### ОПЕЧАТКИ

| Стр. | Строка | Напечатано | Следует | По чьей вине |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 11 снизу | проф. . А. Ларина, | проф. Б. А. Ларина | Типографии |
| 159 | 17 сверху | или с | илис | " |
| 193 | 11 снизу | фр biologie | фр. biologie | " |
| 209 | 1 сверху | (1888): | (1882): | " |

Жирмунский

Ответственный редактор *Е. Добин*. Технический редактор *Л. Чернецова*. Корректор *С. Берлин*. Ленгослитиздат № 792. Ленгорлит № 9026. Тираж 5300. Сдано в набор 29 XI 1936. Подписано к печати 13 III 1936. Бумага 72×110. Уч. авт. л. 13. Печ. л. $9^3/_8$. Бумажн. л. $4^{11}/_{16}$. Типографск. зн. в 1 бум. л 117312.

Цена 2 р. 75 к. Переплет 1 р.

Набрано и отпечатано во 2-й типографии Трансжелдориздата им. Лоханкова. Ленинград, ул. Правды, 15.